

И. А. БУНИН



И. А.
БУНИН

5



И. А. БУНИН.
Фотография 40-х годов.

И. А. БУНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ



ТОМ ПЯТЫЙ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1956

Собрание сочинений
осуществляется под наблюдением
Л. В. Никулина
Подготовка текста и примечания
П. Л. Вячеславова

ПЕРЕВОДЫ

ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ

Г. ЛОНГФЕЛЛО

Предисловие переводчика к первому изданию

«Песнь о Гайавате» считается самым замечательным трудом Лонгфелло. Появилась она в 1855 году. Впечатление, произведенное ею, было необыкновенно: в полгода она выдержала 30 изданий, породила массу статей и подражаний и была переведена на многие европейские языки.

Всех поразила, прежде всего, оригинальность ее сюжета и новизна блестящей, строго выдержанной формы.

«Мой знаменитый друг,— говорит известный немецкий поэт Ф. Фрейлиграт в предисловии к своему переводу «Песни о Гайавате»,— открыл американцам Америку в поэзии. Он первый создал чисто американскую поэму, и она должна занять выдающееся место в Пантеоне всемирной литературы».

Но, конечно, главное, что навсегда упрочило за «Песней о Гайавате» славу, это — редкая красота художественных образов и картин, в связи с высоким поэтическим и гуманным настроением. В «Песне о Гайавате» отразились все лучшие качества души и таланта ее творца. Лонгфелло поистине был одним из тех, кого называют «идеалистами»: он всю жизнь посвятил на служение возвышенному и прекрасному; «Добро и красота незримо разлиты в мире»,— говорил он и всю жизнь всюду искал их. Ему всегда были особенно дороги чистые сердцем и искренние люди, его увлекала девственная природа и манили к себе древние народные предания с их величавою простотой и благородством, потому что сам он до глубокой старости сохранил в себе возвышенную, чуткую и нежную душу. Он говорил о поэтах: «Только те были увенчаны, только тех имена священны, которые узнали горе, сделали народы благороднее и свободнее».

Эти слова можно применить к нему самому. Он призывал людей к миру, любви и братству, к труду на пользу ближнего, и произведения его еще

долго будут облагораживать всех, у кого есть в сердце «искра божия». В поэмах и стихотворениях Лонгфелло всегда «незримо разлиты добро и красота»; они всегда отличаются, не говоря уже о простоте и изяществе формы, тонким пониманием и замечательным художественным воспроизведением природы и человеческой жизни. «Песнь о Гайавате» служит лучшим доказательством всего сказанного. Она трогает нас то величием древней легенды, то тихими радостями детства, то чистотою и нежностью первой любви, то безмятежностью трудовой жизни на лоне природы, то скорбью роковых и вечных бед человеческого существования. Она воскрешает перед нами красоту девственных лесов и прерий, воссоздает цельные характеры первобытных людей, их быт и мирозерцание.

«Песнь о Гайавате», говорит Лонгфелло: «это — индейская Эдда, если я могу так назвать ее. Я написал ее на основании легенд, господствующих среди северо-американских индейцев. В них говорится о человеке чудесного происхождения, который был послан к ним расчистить их реки, леса и рыболовные места и научить народы мирным искусствам. У разных племен он был известен под разными именами: Michaboc, Chiabo, Manabozo, Fagepawagon и Hiawatha, что значит — пророк, учитель. В это старое предание я вплет и другие интересные индейские легенды... Действие поэмы происходит в стране Оджибуэв, на южном берегу Верхнего Озера между Живописными Скалами и Великими Песками».

В России «Песнь о Гайавате» еще мало известна. Д. Л. Михаловский сухо и с пропусками перевел только несколько глав ее, значительно изменив форму и тон подлинника. Полный перевод ее появляется впервые. Я всюду старался держаться возможно ближе к подлиннику, сохранить простоту и музыкальность речи, сравнения и эпитеты, характерные повторения слов и даже, по возможности, расположение стихов. Это было нелегко: краткость английских слов вошла в поговорку; иногда приходилось сознательно жертвовать легкостью стиха, чтобы из одной строки Лонгфелло не делать нескольких. С другой стороны, некоторые стихи подлинника почти слово в слово укладывались в русские, чем объясняется близость иных мест моего перевода с переводом Д. Л. Михаловского.

Что же касается индейских слов, я проверил их значение по немецкому переводу Фрейлиграта, который просмотрен самим Лонгфелло. Список этих слов помещен в конце книги. В большинстве случаев индейские слова пояснены прямо в тексте, как это сделано в подлиннике, — например: «Вьет гнездо Омими, голубь»... Иногда это делало стих менее изящным, чем хотелось бы. Надеюсь, впрочем, что лица, знакомые с подлинником, извинят мне это. Смело могу сказать только одно: я работал с горячей любовью к произведению, дорогому для меня с детства, и с полной добросовестностью, этой слабой данью моей благодарности великому поэту, доставившему мне столько чистой и высокой радости.

Ив. Бунин.

Вступление

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу:

«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэв,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Щапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги».

Если спросите, где слышал,
Где нашел их Навадага,—
Я скажу вам, я отвечу:
«В гнездах певчих птиц, по рощам,
На прудах, в норах бобровых,
На лугах, в следах бизонов,
На скалах, в орлиных гнездах.»

Эти песни раздавались
На болотах и на топях,
В тундрах севера печальных:
Читовейк, зук, там пел их,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
Щапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза».

Если б дальше вы спросили:
«Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу»,—
Я тотчас бы вам ответил
На вопрос такую речью:

«Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы, доли,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохом, полный песен.

Те веселые потоки
Были видны на долине
По разливам их — весной,
По ольхам серебристым — летом,
По туману — в день осенний,
По руслу — зимой холодной.
Возле них жил Навадага
Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых.

Там он пел о Гайавате,
Пел мне Песнь о Гайавате,—
О его рожденье дивном,
О его великой жизни:
Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде».

Вы, кто любите природу —
Сумрак леса, шопот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются,—
Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка,—
Вам из диких стран принес я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, в чьем юном, чистом сердце
Сохранилась вера в бога,
В искру божью в человеке;
Вы, кто помните, что вечно
Человеческое сердце
Знало горести, сомненья
И порывы к светлой правде,
Что в глубоком мраке жизни
Нас ведет и укрепляет
Провидение незримо,—
Вам бесхитростно пою я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, которые, блуждая
По околицам зеленым,
Где, склонившись на ограду,
Поседевшую от моха,
Барбарис висит, краснея,
Забываетесь порою
На запущенном погосте
И читаете в раздумье
На могильном камне надпись,
Неумелую, простую,

Но исполненную скорби,
И любви, и чистой веры,—
Прочитайте эти руны,
Эту Песнь о Гайавате!

I

Трубка Мира

На горах Большой Равнины,
На вершине Красных Камней,
Там стоял Владыка Жизни,
Гитчи Манито могучий,
И с вершины Красных Камней
Созывал к себе народы,
Созывал людей отвсюду.

От следов его струилась,
Трепетала в блеске утра
Речка, в пропасти срываясь,
Ишкудой, огнем, сверкая.
И перстом Владыка Жизни
Начертал ей по долине
Путь излучистый, сказавши:
«Вот твой путь отныне будет!»

От утеса взявши камень,
Он слепил из камня трубку
И на ней фигуры сделал.
Над рекою, у побережья,
На чубук тростинку вырвал,
Всю в зеленых, длинных листьях;
Трубку он набил корою,
Красной ивовой корою,
И дохнул на лес соседний.
От дыханья ветви шумно
Закачались и, столкнувшись,
Ярким пламенем зажглись;
И, на горных высях стоя,
Закурил Владыка Жизни
Трубку Мира, созывая
Все народы к совещанью.

Дым струился тихо, тихо
В блеске солнечного утра:
Прежде — темною полоской,

После — гуще, синим паром,
Забелел в лугах клубами,
Как зимой вершины леса,
Плыл все выше, выше, выше,—
Наконец коснулся неба
И волнами в сводах неба
Раскатился над землюю.

Из долины Тавазэнта,
Из долины Вайоминга,
Из лесистой Тоскалузы,
От Скалистых Гор далеких,
От озер Страны Полночной
Все народы увидали
Отдаленный дым Покваны,
Дым призывный Трубки Мира.

И пророки всех народов
Говорили: «То Поквана!
Этим дымом отдаленным,
Что сгибается, как ива,
Как рука, кивает, манит,
Гитчи Манито могучий
Племена людей сзывает,
На совет зовет народы».

Вдоль потоков, по равнинам,
Шли вожди от всех народов,
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки,
Черноногие и Поны,
Оджибвеи и Дакоты —
Шли к горам Большой Равнины,
Пред лицо Владыки Жизни.

И в доспехах, в ярких красках,—
Словно осенью деревья,
Словно небо на рассвете,—
Собрались они в долине,
Дико глядя друг на друга;
В их очах — смертельный вызов,
В их сердцах — вражда глухая,
Вековая жажда мщенья —
Роковой завет от предков.

Гитчи Манито, всесильный,
Сотворивший все народы,
Поглядел на них с участием,
С отчей жалостью, с любовью,—
Поглядел на гнев их лютый,
Как на злобу малолетних,
Как на ссору в детских играх.

Он простер к ним сень десницы,
Чтоб смягчить их нрав упорный,
Чтоб смирить их пыл безумный
Мановением десницы.
И величественный голос,
Голос, шуму вод подобный,
Шуму дальних водопадов,
Прозвучал ко всем народам,
Говоря: «О дети, дети!
Слову мудрости внемлите,
Слову кроткого совета
От того, кто всех вас создал!

Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;
Я наполнил реки рыбой,
А болота — дикой птицей:
Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?

Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,
От борьбы кровопролитной,
От молитв о кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласье,
А бессилие — в разладе.
Примиритесь, о дети!
Будьте братьями друг другу!

И придет Пророк на землю
И укажет путь к спасенью;
Он наставником вам будет,
Будет жить, трудиться с вами.
Всем его советам мудрым
Вы должны внимать покорно —
И умножатся все роды,

И настанут годы счастья.
Если ж будете вы глухи,—
Вы погибнете в раздорах!

Погрузитесь в эту реку,
Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови;
Закопайте в землю луки,
Трубки сделайте из камня,
Тростников для них нарвите,
Ярко перьями украсьте,
Закурите Трубку Мира
И живите впредь, как братья!»

Так сказал Владыка Жизни.
И все воины на землю
Тотчас кинули доспехи,
Сняли все свои одежды,
Смело бросились в реку,
Смыли краски боевые.
Светлой, чистою волною
Выше их вода лилася —
От следов Владыки Жизни.
Мутной, красною волною
Ниже их вода лилася,
Словно смешанная с кровью.

Смывши краски боевые,
Вышли воины на берег,
В землю палицы зарыли,
Погребли в земле доспехи.
Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
Встретил воинов улыбкой.

И в молчанье все народы
Трубки сделали из камня,
Тростников для них нарвали,
Чубуки убрали в перья
И пустились в путь обратный —
В ту минуту, как завеса
Облаков заколебалась
И в дверях отверстых неба
Гитчи Манито сокрылся,
Окружен клубами дыма
От Покваны, Трубки Мира.

II

Четыре ветра

«Слава, слава, Мэджекивис!» —
Старцы, воины кричали
В день, когда он возвратился
И принес Священный Вампум
Из далеких стран Вабассо,—
Царства кролика седого,
Царства Северного Ветра.

У Великого Медведя
Он украл Священный Вампум,
С толстой шеи Мише-Моквы,
Пред которым трепетали
Все народы, снял он Вампум
В час, когда на горных высях
Спал медведь, тяжелый, грузный,
Как утес, обросший мохом,
Серым мохом в бурых пятнах.

Тихо он к нему подкрался,
Так подкрался осторожно,
Что его почти касались
Когти красные медведя,
А горячее дыханье
Обдавало жаром руки.
Осторожно снял он Вампум
По ушам, по длинной морде
Исполина Мише-Моквы;
Ничего не услышали
Уши круглые медведя,
Ничего не разглядели
Глазки сонные — и только
Из ноздрей его дыханье
Обдавало жаром руки.

Кончив, палицей взмахнул он,
Крикнул громко и протяжно
И ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
Между глаз ударил прямо!

Словно громом оглушенный,
Приподнялся Мише-Моква,
Но едва вперед подался,
Затряслись его колени,
И со стоном, как старуха,
Сел на землю Мише-Моква.
А могучий Мэджекивис
Перед ним стоял без страха,
Над врагом смеялся громко,
Говорил с пренебреженьем:

«О медведь! Ты — Шогодайя!
Всюду хвастался ты силой,
А как баба, как старуха,
Застонал, завыл от боли.
Трус! давно уже друг с другом
Племена враждуют наши,
Но теперь ты убедился,
Кто бесстрашней и сильнее.
Уходите прочь с дороги,
Прячьтесь в горы, в лес скрывайтесь!
Если б ты меня осилил,
Я б не крикнул, умирая,
Ты же хнычешь предо мною
И свое позоришь племя,
Как трусливая старуха,
Как презренный Шогодайя».

Кончив, палицей взмахнул он,
Вновь ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
И, как лед под рыболовом,
Треснул череп под ударом.
Так убит был Мише-Моква,
Так погиб Медведь Великий;
Страх и ужас всех народов.

«Слава, слава, Мэджекивис! —
Воскликнул народ в восторге.—
Слава, слава, Мэджекивис!
Пусть отныне и вовеки
Ветром Запада он будет,
Властелином над ветрами!»
И могучий Мэджекивис
Стал владыкой над ветрами.
Ветер Западный оставил

Он себе, другие отдал
Детям: Вебону — Восточный,
Шавондази — теплый Южный,
А Полночный Ветер дикий
Злому дал Кабибонокке.

Молод и прекрасен Вебон!
Это он приносит утро
И серебряные стрелы
Сыплет, сумрак прогоняя,
По холмам и по долинам;
Это Вебона ланиты
На заре горят багрянцем,
А призывный голос будит
И охотника и зверя.

Одинок на небе Вебон!
Для него все птицы пели,
Для него цветы в долинах
Разливали сладкий запах,
Для него шумели реки,
Рощи темные вздыхали,
Но всегда был грустен Вебон:
Одинок он был на небе.

Утром раз, на землю глядя,
В час, когда спала деревня
И туман, как привиденье,
Над рекой блуждал, белея,
Он увидел, что в долине
Ходит дева,— собирает
Камыши и длинный шпажник
Над рекою по долине.

С той поры, на землю глядя,
Только очи голубые
Видел Вебон на рассвете:
Как два озера лазурных,
На него они смотрели,
И задумчивую деву,
Что к нему стремилась сердцем,
Полюбил прекрасный Вебон:
Оба были одиноки,
На земле — она, он — в небе.

Он возлюбленную нежил
И ласкал улыбкой солнца,

Нежил вкрадчивою речью,
Тихим вздохом, тихой песней,
Тихим шопотом деревьев,
Ароматом белых лилий.
К сердцу милую привлек он,
Ярким пурпуром окутал —
И она затрепетала
На груди его звездою.
Так доньне неразлучно
В небесах они проходят:
Вебон, рядом Вебон-Аннонг —
Вебон и Звезда Рассвета.

В ледяных горах, в пустыне,
В царстве кролика, Вабассо,
В царстве вечной снежной вьюги,
Обитал Кабибонокка.
Это он осенней ночью
Разрисовывает листья
Краской желтой и багряной,
Это он приносит вьюги,
По лесам шипит и свищет,
Покрывает льдом озера,
Гонит чаек острокрылых,
Гонит цаплю и баклана
В камыши, в морские бухты,
В гнезда их на теплом юге.

Вышел раз Кабибонокка
Из своих чертогов снежных
Меж горами ледяными,
Устремился с воем к югу
По замерзшим, белым тундрам,
И, осыпанные снегом,
Волоса его — рекою,
Черной, зимнею рекою
По земле за ним струились.

В тростниках, среди осоки,
На замерзших, белых тундрах
Жил там Шингебис, морянка.
Одинок в белых тундрах
Проводил он зиму эту:
Братья Шингебиса были
В теплых странах Шавондази.

И вскричал Кабибонокка
В лютом гневе: «Кто дерзает
Презирать Кабибонокку?
Кто осмелился остаться
В царстве Северного Ветра,
Если Вава и Шух-шух-га,
Если дикий гусь и цапля
Уж давно на юг умчались?
Я пойду к его вигваму,
Я очаг его разрушу!»

И пришел во мраке ночи
Ко врагу Кабибонокка.
Он намел сугробы снега,
Завывал в трубе вигвама,
Потрясал его свирепю,
Рвал дверные занавески.
Шингемис не испугался,
Шингемис его не слушал!
В очаге его играло
Пламя яркое, и рыбу
Ел он с песнями и смехом.

Ворвался тогда в жилище
Дикий, злой Кабибонокка;
Шингемис от стужи вздрогнул
В ледяном его дыханье,
Но попрежнему смеялся,
Но попрежнему пел громко:
Он костер поправил только,
Чтоб костер горел светлее,
Чтоб кидало пламя искры.

И с чела Кабибонокки,
С кос его в снегу холодном
Стали падать капли пота,
Как весною каплет с крыши
Иль с ветвей болиголова.
Побежденный этим жаром,
Раздраженный этим пеньем,
Он вскочил и из вигвама
В поле бросился, шагая
По рекам и по озерам:
На борьбу над белой тундрой
Вызывал врага коварно.

Но без страха, без боязни
Вышел Шингебис на битву;
До рассвета он боролся
С Ветром Северным над тундрой,
До утра когтями бился
Шингебис с Кабибоноккой.
И без сил Кабибонокка
Отступил в свои владенья,
Со стыдом бежал по тундрам
В царство кролика, Вабассо,
А за ним все раздавались
Хохот, песни и насмешки.

Шавондази, тучный, сонный,
Обитал на дальнем юге,
Где в дремотном блеске солнца
Круглый год царило лето.
Это он шлет птиц весной,
Шлет к нам ласточку, шлет Шошо,
Шлет Овейсу, трясогузку,
Опечи шлет, реполова,
Гуся, Ваву, шлет на север,
Шлет табак душистый, дыни,
Виноград в багряных гроздьях.

Дым из трубки Шавондази
Небеса туманит паром,
Наполняет негой воздух,
Тусклый блеск дает озерам,
Очертанья гор смягчает,
Веет нежной лаской лета
В теплый Месяц Светлой Ночи,
В Месяц Лыж зимой холодной.

Беззаботный Шавондази!
Лишь одно узнал он горе,
Лишь одну печаль изведал.
Раз, смотря на север с юга,
Далеко в степных равнинах
Он увидел утром деву,
Деву с гибким, стройным станом,
Одинокую в равнинах.
Был на ней наряд зеленый,
И как солнце были косы.

День за днем потом смотрел он,
День за днем вздыхал он страстно,

День за днем все больше сердце
Разгоралось в нем любовью
К деве нежной, златокудрой.
Но ленив и неподвижен
Был беспечный Шавондази,
Да, ленив и слишком тучен:
К милой он пойти все медлил,
Он сидел, вздыхая страстно,
И все только любовался
Златокудрой девой прерий.

Наконец, однажды утром
Увидал он, что поблекли
Кудри русые у милой,—
Словно первый снег, белеют.
«О мой брат из Стран Полночных,
Из далеких стран Вабассо,
Царства Северного Ветра!
Ты украл мою невесту,
Завладел моею милой,
Оболюстил ее своею
Сказкой Северного Ветра!»

Так несчастный Шавондази
Изливал свои страданья,
И бродил в равнинах знойный
Южный Ветер, полный вздохов,
Страстных вздохов Шавондази.
И наполнился весь воздух,
Словно снегом, белым пухом:
Погубили вздохи ветра
Деву с русыми кудрями,
И от взоров Шавондази
Навсегда сокрылась дева!

О мечтатель Шавондази!
Не по девушке вздыхал ты,
Не на женщину смотрел ты,—
На цветок, на одуванчик;
О цветке вздыхал ты страстно,
На цветок глядел все лето
День за днем с любовью томной
И сгубил его навеки,
В поле вздохами развеял.
Бедный, бедный Шавондази!

III

Детство Гайаваты

В летний вечер, в полнолуние,
В незапамятное время,
В незапамятные годы,
Прямо с месяца упала
К нам прекрасная Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.

Как дитя, она играла,
На ветвях на виноградных
Меж подруг своих качалась,
И одна из них, сгорая
Злобой ревности и мести,
Эти ветви подрубила,
И на Мускодэ упала,
На цветущую долину,
Замирая от испуга,
Летним вечером Нокомис.
«Вон звезда упала с неба!» —
Говорил народ в селеньях.

Там, на мягких мхах и травах,
Там, среди стыдливых лилий,
В тихой Мускодэ, в долине,
В звездном блеске, в лунном свете,
Стала матерью Нокомис,
Назвала дочь первородной —
Назвала ее Веноной,
И, как лилия в долине,
Расцвела ее Венона:
Стала гибкой, стала стройной,
Точно лунный свет, прекрасной,
Точно звездный отблеск, нежной.

И Нокомис часто стала
Говорить, твердить Веноне:
«О, страшись, остерегайся
Мэджеквиса, Венона!
Никогда его не слушай,
Не гуляй одна в долине,
Не ложись в траве меж лилий!»

Но не слушалась Венона,
Не внимала мудрой речи,
И пришел к ней Мэджекивис,
Темным вечером подкрался,
С тихим шопотом склоняя
На лугу цветы и травы.
Там прекрасная Венона
Меж цветов одна лежала,
Там нашел ее коварный
Ветер Западный — и начал
Очаровывать Венону
Сладкой речью, нежной лаской —
И родился сын печали,
Нежной страсти и печали,
Дивной тайны — Гайавата.

Так родился Гайавата;
А коварный Мэджекивис,
Бессердечный Мэджекивис
Уж покинул дочь Нокомис,
И недолго после билось
Сердце нежное Веноны:
Умерла она в печали.

Долго с криками рыдала,
Долго плакала Нокомис:
«О, зачем жестокий Погоч
Не меня унес с собою?
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин, вагономин!»

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С юных дней жила Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Позади ее вигвама
Темный лес стоял стеною —
Чащи темных, мрачных сосен,
Чащи елей в красных шишках,
А пред ним прозрачной влагой
На песок плескались волны,
Блеском солнца зыбь сверкала
Светлых вод Большого Моря.

Там, в тиши лесов и моря,
Внука нянчила Нокомис,
В люльке липовой качала,
Усланной кугой и мохом,
Крепко связанной ремнями,
И, качая, говорила:
«Спи! А то отдам медведю!»
Там, баюкая, певала:
«Эва-ия, мой совеноч!
Что там светится в вигваме?
Чьи глаза блестят в вигваме?
Эва-ия, мой совеноч!»

Много-много рассказала
О звездах ему Нокомис;
Показала хвост кометы,—
Ишкуду в огнистых косах,
Показала Танец Духов,
Их блистающие рати
В небесах Страны Полночной,
В Месяц Лыж морозной ночью;
Показала серебристый
Путь всех призраков и духов —
Белый путь на темном небе,
Полном призраков и духов.

Вечерами, теплым летом,
У дверей сидел малютка,
Слушал тихий ропот сосен,
Слушал тихий плеск прибоя,
Звуки дивных слов и песен:
«Минни-вава!» — пели сосны,
«Мэдвэй-ошка!» — пели волны,

Видел мушку, Ва-ва-тэйзи,
Что, сверкая белой искрой,
Светит в сумраке вечернем
Над травой и кустами,
И тихонько пел ей песню,
Что Нокомис научила:
«Ва-ва-тэйзи, Ва-ва-тэйзи!
Крошка, огненная мушка,
Крошка, белый огонечек!
Потанцуй еще немножко;
Посвети мне, попрыгунья,
Белой искоркой своею:

Скоро я в постельку лягу,
Скоро я закрою глазки!»

Видел, как над Гитчи-Гюми,
Отражаясь в Гитчи-Гюми,
Подымался полный месяц,
Видел тень на нем и пятна
И шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Раз один сердитый воин
Подхватил старуху-бабку
И швырнул ее на небо,
Зашвырнул на месяц прямо.
Так она там и осталась».

Видел радугу на небе,
На востоке, и тихонько
Говорил: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это Мускодэ на небе;
Все цветы лесов зеленых,
Все болотные кувшинки,
На земле когда увянут,
Расцветают снова в небе».

Если сов он слышал в полночь,—
Вой и хохот в чаще леса,
Он дрожа кричал: «Кто это?»
Он шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это совы собралися
И по-своему болтают,
Это ссорятся совята!»

Так малютка, внук Нокомис,
Изучил весь птичий говор,
Имена их, все их тайны:
Как они выют гнезда летом,
Где живут они зимою;
Часто с ними вел беседы,
Звал их всех: «мои цыплята».

Всех зверей язык узнал он,
Имена их, все их тайны:
Как бобер жилище строит,
Где орехи белка прячет,
Отчего резва косуля,

Отчего труслив Вабассо;
Часто с ними вел беседы,
Звал их: «братья Гайаваты».

И рассказчик сказок Ягу,
Говорун, хвастун великий,
Много по свету бродивший,
Верный друг Нокомис старой,
Сделал лук для Гайаваты:
Лук из ясеня он сделал,
Стрелы сделал он из дуба,
Наконечники — из яшмы,
Тетиву — из кожи лани.

И сказал он Гайавате:
«Ну, мой сын, иди скорее
В лес, где держатся олени.
Застрели-ка там косулю
С разветвленными рогами».

Гордо взял свой лук и стрелы
Гайавата и отважно
В лес пустился; птицы звонко
Пели, по лесу порхая.
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Опечи пел красногрудый;
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Пел Овейса синеперый.

На дубу над Гайаватой
Вниз и вверх скакала белка,
Меж зеленых листьев дуба
С кашлем прыгала, смеялась
И, смеясь, пробормотада:
«Пощади, о Гайавата!»

И вприпрыжку белый кролик
Робко бросился с тропинки,
Стал вдали на задних лапках
И охотнику промолвил
Хоть и в шутку, но трусливо:
«Пощади, о Гайавата!»

Но не слушал Гайавата, —
Точно сонный, брел он лесом,
Думал только об олене,
След его искал глазами,

След, что вел к речному броду,
По тропе к речному броду.

За ольховыми кустами
Сел и выждал он оленя,
Увидал два глаза в чаще,
Увидал над ней два рога,
Ноздри, поднятые к ветру,
Увидал и морду зверя
Под листвою, в пятнах света,
И, как легкий лист березы,
Сердце в нем затрепетало,
Как ольха, весь задрожал он,
Увидав над бродом зверя.

На одно колено ставши,
Он прицелился в оленя.
Только ветка шевельнулась,
Только листик закачался,
Но олень уж встрепенулся,
Отшатнувшись, топнул в землю,
Чутко встал, подняв копыто,
Прыгнул, точно ждал удара.

Ах, он шел навстречу смерти!
Как оса, стрела запела,
Как оса, в него впилая!

Мертвый он лежал у брода,
Меж деревьев, над рекою;
Сердце в нем уже не билось,
Но зато у Гайаваты
Сердце так и трепетало,
Как домой он нес оленя
И ему рукоплескали
Старый Ягу и Нокомис.

Из оленьей пестрой шкуры
Внуку плащ Нокомис сшила,
Созвала соседей в гости,
Пир дала в честь Гайаваты.
Вся деревня собралась,
Все соседи называли
Гайавату храбрым, сильным —
Сон-джи-тэгэ, Ман-го-тэйзи!

IV

Гайавата и Мэджекивис

Миновали годы детства,
Возмужал мой Гайавата;
Игры юности беспечной,
Стариков житейский опыт,
Труд, охотничьи сноровки —
Все постиг он, все изведаль.

Резвы ноги Гайаваты!
Запустив стрелу из лука,
Он бежал за ней так быстро,
Что стрелу опережал он.
Мощны руки Гайаваты!
Десять раз, не отдыхая,
Мог согнуть он лук упругий
Так легко, что догоняли
На лету друг друга стрелы.

Рукавицы Гайаваты,
Рукавицы, Минджикэвон,
Из оленьей мягкой шкуры,
Обладали дивной силой:
Сокрушать он мог в них скалы,
Раздроблять в песчинки камни.
Мокасины Гайаваты
Из оленьей мягкой шкуры
Волшебство в себе таили:
Привязавши их к лодыжкам,
Прикрепив к ногам ремнями,
С каждым шагом Гайавата
Мог по целой миле делать.

Об отце своем нередко
Он расспрашивал Нокомис,
И поведала Нокомис
Внуку тайну роковую:
Рассказала, как прекрасна,
Как нежна была Венона,
Как сгубил ее изменой
Вероломный Мэджекивис,
И, как уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Он сказал Нокомис старой:
«Я иду к отцу, Нокомис,
Я хочу его проведать
В царстве Западного Ветра,
У преддверия Заката».

Из вигвама выходил он,
Снарядившись в путь далекий,
В рукавицах, Минджикэвон,
И волшебных мокалинах.
Весь наряд его богатый
Из оленьей мягкой шкуры
Зернью вампума украшен
И щетиной дикобраза.
Голова его — в орлиных
Развевающихся перьях,
За плечом его, в колчане —
Из дубовых веток стрелы,
Оперенные искусно
И оправленные в яшму,
А в руках его — упругий
Лук из ясеня, согнутый
Тетивой из жил оленя.

Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
«Не ходи, о Гайавата,
В царство Западного Ветра:
Он убьет тебя коварством,
Волшебством своим погубит».

Но отважный Гайавата
Не внимал ее советам,
Уходил он от вигвама,
С каждым шагом делал милю.
Мрачным лес ему казался,
Мрачным — свод небес над лесом,
Воздух — душным и горячим,
Полным дыма, полным гари,
Как в пожар лесов и прерий:
Словно уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

Так держал он путь далекий
Все на запад и на запад
Легче быстрого оленя,

Легче лани и бизона,
Переплыл он Эсконабо,
Переплыл он Миссисипи,
Миновал Степные Горы,
Миновал степные страны
И Лисиц и Черноногих,
И пришел к Горам Скалистым,
В царство Западного Ветра,
В царство бурь, где на вершинах
Восседал Владыка Ветров,
Престарелый Мэджекивис.

С тайным страхом Гайавата
Пред отцом остановился:
Дико в воздухе клубились,
Облаками развевались
Волоса его седые,
Словно снег, они блстели,
Словно пламенные косы
Ишкуды, они сверкали.

С тайной радостью увидел
Мэджекивис Гайавату:
Это молодости годы
Перед ним воскресли к жизни,
Это встала из могилы
Красота Веноны нежной.

«Будь здоров, о Гайавата! —
Так промолвил Мэджекивис: —
Долго ждал тебя я в гости
В царство Западного Ветра!
Годы старости — печальны,
Годы юности — отрадны.
Ты напомнил мне бывшее,
Юность пылкую напомнил
И прекрасную Венону!»

Много дней прошло в беседе,
Долго мощный Мэджекивис
Похвалялся Гайавате
Прежней доблестью своею,
Приключеньями былыми,
Непреклонною отвагой;

Говорил, что дивной силой
Он от смерти заколдован.

Молча слушал Гайавата
Как хвалился Мэджекивис,
Терпеливо и с улыбкой
Он сидел и молча слушал.
Ни угрозой, ни укором,
Ни одним суровым взглядом
Он не выказал досады,
Но, как уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

И сказал он: «Мэджекивис!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»
И могучий Мэджекивис
Величаво, благосклонно
Отвечал: «Ничто на свете,
Кроме вон того утеса,
Кроме Вавбика, утеса!»
И, взглянув на Гайавату
Взором мудрости спокойной,
По-отечески любуясь
Красотой его и мощью,
Он сказал: «О Гайавата!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»

Помолчал одну минуту
Осторожный Гайавата,
Помолчал, как бы в сомненье,
Помолчал, как бы в раздумье,
И сказал: «Ничто на свете.
Лишь один тростник, Эпоква,
Лишь вон тот камыш высокий!»
И как только Мэджекивис,
Встав, простер к Эпокве руку,
Гайавата в страхе крикнул,
В лицемерном страхе крикнул:
«Каго, каго! — Не касайся!»
«Полно! — молвил Мэджекивис,—
Успокойся,— я не трону».

И опять они беседу
Продолжали; говорили

И о Вебоне прекрасном,
И о тучном Шавондази,
И о злом Кабибонокке;
Говорили о Веноне,
О ее рожденье дивном,
О ее кончине грустной,—
Обо всем, что рассказала
Внуку старая Нокомис.

И воскликнул Гайавата:
«О коварный Мэджекивис!
Это ты убил Венону,
Ты сорвал цветок весенний,
Растоптал его ногами!
Признавайся! Признавайся!»
И могучий Мэджекивис
Тихо голову седую
Опустил в тоске глубокой,
В знак безмолвного согласия.

Быстро встал тогда, сверкая
Грозным взором, Гайавата,
На утес занес он руку
В рукавице, Минджикэвон,
Разломил его вершину,
Раздробил его в осколки,
Стал в отца швырять свирепо:
Словно уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Но могучий Мэджекивис
Камни гнал назад дыханьем,
Бурей гневного дыханья
Гнал назад, на Гайавату.
Он схватил рукой Эпокву,
Вырвал с мочками, с корнями,—
Над рекой из вязкой тины
Вырвал бешено Эпокву
Он под хохот Гайаваты.

И начался бой смертельный
Меж Скалистыми Горами!
Сам Орел Войны могучий
На гнезде поднялся с криком,
С резким криком сел на скалы,
Хлопал крыльями над ними.

Словно дерево под бурей,
Рассекал Эпоква воздух,
Словно град, летели камни
С треском с Вавбика, утеса,
И земля окрест дрожала,
И на тяжкий грохот боя
По горам гремело эхо,
Отзывалось: «Бэм-Вава!»

Отступать стал Мэджекивис,
Устремился он на запад,
По горам на дальний запад,
Отступал три дня, сражаясь,
Убегал, гонимый сыном,
До преддверия Заката,
До границ своих владений,
До конца земли, где солнце
В красном блеске утопает
На ночлег в воздушной бездне,
Опускаясь, как фламинго
Опускается зарею
На печальное болото.

«Удержись, о Гайавата! —
Наконец вскричал он громко: —
Ты убить меня не в силах,
Для бессмертного нет смерти.
Испытать тебя хотел я,
Испытать твою отвагу,
И награду заслужил ты!

Возвратись в родную землю,
К своему вернись народу,
С ним живи и с ним работай.
Ты расчистить должен реки,
Сделать землю плодоносной,
Умертвить чудовищ злобных,
Змей, Кинэбик, и гигантов,
Как убил я Мише-Мокву,
Исполина Мише-Мокву.

А когда твой час настанет,
И заблещут над тобою
Очи Погока из мрака, —
Разделю с тобой я царство,
И владыкою ты будешь
Над Кивайдином веки!»

Вот какая разыгралась
Битва в грозные дни Ша-ша,
В дни далекого былого,
В царстве Западного Ветра.
Но следы той славной битвы
И теперь охотник видит
По холмам и по долинам:
Видит шпажник исполинский
На прудах и вдоль потоков,
Видит Вавбика осколки
По холмам и по долинам.

На восток, в родную землю,
Гайавата путь направил.
Позабыл он горечь гнева,
Позабыл о мшенье думы,
И вокруг него отрадой
И весельем все дышало.

Только раз он путь замедлил,
Только раз остановился,
Чтоб купить в стране Дакотов
Наконечников на стрелы.
Там, в долине, где смеялись,
Где блистали, низвергаясь
Меж зелеными дубами,
Водопады Миннегаги,
Жил старик, дакот суровый.
Делал он головки к стрелам,
Острия из халцедона,
Из кремня и крепкой яшмы,
Отшлифованные гладко,
Заостренные, как иглы.

Там жила с ним дочь-невеста,
Быстроногая, как речка,
Своенравная, как брызги
Водопадов Миннегаги.
В блеске черных глаз играли
У нее и свет и тени,—
Свет улыбки, тени гнева;
Смех ее звучал, как песня,
Как поток, струились косы,
И Смеющейся Водюю
В честь реки ее назвал он,

В честь веселых водопадов
Дал ей имя — Миннегага.

Так ужели Гайавата
Заходил в страну Дакотов,
Чтоб купить головок к стрелам,
Наконечников из яшмы,
Из кремня и халцедона?
Не затем ли, чтоб украдкой
Посмотреть на Миннегагу,
Встретить взор ее пугливый,
Услышать одежды шорох
За дверною занавеской,
Как глядят на Миннегагу,
Что горит сквозь ветви леса,
Как внимают водопаду
За зеленой чащей леса?

Кто расскажет, что таится
В молодом и пылком сердце?
Как узнать, о чем в дороге
Сладко грезил Гайавата?
Все Нокомис рассказал он,
Возвратясь домой под вечер,
О борьбе и о беседе
С Мэджеквисом могучим,
Но о девушке, о стрелах
Не обмолвился ни словом!

V

Поэт Гайаваты

Вы услышите сказанье,
Как в лесной глуши постился
И молился Гайавата:
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастье, о благе
Всех племен и всех народов.

Пред постом он приготовил
Для себя в лесу жилище,—
Над блестящим Гитчи-Гюми,
В дни весеннего расцвета,

В светлый, теплый Месяц Листьев
Он вигвам себе построил
И, в виденьях, в дивных грезах,
Семь ночей и дней постился.

В первый день поста бродил он
По зеленым тихим рощам;
Видел кролика он в норке,
В чаще выпугнул оленя,
Слышал, как фазан кудахтал,
Как в дупле возилась белка,
Видел, как под тенью сосен
Вьет гнездо Омими, голубь,
Как стада гусей летели
С заунывным криком, с шумом
К диким северным болотам.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной, —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

На другой день над рекою,
Вдоль по Мускодэ, бродил он,
Видел там он Маномони
И Минагу, голубику,
И Одамин, землянику,
Куст крыжовника, Шабомин,
И Бимагут, виноградник,
Что зеленою гирляндой,
Разливая сладкий запах,
По ольховым сучьям вьется.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной, —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

В третий день сидел он долго,
Погруженный в размышленья,
Возле озера, над тихой,
Над прозрачною водою.
Видел он, как прыгал Нама,
Сыпля брызги, словно жемчуг;
Как резвился окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя,
Видел шуку, Маскенозу,
Сельдь речную, Окагавис,

Шогаши, морского рака.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной,—
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

На четвертый день до ночи
Он лежал в изнеможенье
На листве в своем вигваме.
В полусне над ним роились
Грезы, смутные виденья;
Вдалеке вода сверкала
Зыбким золотом, и плавно
Все кружилось и горело
В пышном зареве заката.

И увидел он: подходит
В полусумраке пурпурном,
В пышном зареве заката,
Стройный юноша к вигваму.
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.

У дверей остановившись,
Долго с жалостью, с участием
Он смотрел на Гайавату,
На лицо его худое,
И, как вздохи Шавондази
В чаще леса, — прозвучала
Речь его: «О Гайавата!
Голос твой услышан в небе,
Потому что ты молился
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастье, о благе
Всех племен и всех народов.

Для тебя Владыкой Жизни
Послан друг людей — Мондамин;
Послан он тебе поведать,
Что в борьбе, в труде, в терпенье
Ты получишь все, что просишь.
Встань с ветвей, с зеленых листьев,
Встань с Мондамином бороться!»

Изнурен был Гайавата,
Слаб от голода, но быстро
Встал с ветвей, с зеленых листьев.
Из стемневшего вигвама
Вышел он на свет заката,
Вышел с юношей бороться —
И едва его коснулся,
Вновь почувствовал отвагу,
Ощутил в груди усталой
Бодрость, силу и надежду.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката,
И все крепче, все сильнее
Гайавата становился.
Но спустились тени ночи,
И Шух-шух-га на болоте
Издала свой крик тоскливый,
Вопль и голода и скорби.

«Кончим! — вымолвил Мондамин,
Улыбаясь Гайавате,—
Завтра снова приготовься
На закате к испытанью».
И, сказав, исчез Мондамин.
Опустился ли он тучкой,
Иль поднялся, как туманы,—
Гайавата не заметил;
Видел только, что исчез он,
Истомив его борьбою,
Что внизу, в ночном тумане,
Смутно озеро белеет,
А вверху мерцают звезды.

Так два вечера,— лишь только
Опускалось тихо солнце
С неба в западные воды,
Погружалось в них, краснея,
Словно уголь, раскаленный
В очаге Владыки Жизни,—
Приходил к нему Мондамин.
Молчаливо появлялся,
Как роса на землю сходит,
Принимающая форму
Лишь тогда, когда коснется
До травы или деревьев,

Но невидимая смертным
В час прихода и ухода.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката,
Но спустились тени ночи,
Прокричала на болоте
Громко, жалобно Шух-шух-га,
И задумался Мондамин;
Стройный станом и прекрасный,
Он стоял в своем наряде;
В головном его уборе
Перья веяли, качались,
На челе его сверкали
Капли пота, как росинки.

И вскричал он: «Гайавата!
Храбро ты со мной боролся,
Трижды стойко ты боролся,
И пошлет Владыка Жизни
Надо мной тебе победу!»

А потом сказал с улыбкой:
«Завтра кончится твой искус —
И борьба и пост тяжелый;
Завтра ты меня поборешь;
Приготовь тогда мне ложе
Так, чтоб мог весенний дождик
Освежать меня, а солнце —
Согреть до самой ночи.
Мой наряд зелено-желтый,
Головной убор из перьев
Оборви с меня ты смело,
Схорони меня и землю
Разровняй и сделай мягкой.

Стереги мой сон глубокий,
Чтоб никто меня не трогал,
Чтобы плевелы и травы
Надо мной не зарастали,
Чтобы Кагаги, Царь-Ворон,
Не летал к моей могиле.
Стереги мой сон глубокий
До поры, когда проснусь я,
К солнцу светлому воспряну!»
И, сказав, исчез Мондамин.

Мирным сном спал Гайавата;
Слышал он, как пел уныло
Полуночник, Вавонэйса,
Над вигвамом одиноким;
Слышал он, как, убегая,
Сибовиша говорливый
Вел беседы с темным лесом;
Слышал шорох — вздохи веток,
Что склонялись, подымались,
С ветерком ночным качаясь.
Слышал все, но все сливалось
В дальний ропот, сонный шопот:
Мирным сном спал Гайавата.

На заре пришла Нокомис,
На седьмое утро пищи
Принесла для Гайаваты.
Со слезами говорила,
Что его погубит голод,
Если пищи он не примет.

Ничего он не отведал,
Ни к чему не прикоснулся,
Лишь промолвил ей: «Нокомис!
Подожди со мной заката,
Подожди, пока стемнеет
И Шух-шух-га громким криком
Возвестит, что день окончен!»

Плача шла домой Нокомис,
Все тоскуя, опасаясь,
Что его погубит голод.
Он же стал, томясь тоскою,
Ждать Мондамина. И тени
Потянулись от заката
По лесам и по долинам;
Опустилось тихо солнце
С неба в Западные Воды,
Как спускается зарею
В воду красный лист осенний
И в воде, краснея, тонет.

Глядь — уж тут Мондамин юный,
У дверей стоит с приветом!
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,

Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.

Как во сне к нему навстречу
Встал, измученный и бледный,
Гайавата, но бесстрашно
Вышел — и бороться начал.

И слились земля и небо,
Замелькали пред глазами!
Как осетр в сетях трепещет,
Бьется бешено, чтоб сети
Разорвать и прыгнуть в воду,
Так в груди у Гайаваты
Сердце сильное стучало,
Словно огненные кольца,
Горизонт сверкал кровавый
И кружился с Гайаватой;
Сотни солнцев, разгораясь,
На борьбу его глядели.
Вдруг один среди поляны
Очутился Гайавата.

Он стоял, ошеломленный
Этой дикою борьбою,
И дрожал от напряженья;
А пред ним, в измятых перьях
И в изорванных одеждах,
Бездыханный, неподвижный,
На траве лежал Мондамин,
Мертвый, в зареве заката.

Победитель Гайавата
Сделал так, как приказал он:
Снял с Мондамина одежды,
Снял изломанные перья,
Схоронил его и землю
Разровнял и сделал мягкой.
И среди болот печальных
Цапля сизая, Шух-шух-га,
Издала свой крик тоскливый,
Вопль и жалобы и скорби.

В отчий дом, в вигвам Нокомис
Возвратился Гайавата,

И семь суток испытанья
В этот вечер завершились.
Но запомнил Гайавата
Те места, где он боролся,
Не покинул без призора
Ту могилу, где Мондамин
Почивал, в земле зарытый,
Под дождем и ярким солнцем.

День за днем над той могилой
Сторожил мой Гайавата,
Чтобы холм ее был мягким,
Не зарос травкою сорной,
Прогоняя свистом, криком
Кагаги с его народом.

Наконец. зеленый стебель
Показался над могилой,
А за ним — другой и третий,
И не кончилось лето,
Как в своем уборе пышном,
В золотистых, мягких косах,
Встал высокий, стройный маис.
И воскликнул Гайавата
В восхищении: «Мондамин!
Это друг людей, Мондамин!»

Тотчас кликнул он Нокомис,
Кликнул Ягу, рассказал им
О своем виденье дивном,
О своей борьбе, победе,
Показал зеленый маис —
Дар небесный всем народам,
Что для них быть должен пищей.

А поздней, когда, под осень,
Пожелтел созревший маис,
Пожелтели, стали тверды
Зерна маиса, как жемчуг,
Он собрал его початки,
Сняв с него листву сухую,
Как с Мондамина когда-то
Снял одежды, — и впервые
«Пир Мондамина» устроил,
Показал всему народу
Новый дар Владыки Жизни.

Друзья Гайаваты

Было два у Гайаваты
 Неизменных, верных друга.
 Сердце, душу Гайаваты
 Знали в радостях и в горе
 Только двое: Чайбайабос,
 Музыкант, и мощный Квазинд.

Меж вигвамов их тропинка
 Не могла в траве заглохнуть;
 Сплетни, лживые наветы
 Не могли посеять злобы
 И раздора между ними:
 Обо всем они держали
 Лишь втроем совет согласный,
 Обо всем с открытым сердцем
 Говорили меж собою
 И стремились только к благу
 Всех племен и всех народов.

Лучшим другом Гайаваты
 Был прекрасный Чайбайабос,
 Музыкант, певец великий,
 Несравненный, небывалый.
 Был, как воин, он отважен,
 Но, как девушка, был нежен,
 Словно ветка ивы, гибок,
 Как олень рогатый, статен.

Если пел он, вся деревня
 Собиралась песни слушать,
 Жены, воины сходились,
 И то нежностью, то страстью
 Волновал их Чайбайабос.

Из тростинки сделав флейту,
 Он играл так нежно, сладко,
 Что в лесу смолкали птицы,
 Затихал ручей игривый,
 Замолкала Аджидомо,
 А Вабассо осторожный
 Приседал, смотрел и слушал.

Да! Примолкнул Сибовиша
 И сказал: «О Чайбайабос!

Научи мои ты волны
Мелодичным, нежным звукам!»

Да! Завистливо Овэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня безумным,
Страстным звукам диких песен!»

Да! И Опечи веселый
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня веселым,
Сладким звукам нежных песен!»

И, рыдая, Вавонэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня тоскливым,
Скорбным звукам скорбных песен!»

Вся природа сладость звуков
У него перенимала,
Все сердца смягчал и трогал
Страстной песней Чайбайабос,
Ибо пел он о свободе,
Красоте, любви и мире,
Пел о смерти, о загробной
Бесконечной, вечной жизни,
Воспевал Страну Понима
И Селения Блаженных.

Дорог сердцу Гайаваты
Кроткий, милый Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый!
Он любил его за нежность
И за чары звучных песен.

Дорог сердцу Гайаваты
Был и Квазинд, — самый мощный
И незлобивый из смертных;
Он любил его за силу,
Доброту и простодушие.

Квазинд в юности ленив был,
Вял, мечтателен, беспечен;
Не играл ни с кем он в детстве,
Не удил в заливе рыбы,
Не охотился за зверем, —

Не похож он был на прочих.
Но постился Квазинд часто,
Своему молился Духу,
Покровителю молился.

«Квазинд,— мать ему сказала,
Ты ни в чем мне не поможешь!
Лето ты, как сонный, бродишь
Праздно по полям и рощам,
Зиму греешься, согнувшись
Над костром среди вигвама;
В самый лютей зимний холод
Я хожу на ловлю рыбы,—
Ты и тут мне не поможешь!
У дверей висит мой невод,
Он намок и замерзает,—
Встань, возьми его, ленивец,
Выжми, высуши на солнце!»

Неохотно, но спокойно
Квазинд встал с золы остывшей,
Молча вышел из вигвама,
Скинул смерзшиеся сети,
Что висели у порога,
Стиснул их, как пук соломы,
И сломал, как пук соломы!
Он не мог не изломать их:
Вот насколько был он силен!

«Квазинд! — раз отец промолвил,—
Собирайся на охоту.
Лук и стрелы постоянно
Ты ломаешь, как тростинки,
Так хоть будешь мне добычу
Приносить домой из леса».

Вдоль ущелья, по теченью
Ручейка, они спускались
По следам бизонов, ланей,
Отпечатанным на иле,
И наткнулись на преграду:
Повалившиеся сосны
Поперек и вдоль дороги
Весь проход загромождали.

«Мы должны,— промолвил старец,—
Ворочаться: тут не влезешь!

Тут и белка не взберется,
Тут сурок пролезть не сможет».
И сейчас же вынул трубку,
Закурил и сел в раздумье.
Но не выкурил он трубки,
Как уж путь был весь расчищен:
Все деревья Квазинд поднял,
Быстро вправо и налево
Раскидал, как стрелы, сосны,
Разметал, как копыя, кедры.

«Квазинд! — юноши сказали,
Забавляясь на долине,—
Что же ты стоишь, глазеешь,
На утес облокотившись?
Выходи, давай бороться,
В цель бросать из пращи камни».

Вялый Квазинд не ответил,
Ничего им не ответил,
Только встал и, повернувшись,
Обхватил утес руками,
Из земли его он вырвал,
Раскачал над головою
И забросил прямо в реку,
Прямо в быструю Повэтин.
Так утес там и остался.

Раз по пенистой пучине,
По стремительной Повэтин,
Плыл с товарищами Квазинд
И вождя бобров, Амика,
Увидал среди потока:
С быстринной бобер боролся,
То всплывая, то ныряя.

Не задумавшись нимало,
Квазинд молча прыгнул в реку,
Скрылся в пенистой пучине,
Стал преследовать Амика
По ее водоворотам,
И в воде пробыл так долго,
Что товарищи вскричали:
«Горе нам! Погиб наш Квазинд!
Не вернется больше Квазинд!»
Но торжественно он выплыл:

На плече его блестящем
Вождь бобров висел убитый,
И с него вода струилась.

Таковы у Гайаваты
Были верные два друга.
Долго с ними жил он в мире,
Много вел бесед сердечных,
Много думал дум о благе
Всех племен и всех народов.

VII

Пирога Гайаваты

«Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирогу,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка!

Скинь свой белый плащ, Береза!
Скинь свой плащ из белой кожи:
Скоро лето к нам вернется,
Жарко светит солнце в небе,
Белый плащ тебе не нужен!»

Так над быстрой Таквамино,
В глубине лесов дремучих,
Воскличал мой Гайавата
В час, когда все птицы пели,
Воспевали Месяц Листьев,
И, от сна восставши, солнце
Говорило: «Вот я — Гизис,
Я, великий Гизис, солнце!»

До корней затрепетала
Каждым листиком береза,
Говоря с покорным вдохом:
«Скинь мой плащ, о Гайавата!»

И ножом жору березы
Опоясал Гайавата

Ниже веток, выше корня,
Так, что брызнул сок наружу;
По стволу, с вершины к корню,
Он потом кору разрезал,
Деревянным клином поднял,
Осторожно снял с березы.

«Дай, о Кедр, ветвей зеленых,
Дай мне гибких, крепких сучьев,
Помоги пирогу сделать
И надежней и прочнее!»

По вершине кедра шумно
Ропот ужаса пронесся,
Стон и крик сопротивленья;
Но, склоняясь, прошептал он:
«На, руби, о Гайавата!»

И, срубивши сучья кедра,
Он связал из сучьев раму,
Как два лука, он согнул их,
Как два лука, он связал их.

«Дай корней своих, о Тэмрак,
Дай корней мне волокнистых:
Я свяжу свою пирогу,
Так свяжу ее корнями,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилась в пирогу!»

В свежем воздухе до корня
Задрожал, затрясся Тэмрак,
Но, склоняясь к Гайавате,
Он одним печальным вздохом,
Долгим вздохом отозвался:
«Все возьми, о Гайавата!»

Из земли он вырвал корни,
Вырвал, вытянул волокна,
Плотно сшил кору березы,
Плотно к ней приладил раму.

«Дай мне, Ель, смолы тягучей,
Дай смолы своей и соку:
Засмолю я швы в пироге,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилась в пирогу!»

Как шуршит песок прибрежный,
Зашуршали ветви ели,
И, в своем уборе черном,
Отвечала ель со стоном,
Отвечала со слезами:
«Собери, о Гайавата!»

И собрал он слезы ели,
Взял смолы ее тягучей,
Засмолил все швы в пироге,
Защитил от волн пирогу.

«Дай мне, Еж, колючих игол,
Все, о Еж, отдай мне иглы:
Я украшу ожерельем,
Уберу двумя звездами
Грудь красавицы-пироги!»

Сонно глянул Еж угрюмый
Из дупла на Гайавату,
Словно блещущие стрелы,
Из дупла метнул он иглы,
Бормоча в усы лениво:
«Подбери их, Гайавата!»

По земле собрал он иглы,
Что блестели, точно стрелы;
Соком ягод их окрасил,
Соком желтым, красным, синим,
И пирогу в них оправил,
Сделал ей блестящий пояс,
Ожерелье дорогое,
Грудь убрал двумя звездами.

Так построил он пирогу
Над рекою, средь долины,
В глубине лесов дремучих,
И вся жизнь лесов была в ней,
Все их тайны, все их чары:
Гибкость лиственницы темной,
Крепость мощных сучьев кедра
И березы стройной легкость;
На воде она качалась,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка.

Весел не было на лодке,
В веслах он и не нуждался:
Мысль ему веслом служила,
А рулем служила воля;
Обогнать он мог хоть ветер,
Путь держать — куда хотелось.

Кончив труд, он кликнул друга,
Кликнул Квазинда на помощь,
Говоря: «Очистим реку
От коряг и желтых мелей!»

Быстро прыгнул в реку Квазинд,
Словно выдра, прыгнул в реку,
Как бобер, нырять в ней начал,
Погружаясь то по пояс,
То до самых мышек в воду.
С криком стал нырять он в воду,
Поднимать со дна коряги,
Вверх кидать песок руками,
А ногами — ил и травы.

И поплыл мой Гайавата
Вниз по быстрой Таквамино,
По ее водоворотам,
Через омуты и мели,
Вслед за Квазиндом могучим.

Вверх и вниз они проплыли,
Всюду были, где лежали
Корни, мертвые деревья
И пески широких мелей,
И расчистили дорогу,
Путь прямой и безопасный
От истоков меж горами
И до самых вод Повэтин,
До залива Таквамино.

VIII

Гайавата и Мише-Нама

По заливу Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С длинной удочкой из кедра,
Из коры крученой кедра,

На березовой пироге
Плыл отважный Гайавата.

Сквозь слюду прозрачной влаги
Видел он, как ходят рыбы
Глубоко под дном пироги:
Как резвится окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя;
Как лежит на дне песчаном
Шогаши, омар ленивый,
Словно дремлющий тарантул.

На корме сел Гайавата
С длинной удочкой из кедра;
Точно веточки цикуты,
Колебал прохладный ветер
Перья в косах Гайаваты.
На носу его пироги
Села белка, Аджидомо;
Точно травку луговую,
Раздувал прохладный ветер
Мех на шубке Аджидомо.

На песчаном дне на белом
Дремлет мощный Мише-Нама,
Царь всех рыб, осетр тяжелый,
Раскрывает жабры тихо,
Тихо водит плавниками
И хвостом песок взметает.
В боевом вооруженье,—
Под щитами костяными
На плечах, на лбу широком,
В боевых нарядных красках —
Голубых, пурпурных, желтых —
Он лежит на дне песчаном;
И над ним-то Гайавата
Стал в березовой пироге
С длинной удочкой из кедра.

«Встань, возьми мою приманку! —
Крикнул в воду Гайавата,—
Встань со дна, о Мише-Нама,
Подымись к моей пироге,
Выходи на состязанье!»
В глубину прозрачной влаги

Он лесу свою забросил,
Долго ждал ответа Намы,
Тщетно ждал ответа Намы
И кричал ему все громче:
«Встань, царь рыб, возьми приманку!»

Не ответил Мише-Нама.
Важно, медленно махая
Плавниками, он спокойно
Вверх смотрел на Гайавату,
Долго слушал без вниманья
Крик его нетерпеливый,
Наконец сказал Маскенозе,
Жадной щуке, Маскенозе:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»

В сильных пальцах Гайаваты
Сразу удочка согнулась;
Он рванул ее так сильно,
Что пирога дыбом встала,
Поднялася над водою,
Словно белый ствол березы
С резвой белкой на вершине.

Но когда пред Гайаватой
На волнах затрепетала,
Приближаясь, Маскеноза,—
Гневом вспыхнул Гайавата
И воскликнул: «Иза, иза! —
Стыд тебе, о Маскеноза!
Ты лишь щука, ты не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»

Со стыдом на дно вернулась,
Опустилась Маскеноза;
А могучий Мише-Нама
Обратился к Угудвошу,
Неуклюжему Самглаву:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»

Словно белый, полный месяц,
Встал, качаясь и сверкая,
Угудвош, Самглав тяжелый,
И, схватив лесу, так сильно

Закружился вместе с нею,
Что вверху, в водовороте,
Завертелася пирога,
Волны, с плеском разбегаясь,
По всему пошли заливу,
А с песчаных белых мелей,
С отдаленного побережья,
Закивали, зашумели
Тростники и длинный шпажник.

Но когда пред Гайаватой
Из воды поднялся белый
И тяжелый круг Самглава,
Громко крикнул Гайавата:
«Иза, иза! — стыд Самглаву!
Угудвош ты, а не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»

Тихо вниз пошел, качаясь
И блестя, как полный месяц,
Угудвош прозрачно-белый,
И опять могучий Нама
Услыхал нетерпеливый,
Дерзкий вызов, прозвучавший
По всему Большому Морю.

Сам тогда он с дна поднялся,
Весь дрожа от дикой злобы,
Боевой блистая краской
И доспехами бряцаая,
Быстро прыгнул он к пироге,
Быстро выскочил всем телом
На сверкающую воду
И своей гигантской пастью
Поглотил в одно мгновенье
Гайавату и пирогу.

Как бревно по водопаду,
По широким, черным волнам,
Как в глубокую пещеру,
Соскользнула в пасть пирога.
Но, очнувшись в полном мраке,
Безнадежно оглянувшись,
Вдруг наткнулся Гайавата
На большое сердце Намы:

Тяжело оно стучало
И дрожало в этом мраке.

И во гневе мощной дланью
Стиснул сердце Гайавата,
Стиснул так, что Мише-Нама
Всеми фибрами затрясся,
Зашумел водой, забился,
Ослабел, ошеломленный
Нестерпимой болью в сердце.

Поперек тогда поставил
Легкий челн свой Гайавата,
Чтоб из чрева Мише-Намы,
В суматохе и тревоге,
Не упасть и не погибнуть.
Рядом белка, Аджидомо,
Резво прыгала, болтала,
Помогала Гайавате
И трудилась с ним все время.

И сказал ей Гайавата:
«О мой маленький товарищ!
Храбро ты со мной трудилась,
Так прими же, Аджидомо,
Благодарность Гайаваты
И то имя, что сказал я:
Этим именем все дети
Будут звать тебя отныне!»

И опять забился Нама,
Заметался, задыхаясь,
А потом затих — и волны
Понесли его к побережью.
И когда под Гайаватой
Зашуршал прибрежный щебень,
Понял он, что Мише-Нама,
Бездыханный, неподвижный,
Принесен волной к побережью.

Тут бессвязный крик и вопли
Услыхал он над собою,
Услыхал шум длинных крыльев,
Переполнивший весь воздух,
Увидал полоску света
Меж широких ребер Намы

И Кайошк, крикливых чаек,
Что блестящими глазами
На него смотрели зорко
И друг другу говорили:
«Это брат наш, Гайавата!»

И в восторге Гайавата
Крикнул им, как из пещеры:
«О Кайошк, морские чайки,
Братья, сестры Гайаваты!
Умертвил я Мише-Наму,—
Помогите же мне выйти
Поскорее на свободу,
Рвите клювами, когтями
Бок широкий Мише-Намы,
И отныне и вовеки
Прославлять вас будут люди,
Называть, как я вас назвал!»

Дикой, шумной стаей чайки
Принялися за работу,
Быстро щели проклевали
Меж широких ребер Намы,
И от смерти в чреве Намы,
От погибели, от плена,
От могилы под водою
Был избавлен Гайавата.

Возле самого вигвама
Стал на берег Гайавата;
Тотчас кликнул он Нокомис,
Вызвал старую Нокомис
Посмотреть на Мише-Наму:
Мертвый он лежал у моря,
И его клевали чайки.

«Умертвил я Мише-Наму,
Победил его! — сказал он: —
Вон над ним уж вьются чайки.
То друзья мои, Нокомис!
Не гони их прочь, не трогай:
Я от смерти в чреве Намы
Был сейчас избавлен ими.
Пусть они свой пир окончат,
Пусть зобы наполнят пищей;
А когда, с заходом солнца,

Улетят они на гнезда,
Принеси котлы и чаши,
Заготовь к зиме нам жиру».

И Нокомис до заката
Просидела на побережье.
Вот и месяц, солнце ночи,
Встал над тихою водою,
Вот и чайки с шумным криком,
Кончив пир свой, поднялися,
Полетели к отдаленным
Островам на Гитчи-Гюми,
И сквозь зарево заката
Долго их мелькали крылья.

Мирным сном спал Гайавата;
А Нокомис терпеливо
Принялася за работу
И трудилась в лунном свете
До зари, пока не стало
Небо красным на востоке.
А когда сменило солнце
Бледный месяц,— с отдаленных
Островов на Гитчи-Гюми
Воротились стаи чаек,
С криком кинулись на пищу.

Трое суток, чередуясь
С престарелою Нокомис,
Чайки жир срывали с Намы.
Наконец меж голых ребер
Волны начали плескаться,
Чайки скрылись, улетели,
И остались на побережье
Только кости Мише-Намы.

IX

Гайавата и Жемчужное Перо

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого моря,
Вышла старая Нокомис,
Простирая в гнев руку
Над водой к стране заката,
К тучам огненным заката.

В гневе солнце заходило,
Пролагая путь багряный,
Зажигая тучи в небе,
Как вожди сжигают степи,
Отступая пред врагами;
А луна, ночное солнце,
Вдруг восстала из засады
И направилась в погоню
По следам его кровавым,
В ярком зареве пожара.

И Нокомис, простирая
Руку слабую к закату,
Говорила Гайавате:
«Там живет волшебник злобный
Меджисогвон, Дух Богатства,
Тот, кого Пером Жемчужным
Называют все народы;
Там озера смоляные
Разливаются, чернея,
До багряных туч заката;
Там, среди трясины мрачной,
Вьются огненные змеи,
Змеи страшные, Кинэбик!
То хранители и слуги
Меджисогвона-убийцы.

Это им убит коварно
Мой отец, когда на землю
Он с луны за мной спустился
И меня искал повсюду.
Это злобный Меджисогвон
Посылает к нам недуги,
Посылает лихорадки,
Дышит белой мглой с тундры,
Дышит сыростью болотных,
Смертоносных испарений!

Лук возьми свой, Гайавата,
Острых стрел возьми с собою,
Томагаук, Поггэвогон,
Рукавицы, Минджикэвон,
И березовую лодку.
Желтым жиром Мише-Намы
Смажь бока ее, чтоб легче
Было плыть ей по болотам,

И убей ты чародея,
Отомсти врагу Нокомис,
Отомсти врагу народа!»

Быстро в путь вооружился
Благородный Гайавата;
Легкий челн он сдвинул в воду,
Потрепал его рукою,
Говоря: «Вперед, пирога,
Друг мой верный и любимый,
К змеям огненным, Кинэбик,
К смоляным озерам черным!»

Гордо вдаль неслась пирога,
Грозно песню боевую
Пел отважный Гайавата;
А над ним Киню могучий,
Боевой орел могучий,
Вождь пернатых, с диким криком
В небесах кругами плывал.

Скоро он и змей увидел,
Исполинских змей увидел,
Что лежали средь болота,
Ежась, искрясь средь болота,
На пути сплетаясь в кольца,
Поднимаясь, наполняя
Воздух огненным дыханьем,
Чтоб никто не мог проникнуть
К Меджисогвону в жилище.

Но бесстрашный Гайавата,
Громко крикнув, так сказал им:
«Прочь с дороги, о Кинэбик!
Прочь с дороги Гайаваты!»
А они, свирепо ежась,
Отвечали Гайавате
Свистом, огненным дыханьем:
«Отступи, о Шогодайя!
Воротись к Нокомис старой!»

И тогда во гневе поднял
Мощный лук свой Гайавата,
Сбросил с плеч колчан — и начал
Поражать их беспощадно:
Каждый звук тугой и крепкой

Тетивы был криком смерти,
Каждый свист стрелы певучей —
Песнью смерти и победы!

Тяжело в воде кровавой
Змеи мертвые качались,
И победно Гайавата
Плыл меж ними, восклицая:
«О, вперед, моя пирога,
К смоляным озерам черным!»

Желтым жиром Мише-Намы
Он бока и нос пироги
Густо смазал, чтобы легче
Было плыть ей по болотам.
И до света одиноко
Плыл он в этом сонном море,
Плыл в воде, густой и черной,
Вековой корой покрытой
От размытых и гниющих
Камышей и листьев лилий;
И безжизненно и мрачно
Перед ним вода блестя,
Озаренная луною,
Озаренная мерцаньем
Огоньков, что зажигают
Души мертвых на стоянках
В час тоскливой, долгой ночи.

Белым месячным сияньем
Тихий воздух был наполнен;
Тени ночи по болотам
Далеко кругом чернели;
А москиты Гайавате
Пели песню боевую;
Светляки блестя кружились,
Чтобы сбить его с дороги,
И в густой воде Дагинда
Тяжело зашевелилась,
Тупо желтыми глазами
Поглядела на пирогу,
Зарыдала — и исчезла;
И мгновенно огласилось
Все кругом стозвучным свистом,
И Шух-шух-га издали
С камышового побережья

Возвестила громким криком
О прибытии героя!

Так держал путь Гайавата,
Так держал он путь на запад,
Плыл всю ночь, пока не скрылся
С неба бледный, полный месяц.
А когда пригрело солнце,
Стало плечи жечь лучами,
Увидал он пред собою
На холме Вигвам Жемчужный —
Меджисогвона жилище.

Вновь тогда своей пироге
Он сказал: «вперед!» — и быстро,
Величаво и победно
Пронеслась она среди лилий,
Через густой прибрежный шпажник.
И на берег Гайавата
Вышел, ног не замочивши.

Тотчас взял он лук свой верный,
Утвердил в песке, коленом
Надавил посередине
И могучей тетивую
Запустил стрелу-певунью,
Запустил в Вигвам Жемчужный,
Как гонца с своим посланьем,
С гордым вызовом на битву:
«Выходи, о Меджисогвон:
Гайавата ожидает».

Быстро вышел Меджисогвон
Из Жемчужного Вигвама,
Быстро вышел он, могучий,
Рослый и широкоплечий,
Сумрачный и страшный видом,
С головы до ног покрытый
Украшеньями, оружием,
В алых, синих, желтых красках,
Словно небо на рассвете,
В развевающихся перьях
Из орлиных длинных крыльев.

«А, да это Гайавата! —
Громко крикнул он с насмешкой,

И, как гром, тот крик раздался. —
Отступи, о Шогодай!
Уходи скорее к бабам,
Уходи к Нокомис старой!
Я убью тебя на месте,
Как ее отца убил я!»

Но без страха, без смущенья
Отвечал мой Гайавата:
«Хвастовством и грубым словом
Не сразишь, как томагавком;
Дело лучше слов бесплодных
И острей насмешек стрелы.
Лучше действовать, чем хвастать!»

И начался бой великий,
Бой, невиданный под солнцем!
От восхода до заката —
Целый летний день он длился,
Ибо стрелы Гайаваты
Бесполезно ударялись
О жемчужную кольчугу.
Бесполезны были даже
Рукавицы, Минджикэвон,
И тяжелый томагук:
Раздроблять он мог утесы,
Но колец не мог разбить он
В заколдованной кольчуге.

Наконец перед закатом,
Весь израненный, усталый,
С расщепленным томагавком,
С рукавицами, в лохмотьях
И с тремя стрелами только,
Гайавата безнадежно
На упругий лук склонился
Под старинною сосною;
Мох с ветвей ее тянулся,
А на пне грибы желтели,—
Мертвецов печальных обувь.

Вдруг зеленый дятел, Мэма,
Закричал над Гайаватой:
«Целься в темя, Гайавата,
Прямо в темя чародея,

В корни кос ударь стрелою:
Только там и уязвим он!»

В легких перьях, в халцедоне,
Понеслась стрела-певунья
В тот момент, как Меджисогвон
Поднимал тяжелый камень,
И вонзилась прямо в темя,
В корни длинных кос вонзилась.
И споткнулся, зашатался
Меджисогвон, словно буйвол,
Да, как буйвол, пораженный
На лугу, покрытом снегом.

Вслед за первую стрелою
Полетела и вторая,
Понеслась быстрее первой,
Поразила глубже первой;
И колени чародея,
Как тростник, затрепетали,
Как тростник, под ним согнулись.

А последняя взвилась
Легче всех — и Меджисогвон
Увидал перед собою
Очи огненные смерти,
Услыхал из мрака голос,
Голос Погока призывный.
Без дыхания, без жизни
Пал могучий Меджисогвон
На песок пред Гайаватой.

Благодарный Гайавата
Взял тогда немного крови
И, позвав с сосны печальной
Дятла, выкрасил той кровью
На головке дятла гребень
За его услугу в битве;
И доньше Мэма носит
Хохолок из красных перьев.

После, в знак своей победы,
В память битвы с чародеем,
Он сорвал с него кольчугу
И оставил без призора
На песке прибрежном тело.

На песке оно лежало,
Погребенное по пояс,
Головой поникнув в воду,
А над ним кружился с криком
Боевой орел могучий,
Плавал медленно кругами,
Тихо, тихо вниз спускаясь.

Из вигвама чародея
Гайавата снес в пирогу
Все сокровища, весь вампум,
Снес меха бобров, бизонов,
Соболей и горностаев,
Нитки жемчуга, колчаны
И серебряные стрелы —
И поплыл домой, ликуя,
С громкой песнею победы.

Там к нему на берег вышли
Престарелая Нокомис,
Чайбайабос, мощный Квазинд;
А народ героя встретил
Пляской, пеньем, восклицая:
«Слава, слава Гайавате!
Побежден им Меджисогвон,
Побежден волшебник злобный!»

Навсегда остался дорог
Гайавате дятел, Мэма.
В честь его и в память битвы
Он свою украсил трубку
Хохолком из красных перьев,
Гребешком багровым Мэмы,
А богатство чародея
Разделил с своим народом,
Разделил по равной части.

Ж

Сватовство Гайаваты

«Муж с женой подобен луку,
Луку с крепкой тетивой;
Хоть она его стигает,
Но ему сама послушна,

Хоть она его и тянет,
Но сама с ним неразлучна;
Порознь оба бесполезны!»

Так раздумывал нередко
Гайавата и томился
То отчаяньем, то страстью,
То тревожною надеждой,
Предаваясь пылким грезам
О прекрасной Миннегаге
Из страны Дакотов диких.

Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
«Не женись на чужеземке,
Не ищи жены по свету!
Дочь соседа, хоть простая, —
Что очаг в родном вигваме,
Красота же чужеземки. —
Это лунный свет холодный,
Это звездный блеск далекий!»

Так Нокомис говорила.
Но разумно Гайавата
Отвечал ей: «О Нокомис!
Мил очаг в родном вигваме,
Но милей мне звезды в небе,
Ясный месяц мне милее!»

Строго старая Нокомис
Говорила: «Нам не нужно
Праздных рук и ног ленивых;
Приведи жену такую,
Чтоб работала с любовью,
Чтоб проворны были руки,
Ноги двигались охотно!»

Улыбаясь, Гайавата
Молвил: «Я в земле Дакотов
Стрелоделателя знаю;
У него есть дочь невеста,
Что прекрасней всех прекрасных;
Я введу ее в вигвам твой,
И она тебе в работе
Будет дочерью покорной,
Будет лунным, звездным светом,

Огоньком в твоём вигваме,
Солнцем нашего народа!»

Но опять своё твердила
Осторожная Нокомис:
«Не вводи в моё жилище
Чужеземку, дочь Дакота!
Злобны дикие Дакоты,
Часто мы воюем с ними,
Распри наши не забыты.
Раны наши не закрылись!»

Усмехаясь, Гайавата
И на это ей ответил:
«Потому-то и пойду я
За невестой в край Дакотов,
Для того пойду, Нокомис.
Чтоб окончить наши распри,
Залечить навеки раны!»

И пошел в страну красавиц,
В край Дакотов, Гайавата,
В путь далекий по долинам,
В тишине равнин пустынных,
В тишине лесов дремучих.

С каждым шагом делал мило
Он в волшебных мокасинах;
Но быстрей бежали мысли,
И дорога бесконечной
Показалась Гайавате!
Наконец в безмолвье леса
Услыхал он гул потоков,
Услыхал призывный грохот
Водопадов Миннегаги.
«О, как весел,— прошептал он,—
Как отраден этот голос,
Призывающий в молчанье!»

Меж деревьев, где играли
Свет и тени, он увидел
Стадо чуткое оленей.
«Не сплешай!» — сказал он луку,
«Будь верней!» — стреле промолвил,
И когда стрела-певунья,
Как оса, впиалась в оленя.

Он взвалил его на плечи
И пошел еще быстрее.

У дверей, в своем вигваме,
Вместе с милой Миннегагой,
Стрелоделатель работал.
Он точил на стрелы яшму,
Халцедон точил блестящий,
А она плела в раздумье
Тростниковые цыновки;
Все о том, что будет с нею,
Тихо девушка мечтала;
А старик о прошлом думал.

Вспоминал он, как, бывало,
Вот такими же стрелами
Поражал он на долинах
Робких ланей и бизонов,
Поражал в лугах зеленых
На лету гусей крикливых;
Вспоминал и о великих
Боевых отрядах прежних,
Покупавших эти стрелы.
Ах, уж нет теперь подобных
Славных воинов на свете!
Ныне воины, что бабы:
Языком болтают только!

Миннегага же в раздумье
Вспоминала, как весною
Приходил к отцу охотник,
Стройный юноша-красавец
Из земли Оджибуэв,
Как сидел он в их вигваме,
А простившись, обернулся,
На нее взглянул украдкой.
Сам отец потом нередко
В нем хвалил и ум и храбрость.
Только будет ли он снова
К водопадам Миннегаги?
И в раздумье Миннегага
Вдаль рассеянно глядела,
Опускала праздну руки.

Вдруг почудился ей шорох,
Чья-то поступь в чаще леса;

Шум ветвей,— и чрез мгновенье,
Разрумяненный ходьбою,
С мертвой ланью за плечами,
Стал пред нею Гайавата.

Строгий взор старик на гостя
Быстро вскинул от работы,
Но, узнавши Гайавату,
Отложил стрелу, поднялся
И просил войти в жилище.
«Будь здоров, о Гайавата!» —
Гайавате он промолвил.

Пред невестой Гайавата
Сбросил с плеч свою добычу,
Положил пред ней оленя;
А она, подняв ресницы,
Отвечала Гайавате
Кроткой лаской и приветом:
«Будь здоров, о Гайавата!»

Из оленьей крепкой кожи
Сделан был вигвам просторный,
Побелен, богато убран
И дакотскими богами
Разрисован и расписан.
Двери были так высоки,
Что, входя, едва нагнулся
Гайавата на пороге,
Чуть коснулся занавесок
Головой в орлиных перьях.

Встала с места Миннегага,
Отложив свою работу,
Принесла к обеду пищи,
За водой к ручью сходила
И стыдливо подавала
С пищей глиняные миски,
А с водой — ковши из липы.
После села, стала слушать
Разговор отца и гостя,
Но сама во всей беседе
Ни словечка не сказала!

Да, как будто сквозь дремоту
Услыхала Миннегага
О Нокомис престарелой,

Воспитавшей Гайавату,
О друзьях его любимых
И о счастье, о довольстве
На земле Оджибуэев,
В тишине долин веселых.

«После многих лет раздора,
Многих лет борьбы кровавой
Мир настал теперь в селеньях
Оджибуэев и Дакотов! —
Так закончил Гайавата,
А потом прибавил тихо: —
Чтобы этот мир упрочить,
Закрепить союз сердечный,
Закрепить навеки дружбу,
Дочь свою отдай мне в жены,
Отпусти в мой край родимый,
Отпусти к нам Миннегагу!»

Призадумался немного
Старец, прежде чем ответить,
Покурил в молчанье трубку,
Посмотрел на гостя гордо,
Посмотрел на дочь с любовью
И ответил очень важно:
«Это воля Миннегаги.
Как решишь ты, Миннегага?»

И смутилась Миннегага,
И еще милей и краше
Стала в девичьем смущенье.
Робко рядом с Гайаватой
Опустилась Миннегага
И, краснея, отвечала:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

Так решила Миннегага!
Так сосватал Гайавата,
Взял красавицу-невесту
Из страны Дакотов диких!

Из вигвама рядом с нею
Он пошел в родную землю.
По лесам и по долинам
Шли они рука с рукою,

Оставляя одиноким
Старика-отца в вигваме,
Покидая водопады,
Водопады Миннегаги,
Что зывали издалека:
«Добрый путь, о Миннегага!»

А старик, простившись с ними,
Сел на солнышко к порогу
И, копаясь за работой,
Бормотал: «Вот так-то дочки!
Любишь их, лелеешь, холишь,
А дождешься их опоры,
Глядь — уж юноша приходит,
Чужеземец, что на флейте
Поиграет да побродит
По деревне, выбирая
Покрасивее невесту,—
И простись навеки с дочкой!»

Весел был их путь далекий
По холмам и по долинам,
По горам и по ущельям,
В тишине лесов дремучих!
Быстро время пролетало,
Хоть и тихо Гайавата
Шел теперь — для Миннегаги,
Чтоб она не утомилась.

На руках через стремнины
Нес он девушку с любовью,—
Легким перышком казалась
Эта ноша Гайавате.
В дебрях леса, под ветвями,
Он прокладывал тропинки,
На ночь ей шалаш построил,
Постелил постель из листьев
И развел костер у входа
Из сухих сосновых шишек.

Ветерки, что вечно бродят
По лесам и по долинам,
Путь держали вместе с ними;
Звезды чутко охраняли
Мирный сон их темной ночью;
Белка с дуба зорким взглядом

За влюбленными следила,
А Вабассо, белый кролик,
Убегал от них с тропинки
И, привстав на задних лапках,
Из норы глядел украдкой
С любопытством и со страхом.

Весел был их путь далекий!
Птицы сладко щебетали,
Птицы звонко пели песни
Мирной радости и счастья.
«Ты счастлив, о Гайавата,
С кроткой, любящей женою!» —
Пел Овейса синеперый.
«Ты счастлива, Миннегага,
С благородным, мудрым мужем!» —
Опечи пел красногрудый.

Солнце ласково глядело
Сквозь тенистые деревья,
Говорило им: «О дети!
Злоба — тьма, любовь — свет солнца,
Жизнь играет тьмой и светом, —
Правь любовью, Гайавата!»

Месяц с неба в час полночный
Заглянул в шалаш, наполнил
Мрак таинственным сияньем
И шепнул им: «Дети, дети!
Ночь тиха, а день тревожен;
Жены слабы и покорны,
А мужа властолюбивы, —
Правь терпением, Миннегага!»

Так они достигли дома,
Так в вигвам Нокомис старой
Возвратился Гайавата
Из страны Дакотов диких.
Из страны красивых женщин,
С Миннегагою прекрасной.
И была она в вигваме
Огоньком его вечерним,
Светом лунным, светом звездным,
Светлым солнцем для народа.

XI

Свадебный пир Гайаваты

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Танцевал под звуки флейты,
Как учтивый Чайбайабос,
Сладкогласный Чайбайабос
Песни пел любви-томленья,
И как Ягу, дивный мастер
И рассказывать и хвастать,
Сказки сказывал на свадьбе,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!

Пышный пир дала Нокомис,
Пышно праздновала свадьбу!
Чаши были все из липы,
Ярко-белые и с глянцем,
Ложки были все из рога,
Ярко-черные и с глянцем.

В знак торжественного пира,
Приглашения на свадьбу,
Всем соседям ветви ивы
В этот день она послала;
И соседи собрались
К пиру в праздничных нарядах,
В дорогих мехах и перьях,
В разноцветных ярких красках,
В пестром вампуме и бусах.

На пиру они сначала
Осетра и щуку ели,
Приготовленных Нокомис;
После — пимикан олений,
Пимикан и мозг бизона,
Горб быка и ляжку лани,
Рис и желтые лепешки
Из толченой кукурузы.

Но радушный Гайавата,
Миннегага и Нокомис
При гостях не сели к пище:
Только потчевали молча,

Только молча им служили.
А когда обед был кончен,
Хлопотливая Нокомис
Из большого меха выдры
Тотчас каменные трубки
Табаком набила южным,
Табаком с травой пахучей
И с корою красной ивы.

После ласково сказала:
«Протанцуй нам, По-Пок-Кивис,
Танец Нищего веселый,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И красавец По-Пок-Кивис,
Беззаботный Йенадиззи,
Озорник, всегда готовый
Веселиться и буянить,
Тотчас встал среди собрания.
Ловок был он в плясках, в танцах,
В состязаньях и забавах,
Смел и ловок в разных играх,
Даже в самых трудных играх!
На деревне По-Пок-Кивис
Слыл пропащим человеком,
Игроком, лентяем, трусом;
Но насмешки и прозванья
Не смущали Йенадиззи:
Ведь зато он был красавец
И большой любимец женщин!

Он стоял в одежде белой
Из пушистой ланьей шкуры,
Окаймленной горностаем,
Густо вмпумом расшитой
И ежовою щетиной;
В головном его уборе
Колыхался пух лебязий;
На козловых мокалинах
Красовались иглы, бисер
И хвосты лисиц — на пятках;
А в руках держал он трубку
И большое опахало.

Краской желтою и красной,
Краской алою и синей
Все лицо его сияло;
В косы, смазанные маслом
И с пробором, как у женщин,
Вплетены гирлянды были
Из пахучих трав и листьев.
Вот как убран и наряжен
Встал красавец По-Пок-Кивис,
Встал при звуках флейт и песен,
Голосов и барабанов,
И свой дивный танец начал.

Танцевал он прежде важно,
Выступая меж деревьев —
То под тенью, то на солнце —
Мягким шагом, как пантера;
После — все быстрее, быстрее,
Закружился, завертелся,
Вкруг вигвама начал прыгать
Через головы сидящих,
Так, что ветер, пыль и листья
Понеслись за ним кругами!

А потом вдоль Гитчи-Гюми,
По песчаному побережью,
Как безумный, он помчался,
Ударяя с дикой силой
Мокасинами о землю,
Так, что ветер стал уж бурей,
Засвистал песок, вздымаясь,
Словно выюга по пустыне,
И покрылося побережье
Все холмами Нэго-Воджу!
Так веселый По-Пок-Кивис
Танец Нищего окончил
И, окончив, возвратился
К месту пира, сел с гостями.
Сел, спокойно улыбаясь
И махая опахалом.

После друга Гайаваты,
Чайбайабоса, просили:
«Спой нам песню, Чайбайабос,
Песню страсти, песню неги,
Чтобы пир был веселее,

Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И прекрасный Чайбайабос
Спел им нежно, сладкозвучно,
Спел в волнении глубоком
Песню страсти, песню неги;
Все смотря на Гайавату,
Все смотря на Миннегагу,
Тихо пел он эту песню:

«Онэвэ! Проснись, родная!
Ты, лесной цветочек дикий,
Ты, лугов зеленых птичка,
Птичка дикая, певунья!

Взор твой кроткий, взор косули,
Так отраден, так отраден,
Как роса для нежных лилий
В час вечерний на долине!

А твое дыханье сладко,
Как цветов благоуханье,
Как дыханье их зарею
В Месяц Падающих Листьев!

Не стремлюсь ли я всем сердцем
К сердцу милой, к сердцу милой,
Как ростки стремятся к солнцу
В тихий Месяц Светлой Ночи?

Онэвэ! Трепещет сердце
И поет тебе в восторге,
Как поют, вздыхают ветви
В ясный Месяц Земляники!

Загрустишь ли ты, родная,—
И мое темнеет сердце,
Как река, когда над нею
Облака бросают тени!

Улыбнешься ли, родная,—
Сердце вновь дрожит и блещет,
Как под солнцем блещут волны,
Что рябит холодный ветер!

Пусть улыбкою сияют
Небеса, земля и воды —
Не могу я улыбаться,
Если милой я не вижу!

Я с тобой, с тобой! Взгляни же,
Кровь трепещущего сердца!
О, проснись! Проснись, родная!
Онэвэ! Проснись, родная!»

Так прекрасный Чайбайабос
Песню пел любви-томленья;
И хвастливый, старый Ягу,
Удивительный рассказчик,
Слушал с завистью, как гости
Восторгались сладким пеньем;
Но потом, по их улыбкам,
По глазам и по движеньям,
Увидал, что все собранье
С нетерпеньем ожидает
И его веселых басен,
Непомерно лживых сказок.

Очень был хвастлив мой Ягу!
В самых дивных приключеньях,
В самых смелых предприятиях —
Всюду был героем Ягу:
Он узнал их не по слухам,
Он воочию их видел!

Если б только Ягу слушать,
Если б только Ягу верить,
То нигде никто из лука
Не стреляет лучше Ягу,
Не убил так много ланей,
Не поймал так много рыбы
Иль речных бобров в капканы.

Кто резвее всех в деревне?
Кто всех дальше может плавать?
Кто ныряет всех смелее?
Кто постранствовал по свету
И диковин насмотрелся?
Уж, конечно, это Ягу,
Удивительный рассказчик!

Имя Ягу стало шуткой
И пословицей в народе;
И когда хвастун-охотник
Чересчур охотой хвастал
Или воин завирался,
Возвратившись с поля битвы,
Все кричали: «Ягу, Ягу!
Новый Ягу появился!»

Это он связал когда-то
Из коры зеленой липы
Люльку жилами оленя
Для малютки Гайаваты.
Это он ему позднее
Показал, как надо делать
Лук из ясеня упругий,
А из сучьев дуба — стрелы.
Вот каков был этот Ягу,
Безобразный, старый Ягу,
Удивительный рассказчик!

И промолвила Нокомис:
«Расскажи нам, добрый Ягу,
Почудесней сказку, басню,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И ответил Ягу тотчас:
«Вы услышите сегодня
Повесть — дивное сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!»

ХII

Сын Вечерней Звезды

То не солнце ли заходит
Над равниной водяною?
Иль то раненый фламинго
Тихо плавает, летает,
Обагрят волны кровью,
Кровью, падающей с перьев,
Наполняет воздух блеском,
Блеском длинных красных перьев?

Да, то солнце утопает,
Погружаясь в Гитчи-Гюми;
Небеса горят багрянцем,
Воды блещут алой краской!
Нет, то плавает фламинго,
В волны красные ныряя;
К небесам простер он крылья
И окрасил волны кровью!

Огонек Звезды Вечерней
Таёт, в пурпуре трепещет,
В полумгле висит над морем.
Нет, то вампум серебрится
На груди Владыки Жизни,
То Великий Дух проходит
Над темнеющим закатом!

На закат смотрел с восторгом
Долго, долго старый Ягу;
Вдруг воскликнул: «Посмотрите!
Посмотрите на священный
Огонек Звезды Вечерней!
Вы услышите сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!

В незапамятные годы,
В дни, когда еще для смертных
Небеса и сами боги
Были ближе и доступней,
Жил на севере охотник
С молодыми дочерьми;
Десять было их, красавиц,
Стройных, гибких, словно ива,
Но прекрасней всех меж ними
Овини была, меньшая.

Вышли девушки все замуж,
Все за воинов отважных,
Овини одна не скоро
Жениха себе сыскала.
Своенравна и сурова,
Молчалива и печальна
Овини была — и долго
Женихов, красавцев юных,
Прогоняла прочь с насмешкой,
А потом взяла да вышла

За убогого Оссэо!
Нищий, старый, безобразный,
Вечно кашлял он, как белка.

Ах, но сердце у Оссэо
Было юным и прекрасным!
Он сошел с Звезды Заката,
Он был сын Звезды Вечерней,
Сын Звезды любви и страсти!
И огонь ее, и чары,
И краса, и блеск лучистый —
Все в груди его таилось,
Все в речах его сверкало!

Женихи, любовь которых
Овини отвергла гордо,—
Йенадиззи в ожерельях,
В пышных перьях, ярких красках,
Насмехались над нею;
Но она им так сказала:
«Что за дело мне до ваших
Ожерелий, красок, перьев
И насмешек непристойных!
Я счастлива за Оссэо!»

Раз в ненастный, темный вечер
Шли веселою толпою
На веселый праздник сестры.—
Шли на званый пир с мужьями;
Тихо следовал за ними
С молодой женой Оссэо.
Все шутили и смеялись —
Эти двое шли в молчанье.

На закат смотрел Оссэо,
Взор подняв, как бы с мольбою;
Отставал, смотрел с мольбою
На Звезду любви и страсти,
На трепещущий и нежный
Огонек Звезды Вечерней;
И слышали все сестры,
Как шептал Оссэо тихо:
«Ах, шовэн нэмэшин, Ноза! —
Сжалься, сжалься, о отец мой!»

«Слышишь? — старшая сказала,—
Он отца о чем-то просит!
Право, жаль, что старикашка
Не споткнется на дороге,
Головы себе не сломит!»
И смеялись сестры злобно
Непристойным, громким смехом.

На пути их, в дебрях леса,
Дуб лежал, погибший в бурю,
Дуб-гигант, покрытый мохом,
Полусгнивший под листвою,
Почерневший и дуплистый.
Увидав его, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый
И в дупло, как в яму, прыгнул.
Старым, дряхлым, безобразным
Он упал в него, а вышел —
Сильным, стройным и высоким,
Статным юношей, красавцем!

Так вернулась к Оссэо
Красота его и юность;
Но, увы, за ним мгновенно
Овини преобразилась!
Стала древнею старухой,
Дряхлой, жалкою старухой,
Поплелась с клюкой, согнувшись,
И смеялись все над нею
Непристойным, громким смехом.

Но Оссэо не смеялся,
Овини он не покинул,
Нежно взял ее сухую
Руку — темную, в морщинах,
Как дубовый лист зимою,
Называл своею милой,
Милым другом, Нинимуша,
И пришел с ней к месту пира,
Сел за трапезу в вигваме.
Тот вигвам в лесу построен
В честь святой Звезды Заката.

Очарованный мечтами,
На пиру сидел Оссэо.
Все шутили, веселились,

Но печален был Оссэо!
Не притронулся он к пище,
Не сказал ни с кем ни слова,
Не слышал речей веселых;
Лишь смотрел с тоской во взоре
То на Овини, то кверху,
На сверкающие звезды.

И пронесся тихий шопот,
Тихий голос, зазвучавший
Из воздушного пространства,
От далеких звезд небесных.
Мелодично, смутно, нежно
Говорил он: «О Оссэо!
О возлюбленный, о сын мой!
Тяготели над тобою
Чары злобы, темной силы,
Но разрушены те чары;
Встань, приходи ко мне, Оссэо!

Яств отведай этих дивных,
Яств вкуси благословенных,
Что стоят перед тобою;
В них волшебная есть сила:
Их вкусив, ты станешь духом;
Все твои котлы и блюда
Не простой посудой будут:
Серебром котлы заблещут,
Блюда — в вампум превратятся.
Будут все огнем светиться,
Блеском раковин пурпурных.

И спадет проклятье с женщин,
Иго тягостной работы:
В птиц они все превратятся,
Засияют звездным светом,
Ярким отблеском заката
На вечерних нежных тучках».

Так сказал небесный голос;
Но слова его понятны
Были только для Оссэо,
Остальным же он казался
Грустным пеньем Вавонэйсы,
Пеньем птиц во мраке леса,
В отдаленных чащах леса.

Вдруг жилище задрожало,
Зашаталось, задрожало,
И почувствовали гости,
Что возносятся на воздух!
В небеса, к далеким звездам,
В темноте ветвистых сосен,
Плыл вигвам, минуя ветви,
Миновал — и вот все блюда
Засияли алой краской,
Все котлы из сизой глины —
Вмиг серебряными стали,
Все шесты вигвама ярко
Засверкали в звездном свете,
Как серебряные прутья,
А его простая кровля —
Как жуков блестящих крылья.

Поглядел кругом Оссэо
И увидел, что и сестры,
И мужья сестер-красавиц
В разных птиц все превратились:
Были тут скворцы с дроздами,
Были сойки и сороки,
И все прыгали, порхали,
Охорашивались, пели,
Шеголяли блеском перьев,
Распускали хвост, как веер.

Только Овини осталась
Дряхлой, жалкою старухой
И в тоске сидела молча.
Но, взглянувши вверх, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый,
Вопль отчаянья, как прежде,
Над дуплистым старым дубом,
И мгновенно к ней вернулась
Красота ее и юность;
Все ее лохмотья стали
Белым мехом горностая,
А клюка — пером блестящим,
Да, серебряным, блестящим!

И опять вигвам поднялся,
В облаках поплыл прозрачных,
По воздушному теченью,
И пристал к Звезде Вечерней, —

На звезду спустился тихо,
Как снежинка на снежинку,
Как листок на волны речки,
Как пушок репейный в воду.

Там с приветливой улыбкой
Вышел к ним отец Оссэо,
Старец с кротким, ясным взором,
С серебристыми кудрями,
И сказал: «Повесь, Оссэо,
Клетку с птицами своими,
Клетку с пестрой птичьей стаей,
У дверей в моем вигваме!»

У дверей повесив клетку,
Он вошел в вигвам с женою,
И тогда отец Оссэо,
Властелин Звезды Вечерней,
Им сказал: «О мой Оссэо!
Я мольбы твои услышал,
Возвратил тебе, Оссэо,
Красоту твою и юность,
Превратил сестер с мужьями
В разноперых птиц за шутки,
За насмешки над тобою.
Не сумел никто меж ними
Оценить в убогом старце,
В жалком образе калеки
Сердца пылкого Оссэо,
Сердца вечно молодого.
Только Овини сумела
Оценить тебя, Оссэо!

Там, на звездочке, что светит
От Звезды Вечерней влево,
Чародей живет, Вэбино,
Дух и зависти и злобы;
Превратил тебя он в старца.
Берегись лучей Вэбино:
В них волшебная есть сила,—
«Это стрелы чародея!»

Долго, в мире и согласье,
На Звезде Вечерней мирной
Жил с отцом своим Оссэо;
Долго в клетке над вигвамом

Птицы пели и порхали
На серебряных шесточках,
И супруга молодая
Родила Оссэо сына:
В мать он вышел красотой,
А в отца — дородным видом.

Мальчик рос, мужал с годами,
И отец, ему в утеху,
Сделал лук и стрел наделал,
Отворил большую клетку
И пустил всех птиц на волю,
Чтоб, стреляя в теток, в дядей,
Позабавился малютка.

Там и сям они кружились,
Наполняя воздух звонким
Пеньем счастья и свободы,
Блеском перьев разноцветных;
Но напряг свой лук упругий,
Запустил стрелу из лука
Мальчик, маленький охотник —
И упала с ветки птичка,
В ярких перышках, на землю,
Насмерть раненная в сердце.

Но — о чудо! — уж не птицу
Видит он перед собою,
А красавицу младую
С роковой стрелою в сердце!

Кровь ее едва упала
На священную планету,
Как разрушились чары,
И стрелок отважный, юный
Вдруг почувствовал, что кто-то
По воздушному пространству,
В облаках его спускает
На зеленый, злачный остров
Посреди Большого Моря.

Вслед за ним блестящей стаей
Птицы падали, летели,
Как осеннюю порою
Листья падают, пестрея;
А за птицами спустился

И вигвам с блестящей кровлей,
На серебряных стропилах,
И принес с собой Оссэо,
Овини принес с собою.

Вновь тут птицы превратились,
Получили образ смертных,
Образ смертных, но не рост их:
Все Пигмеями остались,
Да, Пигмеями — Пок-Вэджис,
И на острове скалистом,
На его прибрежных мелях
И доныне хороводы
Водят летними ночами,
Под Вечернею Звездою.

Это их чертог блестящий
Виден в тихий летний вечер;
Рыбаки с побережья часто
Слышат их веселый говор,
Видят танцы в звездном свете».

Кончив свой рассказ чудесный,
Кончив сказку, старый Ягу
Всех гостей обвел глазами
И торжественно промолвил:
«Есть возвышенные души,
Есть непонятые люди!
Я знавал таких немало.
Зубоскалы их нередко
Даже на смех поднимают,
Но насмешники должны бы
Чаще думать об Оссэо!»

Очарованные гости
Повесть слушали с восторгом
И рассказчика хвалили,
Но шептались друг с другом:
«Неужель Оссэо — Ягу,
Мы же — тетушки и дяди?»

После снова Чайбайабос
Пел им песнь любви-томленья,
Пел им нежно, сладкозвучно
И с задумчивой печалью
Песню девушки, скорбящей
Об Алгонкине, о милком.

«Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!

Ах, когда мы расставались,
Он на память дал мне вампум,
Белоснежный дал мне вампум,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Я пойду с тобой, — шептал он,
Ах, в твою страну родную;
О, позволь мне, — прошептал он,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Далеко, — я отвечала, —
Далеко, — я прошептала, —
Ах, страна моя родная,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Обернувшись, я глядела,
На него с тоской глядела,
И в мои глядел он очи,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Он один стоял под ивой,
Под густой плакучей ивой,
Что роняла слезы в воду,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!»

Вот как праздновали свадьбу!
Вот как пир увеселяли
По-Пок-Кивис — бурной пляской,
Ягу — сказкою волшебной,
Чайбайабос — нежной песней.
С песней кончился и праздник,
Разошлись со свадьбы гости
И оставили счастливых
Гайавату с Миннегагой
Под покровом темной ночи.

ХІІІ

Благословение полей

Пой, о песнь о Гайавате,
Пой дни радости и счастья,
Безмятежные дни мира
На земле 'Оджибуэв!
Пой таинственный Мондамин,
Пой полей благословенье!

Погребен топор кровавый,
Погребен навеки в землю
Тяжкий, грозный томагаук;
Позабыты клики битвы,—
Мир настал среди народов.
Мирно мог теперь охотник
Строить белую пирогу,
На бобров капканы ставить
И ловить сетями рыбу;
Мирно женщины трудились:
Гнали сладкий сок из клена,
Дикий рис в лугах собирали
И выделывали кожи.

Вкруг счастливого селенья
Зеленели пышно нивы,—
Вырастал Мондамин стройный
В глянцевитых длинных перьях,
В золотистых мягких косах.
Это женщины весной
Обрабатывали нивы,—
Хоронили в землю маис
На равнинах плодородных;
Это женщины под осень
Желтый плащ с него срывали,
Обрывали косы, перья,
Как учил их Гайавата.

Раз, когда посев был кончен,
Рассудительный и мудрый
Гайавата обратился
К Миннегаге и сказал ей:
«Ты должна сегодня ночью
Дать полям благословенье;
Ты должна волшебным кругом
Обвести свои посевы,

Чтоб ничто им не вредило,
Чтоб никто их не коснулся!

В час ночной, когда все тихо,
В час, когда все тьмой покрыто,
В час, когда Дух Сна, Нэпавин,
Затворяет все вигвамы,
И ничье не слышит ухо,
И ничье не видит око,—
С ложа встань ты осторожно,
Все сними с себя одежды,
Обойди свои посевы,
Обойди кругом все нивы,
Только косами прикрыта,
Только тьмой ночной одета.

И обильней будет жатва;
От следов твоих на ниве
Круг останется волшебный,
И тогда ни ржа, ни черви,
Ни стрекозы, Куо-ни-ши,
Ни тарантул, Соббикаши,
Ни кузнечик, Па-мок-квана,
Ни могучий Вэ-мок-квана,
Царь всех гусениц мохнатых,
Никогда не переступят
Круг священный и волшебный!»

Так промолвил Гайавата;
А ворон голодных стая,
Жадный Кагаги, Царь-Ворон,
С шайкой черных мародеров,
Отдыхали в ближней роше
И смеялись так, что сосны
Содрогались от смеха,
От зловещего их смеха
Над словами Гайаваты.
«Ах, мудрец, ах, заговорщик!» —
Говорили птицы громко.

Вот простерлась ночь немая
Над полями и лесами;
Вот и скорбный Вавонэйса
В темноте запел тоскливо,
Притворил Дух Сна, Нэпавин,
Двери каждого вигвама,

И во мраке Миннегага
Поднялась безмолвно с ложа;
Все сняла она одежды
И, окутанная тьмою,
Без смущенья и без страха
Обошла свои посевы,
Начертала по равнине
Круг волшебный и священный.

Только Полночь созерцала
Красоту ее во мраке;
Только смолкший Вавонэйса
Слышал тихое дыханье,
Трепет сердца Миннегаги;
Плотно мантией священной
Ночи мрак ее окутал,
Чтоб никто не мог хвастливо
Говорить: «Ее я видел!»

На заре, лишь день забрезжил,
Кагаги, Царь-Ворон, скликал
Шайку черных мародеров —
Всех дроздов, ворон и соек,
Что шумели на деревьях,
И бесстрашно устремился
На посевы Гайаваты,
На зеленую могилу,
Где покоился Мондамин.

«Мы Мондамина подыдем
Из его могилы тесной! —
Говорили мародеры.—
Нам не страшен след священный,
Нам не страшен круг волшебный,
Обведенный Миннегагой!»

Но разумный Гайавата
Все предвидел, все обдумал:
Слышал он, как издевались
Над его словами птицы.
«Ко, друзья мои,— сказал он, —
Ко, мой Кагаги, Царь-Ворон!
Ты с своею шайкой долго
Будешь помнить Гайавату!»

Он проснулся до рассвета,
Он для черных мародеров

Весь посев покрыл сетями,
Сам же лег в сосновой роще,
Стал в засаде терпеливо
Поджидать ворон и соек,
Поджидать дроздов и галок.

Вскоре птицами все поле
Запестрело и покрылось;
Дикой, шумною ватагой,
С криком, карканьем нестройным,
Принялись они за дело;
Но, при всем своем лукавстве,
Осторожности и знанье
Разных хитростей военных,
Не заметили, что скрыта
Недалеко их погибель,
И неожиданно очутились
Все в тенетах Гайаваты.

Грозно встал тогда он с места,
Грозно вышел из засады —
И объял великий ужас
Даже самых храбрых пленных!
Без пощады истреблял он
Их направо и налево,
И десятками их трупы
На шестах высоких вешал
Вкруг посевов освященных,
В знак своей кровавой мести!

Только Кагаги, Царь-Ворон,
Предводитель мародеров,
Пощажен был Гайаватой
И заложником оставлен.
Он понес его к вигваму
И веревкою из вяза,
Боевой веревкой пленных,
Привязал его на кровле.

«Кагаги, тебя,— сказал он,—
Как зачинщика разбоя,
Предводителя злодеев,
Оскорбивших Гайавату,
Я заложником оставлю:
Ты порукою мне будешь,
Что враги мои смирились!»

И остался черный пленник
Над вигвамом Гайаваты;
Злобно хмурился он, сидя
В блеске утреннего солнца,
Дико каркал он с досады,
Хлопал крыльями большими, —
Тщетно рвался на свободу,
Тщетно звал друзей на помощь.

Лето шло, и Шавондази
Посылал, вздыхая страстно,
Из полдневных стран на север
Негу пламенных лобзаний.
Рос и зрел на солнце маис
И во всем великолепье
Наконец предстал на нивах:
Нарядился в кисти, в перья,
В разноцветные одежды;
А блестящие початки
Налились сладким соком,
Засверкали из подсохших,
Разорвавшихся покровов.

И сказала Миннегаге
Престарелая Нокомис:
«Вот и Месяц Листопада!
Дикий рис в лугах уж собран,
И готов к уборке маис;
Время нам идти на нивы
И с Мондамином бороться —
Снять с него все перья, кисти,
Снять наряд зелено-желтый!»

И сейчас же Миннегага
Вышла весело из дома
С престарелюю Нокомис,
И они созвали женщин,
Молодежь к себе созвали,
Чтоб собирать созревший маис,
Чтоб лущить его початки.

Под душистой тенью сосен,
На траве лесной опушки
Старцы, войны сидели
И, покуривая трубки,

Важно, молча любовались
На веселую работу
Молодых людей и женщин,
Важно слушали в молчанье
Шумный говор, смех и пенье:
Словно Опечи на кровле,
Пели девушки на ниве,
Как сороки, стрекотали
И смеялись, точно сойки.

Если девушке счастливой
Попадался очень спелый,
Весь пурпуровый початок,
«Нэшка! — все кругом кричали: —
Ты счастливица, — ты скоро
За красавца замуж выйдешь!»
«Уг!» — согласно отзывались
Из-под темных сосен старцы.

Если ж кто-нибудь на ниве
Находил кривой початок,
Вялый, ржавчиной покрытый,
Все смеялись, пели хором,
Шли, хромая и согнувшись,
Точно дряхлый старикашка,
Шли и громко пели хором:
«Вагэмин, степной воришка,
Пэмосэд, ночной грабитель!»

И звенело поле смехом;
А на кровле Гайаваты
Каркал Кагаги, Царь-Ворон,
Бился в ярости бессильной.
И на всех соседних елях
Раздавались, не смолкая,
Крики черных мародеров.
«Уг!» — с улыбкой отзывались
Из-под темных сосен старцы.

XIV

Письмена

«Посмотри, как быстро в жизни
Все забвенью поглощает!
Блекнут славные преданья,
Блекнут подвиги героев;

Гибнут знания и искусство
Мудрых Мидов и Вэбинов,
Гибнут дивные виденья,
Грезы вещей Джосакидов!

Память о великих людях
Умирает вместе с ними;
Мудрость наших дней исчезнет,
Не достигнет до потомства,
К поколениям, что сокрыты
В тьме таинственной, великой
Дней безгласных, дней грядущих.

На гробницах наших предков
Нет ни знаков, ни рисунков.
Кто в могилах,— мы не знаем,
Знаем только — наши предки;
Но какой их род иль племя,
Но какой их древний тотэм —
Бобр, Орел, Медведь,— не знаем;
Знаем только: «это предки».

При свиданье — с глазу на глаз
Мы ведем свои беседы;
Но, расставшись, мы вверяем
Наши тайны тем, которых
Посылаем мы друг к другу;
А посланники нередко
Искажают наши вести
Иль другим их открывают».

Так сказал себе однажды
Гайавата, размышляя
О родном своем народе
И бродя в лесу пустынном.

Из мешка он вынул краски,
Всех цветов он вынул краски
И на гладкой на бересте
Много сделал тайных знаков,
Дивных и фигур и знаков;
Все они изображали
Наши мысли, наши речи.

Гитчи Манито могучий
Как яйцо был нарисован;

Выдающиеся точки
На яйце обозначали
Все четыре ветра неба.
«Вездесущ Владыка Жизни» —
Вот что значил этот символ.

Гитчи Манито могучий,
Властелин всех Духов Злобы,
Был представлен на рисунке,
Как великий змей, Кинэбик.
«Пресмыкается Дух Злобы,
Но лукав и изворотлив» —
Вот что значил этот символ.

Белый круг был знаком жизни,
Черный круг был знаком смерти;
Дальше шли изображенья
Неба, звезд, луны и солнца,
Вод, лесов и горных высей,
И всего, что населяет
Землю вместе с человеком.

Для земли нарисовал он
Краской линию прямую,
Для небес — дугу над нею,
Для восхода — точку слева,
Для заката — точку справа,
А для полдня — на вершине.
Все пространство под дугою
Белый день обозначало,
Звезды в центре — время ночи,
А волнистые полосы —
Тучи, дождь и непогоду.

След, направленный к вигваму,
Был эмблемой приглашенья,
Знаком дружеского пира;
Окровавленные руки,
Грозно поднятые вверх, —
Знаком гнева и угрозы.

Кончив труд свой, Гайавата
Показал его народу,
Разъяснил его значенье
И промолвил: «Посмотрите!

На могилах ваших предков
Нет ни символов, ни знаков.
Так пойдите, нарисуйте
Каждый — свой домашний символ,
Древний прадедовский тотэм,
Чтоб грядущим поколениям
Можно было различать их».

И на столбиках могильных
Все тогда нарисовали
Каждый — свой фамильный тотэм,
Каждый — свой домашний символ:
Журавля, Бобра, Медведя,
Черепаху иль Оленя.
Это было указанием,
Что под столбиком могильным
Погребен начальник рода.

А пророки, Джосакиды,
Заклинатели, Вэбины,
И врачи недугов, Миды,
Начертали на бересте
И на коже много страшных,
Много ярких, разноцветных
И таинственных рисунков
Для своих волшебных гимнов:
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.

Вот Великий Дух, Создатель,
Озаряет светом небо;
Вот Великий Змей, Кинэбик,
Приподняв кровавый гребень,
Извиваясь, смотрит в небо:
Вот журавль, орел и филин
Рядом с вещим пеликаном;
Вот идущие по небу
Обезглавленные люди
И пронзенные стрелами
Трупы воинов могучих;
Вот поднявшиеся грозно
Руки смерти в пятнах крови,
И могилы, и герои,
Захватившие в объятья
Небеса и землю разом!

Таковы рисунки были
На коре и ланьей коже;
Песни битвы и охоты,
Песни Мидов и Вэбинов —
Все имело свой рисунок!
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.

Песнь любви, которой чары
Всех врачебных средств сильнее
И сильнее заклинаний,
И опасней всякой битвы,
Не была забыта тоже.
Вот как в символах и знаках
Песнь любви изображалась:

Нарисован очень ярко
Человек багряной краской —
Музыкант, любовник пылкий.
Смысл таков: «Я обладаю
Дивной властью надо всеми!»

Дальше — он поет, играя
На волшебном барабане,
Что должно сказать: «Внемли мне!
Это мой ты слышишь голос!»

Дальше — эта же фигура,
Но под кровлею вигвама.
Смысл таков: «Я буду с милой.
Нет преград для пылкой страсти!»

Дальше — женщина с мужчиной,
Стоя рядом, крепко сжали
Руки с нежностью друг другу.
«Все твое я вижу сердце
И румянец твой стыдливый!» —
Вот что значил символ этот.

Дальше — девушка средь моря,
На клочке земли, средь моря;
Песня этого рисунка
Такова: «Пусть ты далеко!
Пусть нас море разделяет!
Но любви моей и страсти
Над тобой всеильны чары!»

Дальше — юноша влюбленный
К спящей девушке склонился
И, склонившись, тихо шепчет,
Говорит: «Хоть ты далеко,
В царстве Сна, в стране Молчанья,
Но любви ты слышишь голос!»

А последняя фигура —
Сердце в самой середине
Заколдованного круга.
«Вся душа твоя и сердце
Предо мной теперь открыты!» —
Вот что значил символ этот.

Так, в своих заботах мудрых
О народе, Гайавата
Научил его искусству
И письма и рисованья
На бересте глянцевитой,
На оленьей белой коже
И на столбиках могильных.

XV

Плач Гайаваты

Видя мудрость Гайаваты,
Видя, как он неизменно
С Чайбайабосом был дружен,
Злые духи утрашились
Их стремлений благородных
И, собравшись, заключили
Против них союз коварный.

Осторожный Гайавата
Говорил нередко другу:
«Брат мой, будь всегда со мною!
Духов Злых остерегайся!»
Но беспечный Чайбайабос
Только встряхивал кудрями,
Только нежно улыбался.
«О, не бойся, брат мой милый:
Надо мной бессильны Духи!» —
Отвечал он Гайавате.

Раз, когда зима покрыла
Синим льдом Большое Море
И метель, кружась, шипела
В почерневших листьях дуба,
Осыпала снегом ели,
И в снегу они стояли,
Точно белые вигвамы,—
Взявши лук, надевши лыжи,
Не внимая просьбам брата,
Не страшась коварных Духов,
Смело вышел Чайбайабос
На охоту за оленем.

Как стрела, олень рогатый
По Большому Морю мчался;
С ветром, снегом, словно буря,
Он преследовал оленя,
Позабыв в пылу охоты
Все советы Гайаваты.

А в воде сидели Духи,
Стерегли его в засаде,
Подломили лед коварный,
Увлекли певца в пучину,
Погребли в песках подводных.
Энктаги, владыка моря,
Вероломный бог Дакотов,
Утопил его в студеной,
Зыбкой бездне Гитчи-Гюми.

И с побережья Гайавата
Испустил такой ужасный
Крик отчаянья, что волки
На лугах завывали в страхе,
Встрепенулися бизоны,
А в горах раскаты грома
Эхом грянули: «Бэм-Вава!»

Черной краской лоб покрыл он,
Плащ на голову накинул
И в вигваме, полный скорби,
Семь недель сидел и плакал,
Однозвучно повторяя:

«Он погиб, он умер, нежный,
Сладкогласный Чайбайабос!

Он покинул нас навеки,
Он ушел в страну, где льются
Неземные песнопенья!
О мой брат! О Чайбайабос!»

И задумчивые пихты
Тихо веяли своими
Опахалами из хвои,
Из зеленой, темной хвои,
Над печальным Гайаватой;
И вздыхали, и скорбели,
Утешая Гайавату.

И весна пришла, и рощи
Долго-долго поджидали,
Не придет ли Чайбайабос?
И вздыхал тростник в долине,
И вздыхал с ним Сибовиша.

На деревьях пел Овейса,
Пел Овейса синеперый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»

Опечи пел на вигваме,
Опечи пел красногрудый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»

А в лесу, во мраке ночи,
Раздавался заунывный,
Скорбный голос Вавонэйсы:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Сладкогласный Чайбайабос!»

Собрались тогда все Миды,
Джосакиды и Вэбины,
И, построив в чаще леса,
Близ вигвама Гайаваты,
Свой приют — Вигвам Священный,
Важно, медленно и молча
Все пошли за Гайаватой,
Взяв с собой мешки и сумки,—
Кожу выдр, бобров и рысей,
Где хранились корни, травы,
Исцелявшие недуги.

Услыдав их приближение,
Перестал взывать он к другу,
Перестал стенать и плакать,
Не промолвил им ни слова,
Только плащ с лица откинул,
Смыл с лица печали краску,
Смыл в молчании глубоко
И к Священному Вигваму,
Как во сне, пошел за ними.

Там его пойли зельем,
Наколдованным настоем
Из корней и трав целебных:
Нама-Вэск — зеленой мяты
И Вэбино-Вэск — сурепки,
Там над ним забили в бубны
И запели заклинанья,
Гимн таинственный запели:

«Вот я сам, я сам с тобою,
Я, Седой Орел могучий!
Собирайтесь и внимайте,
Белоперые вороны!
Гулкий гром мне помогает,
Дух незримый помогает,
Слышу всюду их призывы,
Голоса их слышу в небе!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

«Все друзья мои — все змеи!
Слушай — кожей соколиной
Я трякну над головою!
Манг, нырок, тебя убью я,
Прострелю стрелою сердце!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

«Вот я, вот пророк великий!
Говорю — и сею ужас,

Говорю — и весь трепещет
Мой вигвам, Вигвам Священный!
А иду — свод неба гнется,
Содрогаясь подо мною!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Говори, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

И, мешками потрясая,
Танцевали танец Мидов
Вкруг больного Гайаваты,—
И вскочил он, встрепенулся,
Исцелился от недуга,
От безумья лютой скорби!
Как уходит лед весною,
Миновали дни печали,
Как уходят с неба тучи,
Думы черные сокрылись.

После к другу Гайаваты,
К Чайбайабосу зывали,
Чтоб восстал он из могилы,
Из песков Большого Моря,
И настолько властны были
Заклинанья и призывы,
Что услышал Чайбайабос
Их в пучине Гитчи-Гюми,
Из песков он встал, внимая
Звукам бубнов, пенью гимнов,
И пришел к дверям вигвама,
Повинуясь заклинаньям.

Там ему, в дверную щелку,
Дали уголь раскаленный,
Нарекли его владыкой
В царстве духов, в царстве мертвых
И, прощаясь, приказали
Разводить костры для мертвых,
Для печальных их ночлегов
На пути в Страну Понима.

Из родимого селенья,
От родных и близких сердцу,

По зеленым чащам леса,
Как дымок, как тень, безмолвно
Удалился Чайбайабос.
Где касался он деревьев —
Не качались деревья,
Где ступал — трава не мялась,
Не шумела под ногами.

Так четыре дня и ночи
Шел он медленной стопою
По дороге всех усопших;
Земляникою усопших
На пути своем питался,
Переправился на дубе
Через печальную их реку,
По Серебряным Озерам
Плыл на Каменной Пироге,
И в Селения Блаженных,
В царство духов, в царство теней,
Принесло его теченье.

На пути он много видел
Бледных духов, нагруженных,
Истомленных тяжелой ношей:
И одеждой, и оружием,
И горшками с разной пищей,
Что друзья им надавали
На дорогу в край Понима.

Горько жаловались духи:
«Ах, зачем на нас живые
Возлагают бремя это!
Лучше б мы пошли нагими,
Лучше б голод мы терпели,
Чем нести такое бремя! —
Истомил нас путь далекий!»

Гайавата же надолго
Свой родной вигвам оставил,
На Восток пошел, на Запад, —
Поучал употребленью
Трав целебных и волшебных.
Так священное искусство
Врачевания недугов
В первый раз познали люди.

XVI

По-Пок-Кивис

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Взбудоражил всю деревню
Дерзкой удалью своею;
Как, спасаясь только чудом,
Он бежал от Гайаваты,
И какой конец печальный
Был чудесным приключеньям.

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
На песчаном Нэго-Воджу
Жил красавец По-Пок-Кивис.
Это он во время свадьбы
Гайаваты с Миннегагой
Так безумно и разгульно
Танцевал под звуки флейты,
Это он в безумном танце
Накидал песок холмами
На побережье Гитчи-Гюми.

Заскучавши от безделья,
Вышел раз он из вигвама
И направился поспешно
Прямо к Ягу, где собиралась
Слушать сказки и преданья
Молодежь со всей деревни.

Старый Ягу в это время
Забавлял гостей рассказом
Об Оджиге, о кунце:
Как она пробила небо,
Как вскарабкалась на небо,
Лето выпустила с неба;
Как сначала подвиг этот
Совершить пыталась выдра,
Как барсук с бобром и рысью
На вершины гор взбирались,
Бились в небо головами,
Бились лапами, но небо
Только трескалось над ними;
Как отважилась на подвиг.
Наконец, и росомаха.

«Подскочила россомаха,—
Говорил гостям рассказчик,—
Подскочила — и над нею
Так и вздулся свод небесный,
Словно лед в реке весною!
Подскочила снова — небо
Гулко треснуло над нею,
Словно льдина в половодье!
Подскочила напоследок —
Небо вдребезги разбила,
Скрылась в небе, а за нею
И Оджиг в одно мгновенье
Очутилася на небе!»

«Слушай! — крикнул По-Пок-Кивис,
Появляясь на пороге: —
Надоели эти сказки!
Надоели хуже мудрых
Поучений Гайаваты!
Мы отыщем для забавы
Кое-что получше сказок».

Тут, торжественно раскрывши
Свой кошель из волчьей кожи,
По-Пок-Кивис вынул чашу
И фигуры Погасэна:
Томагаук, Поггэвогон,
Рыбку маленькую, Киго,
Пару змей и пару пешек,
Три утенка и четыре
Медных диска, Озавабик.
Все фигуры, кроме дисков,
Темных сверху, светлых снизу,
Были сделаны из кости
И покрыты яркой краской,—
Красной сверху, белой снизу.

Положив фигуры в чашу,
Он встряхнул, перемешал их,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
«Красным кверху пали кости,
А змея, Кинэбик, стала
На блестящем медном диске;
Счетом сто и тридцать восемь!»

И опять смешал фигуры,
Положил опять их в чашу,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
«Белым кверху пали змеи,
Белым кверху пали пешки,
Красным — прочие фигуры;
Пятьдесят и восемь счетом!»

Так учил их По-Пок-Кивис,
Так, играя для примера,
Он метал и объяснял им
Все приемы Погасэна.
Двадцать глаз за ним следили,
Разгораясь любопытством.

«Много игр,— промолвил Ягу,—
Много игр, опасных, трудных,
В разных странах, в разных землях
На своем веку я видел;
Кто играет с старым Ягу,
Должен быть на редкость ловок!
Не хвались, По-Пок-Кивис!
Будешь ты сейчас обыгран,
Жестоко наказан мною!»

Началась игра, и дико
Увлечлись игрою гости!
На одежду, на оружие,
До полночи, до рассвета,
Старики и молодые —
Все играли, все метали,
И лукавый По-Пок-Кивис
Обыграл их без пощады!
Взял все лучшие одежды,
Взял оружие боевое,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и кисеты!
Двадцать глаз пред ним сверкали,
Как глаза волков голодных.

Напоследок он промолвил:
«Я в товарище нуждаюсь:
В путешествиях и дома
Я всегда один, и нужен

Мне помощник, Мэшинова,
Кто б носил за мною трубку.
Весь мой выигрыш богатый —
Все меха и украшения,
Все оружие и перья —
Все в один я кон поставлю
Вот на этого красавца!»
То был юноша высокий
По шестнадцатому году,
Сирота, племянник Ягу.

Как огонь сверкает в трубке,
Под седой золой краснея,
Засверкали взоры Ягу
Под нависшими бровями.
«Уг!» — ответил он свирепо.
«Уг!» — ответили и гости.

И, костлявыми руками
Стиснув чашу роковую,
Ягу с яростью подбросил
И рассыпал вокруг фигуры.

Красным кверху пали пешки,
Красным кверху пали змеи,
Красным кверху и утята,
Озавабики — все черным,
Белым только рыбка, Киго;
Только пять всего по счету!

Улыбаясь, По-Пок-Кивис
Положил фигуры в чашу,
Ловко вскинул их на воздух
И рассыпал пред собою:
Красной, белой, черной краской
На земле они блестели,
А меж ними встала пешка,
Встал Инайнивэг, подобно
По-Пок-Кивису красавцу,
Говорившему с улыбкой:
«Пять десятков! Все за мною!»

Двадцать глаз горели злобой,
Как глаза волков голодных,
В тот момент, как По-Пок-Кивис
Встал и вышел из вигвама,

А за ним племянник Ягу,
Стройный юноша высокий,
Уносил оленье кожи,
Горностаевые шубы,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и оружие!

«Отнеси мою добычу
В мой вигвам на Нэго-Воджу!» —
Властно молвил По-Пок-Кивис,
Пышным веером играя.

От игры и от куренья
У него горели веки,
И отрадно грудь дышала
Летней утренней прохладой.
В рощах звонко пели птицы,
По лугам ручьи шумели,
А в груди у Йенадиззи
Пело сердце от восторга,
Пело весело, как птица,
Билось гордо, как источник.
Гордо шел он по деревне
В сером сумраке рассвета,
Пышным веером играя,
И прошел по всей деревне
До последнего вигвама,
До жилища Гайаваты.

Тишина была в вигваме.
На порог никто не вышел
К По-Пок-Кивису с приветом;
Только птицы у порога
Пели, прыгали, порхали,
Там и сям собирая зерна;
Только Кагаги с вигвама
Встретил гостя хриплым криком,
С криком крыльями захлопал,
Взором огненным сверкая.

«Все ушли! Жилище пусто! —
Так промолвил По-Пок-Кивис,
Замышляя злую шутку.—
Нет ни глупой Миннегаги,
Ни хозяйина, ни бабки;
Тут теперь что хочешь делай!»

Стиснув ворона за горло,
Он вертел им, как трещоткой,
Как мешком с травой целебной,
Придушил его и бросил,
Чтоб висел он над вигвамом,
На позор его владельцу,
На позор для Гайаваты.

А потом вошел в жилище,
Раскидал кругом порога
Всю хозяйственную утварь,
Раскидал, куда попало,
Все котлы, горшки и миски,
Мех бобров и горностаев,
Шкуры буйволов и рысей,
На позор Нокомис старой,
На позор для Миннегаги.

Беззаботно напевая
И посвистывая белкам,
Шел он по лесу, а белки
Грызли желуди на ветках,
Шелухой в него кидали;
Беззаботно пел он птицам,
И за темною листвою
Так же весело и звонко
Отвечали пеньем птицы.

Со скалистого побережья
Он смотрел на Гитчи-Гюми,
Лег на самом видном месте
И с злорадством дожидался
Возвращения Гайаваты.

На спине, раскинув руки,
Он дремал в полдневном зное.
Далеко под ним плескались,
Омывали берег волны,
Высоко над ним сияло
Голубую бездной небо,
А кругом носились птицы,
Стаи птиц носились с криком
И почти что задевали
По-Пок-Кивиса крылами.

Он убил их много-много,
Он десятками швырял их
Со скалистого побережья
Прямо в волны Гитчи-Гюми.
И Кайошк, морская чайка,
Наконец вскричала громко:
«Это дерзкий По-Пок-Кивис!
Это он нас избивает!
Где же брат наш, Гайавата?
Известите Гайавату!»

XVII

Погоня за По-Пок-Кивисом

Гневом вспыхнул Гайавата,
Возвратившись на деревню,
Увидав народ в смятенье,
Услыхавши, что наделал
Дерзкий, хитрый По-Пок-Кивис.

Задышался он от гнева;
Злобно стискивая зубы,
Он шептал врагу проклятья,
Бормотал, гудел, как шершень.
«Я убью его,— сказал он,—
Я убью, найду злодея!
Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолееет,
Мечь моя врага настигнет!»

Тотчас кликнул он соседей
И поспешно устремился
По следам его в погоню,—
По лесам, где проходил он
На побережье Гитчи-Гюми;
Но никто врага не встретил:
Отыскиали только место
На траве, в кустах черники,
Где лежал он, отдыхая,
И примял цветы и травы.

Вдруг на Мускодэ зеленой,
На долине под горами,

Показался По-Пок-Кивис:
Сделав дерзкий знак рукою,
На бегу он обернулся,
И с горы, ему вдогонку,
Громко крикнул Гайавата:
«Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолееет,
Месть моя тебя настигнет!»

Через скалы, через реки,
По кустарникам и чащам
Мчался хитрый По-Пок-Кивис,
Прыгал, словно антилопа.
Наконец остановился
Над прудом в лесной долине,
На плотине, возведенной
Осторожными бобрами,
Над разлившимся потоком,
Над затоном полусонным,
Где в воде росли деревья,
Где кувшинчики желтели,
Где камыш шептал, качаясь.

Над затоном По-Пок-Кивис
Стал на гать из пней и сучьев;
Сквозь нее вода сочилась,
А по ней ручьи бежали;
И со дна пруда к плотине
Выплыл бобр и стал большими,
Удивленными глазами
Из воды смотреть на гостя.

Над затоном По-Пок-Кивис
Пред бобром стоял в раздумье,
По ногам его струились
Ручейки серебристой влагой,
И с бобром заговорил он,
Так сказал ему с улыбкой:
«О мой друг Амик! Позволь мне
Отдохнуть в твоём вигваме,
Отдохнуть в воде прохладной,—
Преврати меня в Амика!»

Осторожно бобр ответил,
Помолчал и так ответил:
«Дай я с прочими бобрами

Посоветуюсь сначала».
И, ответив, опустился,
Как тяжелый камень, в воду,
Скрылся в чаше темно-бурых
Тростников и листьев лилий.

Над затоном По-Пок-Кивис
Ждал бобра на зыбкой гати;
Ручейки с невнятным плеском
По ногам его бежали,
Серебристыми струями
С гати падали на камни
И спокойно разливались
Меж камнями по долине;
А кругом листвою зеленой
Лес шумел, качались ветви,
И сквозь ветви свет и тени,
По земле скользя, играли.

Не спеша, поодиночке
Собрались бобры к плотине:
Осторожно показалась
Голова, потом другая,
Наконец весь пруд широкий
Рыльца черные покрыли,
Лоснясь в ярком блеске солнца.

И к бобрам с улыбкой хитрой
Обратился По-Пок-Кивис:
«О друзья мои! Покойно,
Хорошо у вас в вигвамах!
Все вы опытни и мудры,
Все на выдумки искусны,
Превратите же скорее
И меня в бобра, Амика!»

«Хорошо! — Амик ответил,
Царь бобров, Амик, ответил, —
Опускайся с нами в воду,
Опускайся в пруд с бобрами!»

Молча в тихий пруд с бобрами
Опустился По-Пок-Кивис.
Черной, гладкой и блестящей
Стала вся его одежда,
А хвосты лисиц на пятках

В толстый черный хвост слилися,
И бобром стал По-Пок-Кивис.

«О друзья мои,— сказал он, —
Я хочу быть выше, больше,
Больше всех бобров на свете».
«Хорошо,— Амик ответил,—
Вот когда придем в жилище,
В наш вигвам на дне потока,
В десять раз ты станешь больше».

Так под темною водою
Шел с бобрами По-Пок-Кивис,
Под водою, где лежали
Ветви, пни и груды корма,
И пришел с бобрами к арке,
Что вела в вигвам обширный.

Там опять он превратился,
В десять раз стал выше, больше,
И бобры ему сказали:
«Будь у нас вождем отныне,
Будь над нами властелином».

Но недолго По-Пок-Кивис
Мог почетом наслаждаться:
Бобр, поставленный на страже
В чаще шпажников и лилий,
Вдруг воскликнул: «Гайавата!
Гайавата на плотине!»

Вслед за этим раздалися
На плотине крики, говор,
Треск валежника и топот,
А вода заволновалась,
Стала падать, понижаться,
И бобры поняли в страхе,
Что плотина прорвалась.

С треском рухнула и крыша
Их просторного вигвама;
В щели крыши засверкало
Солнце яркими лучами,
И бобры поспешно скрылись
Под водой, где было глубже;
Но могучий По-Пок-Кивис
Не пролез за ними в двери:

Он от гордости и пищи,
Как пузырь, распух, раздулся.

В щели крыши Гайавата
На него смотрел и громко
Воскличал: «О По-Пок-Кивис!
Тщетны все твои уловки,
Бесполезны превращения,—
Не спасешься, По-Пок-Кивис!»

Без пощады колотили
По-Пок-Кивиса дубины,
Молотили, словно маис,
На куски разбили череп.
Шесть охотников высоких
Положили на носилки,
Понесли его в деревню;
Но не умер По-Пок-Кивис,
Джиби, дух его, не умер.

Он барахтался, метался,
Изгибаясь и качаясь,
Как дверные занавески
Изгибаются, качаясь,
Если ветер дует в двери,
И опять собрался с силой,
Принял образ человека,
Встал и в бегство устремился
По-Пок-Кивисом лукавым.

Но от взоров Гайаваты
Не успел в лесу он скрыться;
В голубой и мягкий сумрак
Под ветвями дальних сосен,
К светлой просеке за ними
Вихрем мчался По-Пок-Кивис,
Нагибая ветви с шумом,
Но сквозь шум ветвей он слышал,
Что его, как бурный ливень,
Настигает Гайавата.

Задыхаясь, По-Пок-Кивис
Наконец остановился
Перед озером широким,
По которому средь лилий,
В тростниках, меж островами,

Тихо плавали казарки,
То скрываясь в тень деревьев,
То сверкая в блеске солнца,
Подымая кверху клювы,
Глубоко ныряя в воду.

«Пишнэкэ! — воскликнул громко
По-Пок-Кивис,— превратите
Поскорей меня в казарку,
Только в самую большую,—
В десять раз сильней и больше,
Чем другие все казарки!»

Но едва они успели
Превратить его в казарку,—
В исполинскую казарку
С круглой лоснящейся грудью,
С парой темных мощных крыльев
И с большим широким клювом,—
Как из леса с громким криком
Стал пред ними Гайавата!

С громким криком поднялись
И казарки над водою,
Поднялись шумной стаей
Из озерных трав и лилий
И сказали: «По-Пок-Кивис!
Будь теперь поосторожней,—
Берегись смотреть на землю,
Чтобы не было несчастья,
Чтоб беды не приключилось!»

Смело путь они держали,
Путь на дальний, дикий север,
Пролетали то в тумане,
То в сиянье ярком солнца,
Ночевали и кормились
В камышах болот пустынных
И с зарей пустились дальше.
Плавно мчал их южный ветер,
Дул свежо и сильно в крылья.

Вдруг донесся к ним неясный,
Отдаленный шум и говор,
Донеслись людские речи
Из селения под ними:
То народ с земли дивился

На невиданные крылья
По-Пок-Кивиса-казарки,—
Эти крылья были шире,
Чем дверные занавески.

По-Пок-Кивис слышал крики,
Слышал голос Гайаваты,
Слышал громкий голос Ягу,
Позабыл совет казарок,
С высоты взглянул на землю —
И в одно мгновенье ветер
Подхватил его, смял крылья
И понес, вертя, на землю.

Тщетно справиться хотел он,
Тщетно думал удержаться!
Вихрем падая на землю,
Он порой то землю видел,
То казарок в синем небе,
Видел, что земля все ближе,
А простор небес — все дальше,
Слышал громкий смех и говор,
Слышал крики все яснее,
Потерял из глаз казарок,
Увидал внизу вигвамы
И с размаху пал на землю,—
С тяжким стуком средь народа
Пала мертвая казарка!

Но его лукавый Джиби,
Дух его, в одно мгновенье
Принял образ человека,
По-Пок-Кивиса красавца,
И опять пустился в бегство,
И опять за ним в погоню
Устремился Гайавата,
Воскликая: «Как бы ни был
Путь мой долог и опасен,
Гнев мой все преодолет,
Месть моя тебя настигнет!»

В двух шагах был По-Пок-Кивис,
В двух шагах от Гайаваты,
Но мгновенно закружился,
Поднял вихрем пыль и листья
И исчез в дупле дубовом,

Перекинулся змеєю,
Проскользнул змеей под корни.

Быстро правую рукою
Искрошил весь дуб на щепки
Гайавата,— но напрасно!
Вновь лукавый По-Пок-Кивис
Принял образ человека
И помчался в бурном вихре
К Живописным Скалам красным,
Что с побережья озирают
Всю страну и Гитчи-Гюми.

И Владыка Гор могучий,
Горный Манито могучий
Распахнул пред ним ущелье,
Распахнул широко пропасть, —
Скрыл его от Гайаваты
В мрачном каменном жилище,
Ввел его с радушной лаской
В тьму своих пещер угрюмых.

А снаружи Гайавата,
Пред закрытым входом стоя,
Рукавицей, Минджикэвон,
Пробивал в горе пещеры
И кричал в великом гневе:
«Отопри! Я Гайавата!»
Но Владыка Гор не отпер,
Не ответил Гайавате
Из своих пещер безмолвных,
Из скалистой мрачной бездны.

И простер он руки к небу,
Призывая Эннэмики
И Вэвэссимо на помощь,
И пришли они во мраке,
С ночью, с бурей, с ураганом,
Пронеслись по Гитчи-Гюми
С отдаленных Гор Громовых,
И услышал По-Пок-Кивис
Тяжкий грохот Эннэмики,
Увидал он блеск огнистый
Глаз Вэвэссимо и в страхе
Задрожал и притаился.

Тяжкой палицей своею
Скалы молния разбила

Над преддверием пещеры,
Грянул гром в ее средину,
Говоря: «Где По-Пок-Кивис?» —
И рассыпались утесы,
И среди развалин мертвым
Пал лукавый По-Пок-Кивис,
Пал красавец Йенадиззи.

Благородный Гайавата
Вынул дух его из тела
И сказал: «О По-Пок-Кивис!
Никогда уж ты не примешь
Снова образ человека,
Никогда не будешь больше
Танцевать с беспечным смехом,
Но высоко в синем небе
Будешь ты парить и плавать,
Будешь ты Киню отныне —
Боевым Орлом могучим!»

И живут с тех пор в народе
Песни, сказки и преданья
О красавце Йенадиззи;
И зимой, когда в деревне
Вихри снежные гуляют,
А в трубе вигвама свищет,
Завывает буйный ветер, —
«Это хитрый По-Пок-Кивис
В пляске бешеной несется!» —
Говорят друг другу люди.

XVIII

Смерть Квазинда

Далеко прошел по свету
Слух о Квазинде могучем:
Он соперников не ведал,
Он себе не ведал равных.
И завистливое племя
Злобных Гномов и Пигмеев,
Злобных духов Пок-Уэджис,
Погубить его решило.

«Если этот дерзкий Квазинд,
Ненавистный всем нам Квазинд,

Поживет еще на свете,
Все губя, уничтожая,
Удивляя все народы
Дивной силою своею,—
Что же будет с Пок-Уэджис? —
Говорили Пок-Уэджис.—
Он растопчет нас, раздавит,
Он подводным злобным духам
Всех нас кинет на съеденье!»

Так, пылая лютой злобой,
Совещались Пок-Уэджис
И убить его решили,
Да, убить его,— избавить
Мир от Квазинда навеки!

Сила Квазинда и слабость
Только в темени таилась:
Только в темя можно было
Насмерть Квазинда поранить,
Но и то одним оружием —
Голубой еловой шишкой.
Роковая тайна эта
Не была известна смертным,
Но коварные Пигмеи,
Пок-Уэджис, знали тайну,
Знали, как врага осилить.

И они набрали шишек,
Голубых еловых шишек
По лесам над Таквамино,
Отнесли их и сложили
На ее высокий берег,
Там, где красные утесы
Нависают над водою,
Сами спрятались и стали
Поджидать врага в засаде.

Было это в полдень летом;
Тих был сонный знойный воздух,
Неподвижно спали тени,
В полусне река струилась;
По реке, блестя на солнце,
Насекомые скользили,
В знойном воздухе далеко
Раздавалось их жужжанье,
Их напевы боевые.

По реке плыл мощный Квазинд,
По течению плыл лениво,
По дремотной Таквамино,
Плыл в березовой пироге,
Истомленный тяжким зноем,
Усыпленный тишиною.

По ветвям, к реке склоненным,
По кудрям берез плакучих,
Осторожно опустился
На него Дух Сна, Нэпавин;
В сонме спутников незримых,
Во главе воздушной рати,
По ветвям сошел Нэпавин,
Бирюзовой Дэш-кво-ни-ши,
Стрекозою, стал он тихо
Над пловцом усталым реять.

Квазинд слышал чей-то шопот,
Смутный, словно вздохи сосен,
Словно дальний ропот моря,
Словно дальний шум прибоя,
И почувствовал удары
Томагауков воздушных,
Поражавших прямо в темя,
Управляемых несметной
Ратью Духов Сна незримых.

И от первого удара
Обняла его дремота,
От второго — он бессильно
Опустил весло в пирогу,
После третьего — окрестность
Перед ним покрылась тьмою:
Крепким сном забылся Квазинд.

Так и плыл он по течению, —
Как слепой, сидел в пироге,
Сонный плыл по Таквамино,
Под прибрежными лесами,
Мимо трепетных березок,
Мимо вражеской засады,
Мимо лагеря Пигмеев.

Градом сыпались шишки,
Голубые шишки елей
В темя Квазинда с побережья.

«Смерть врагу!» — раздался громкий
Боевой крик Пок-Уэджис.

И упал на борт пироги
И свалился в реку Квазинд,
Головою вниз, как выдра,
В воду сонную свалился,
А пирога, кверху килем,
Поплыла одна, блуждая
По теченью Таквамино.

Так погиб могучий Квазинд.
Но хранилось долго-долго
Имя Квазинда в народе,
И когда в лесах зимою
Бушевали, выли бури,
С треском гнули и ломали
Ветви стонущих деревьев, —
«Квазинд! — люди говорили, —
Это Квазинд собирает¹
На костер себе валежник!»

ХІХ

Привидения

Никогда хохлатый коршун
Не спускается в пустыне
Над пораненным бизоном
Без того, чтоб на добычу
И второй не опустился;
За вторым же в синем небе
Тотчас явится и третий,
Так что вскорости от крыльев
Собирающейся стаи
Даже воздух потемнеет.

И беда одна не ходит;
Сторожат друг друга беды;
Чуть одна из них нагрянет, —
Вслед за ней спешат другие
И, как птицы, выются
Черной стаей над добычей,
Так что белый свет померкнет
От отчаянья и скорби.

Вот опять на хмурый север
Мощный Пибоан вернулся!
Ледяным своим дыханьем
Превратил он воды в камень
На реках и на озерах,
С кос стряхнул он хлопья снега,
И поля покрылись белой,
Ровной снежной пеленою,
Будто сам Владыка Жизни
Сгладил их рукой своею.

По лесам, под песни вьюги,
Зверолов бродил на лыжах;
В деревнях, в вигвамах теплых,
Мирно женщины трудились,
Молотили кукурузу
И выделывали кожи;
Молодежь же проводила
Время в играх и забавах,
В танцах, в беганье на лыжах.

Темным вечером однажды
Престарелая Нокомис
С Миннегагою сидела
За работою в вигваме,
Чутко слушая в молчанье,
Не идет ли Гайавата,
Запоздавший на охоте.

Свет костра багряной краской
Разрисовывал их лица,
Трепетал в глазах Нокомис
Серебристым лунным блеском,
А в глазах у Миннегаги —
Блеском солнца над водою;
Дым, клубами собираясь,
Уходил в трубу над ними,
По углам вигвама тени
Изгибались за ними.

И открылась тихо-тихо
Занавеска над порогом;
Ярче пламя запылало,
Дым сильнее заволновался —
И две женщины безмолвно,
Без привета и без зова,
Через порог переступили,

Проскользнули по вигваму
В самый дальний, темный угол,
Сели там и притаились.

По обличью, по одежде,
Это были чужеземки;
Бледны, мрачны были обе,
И с безмолвною тоскою,
Содрогаясь, как от стужи,
Из угла они глядели.

То не ветер ли полночный
Загудел в трубе вигвама?
Не сова ли, Куку-кугу,
Застонала в мрачных соснах?
Голос вдруг изрек в молчанье:
«Это мертвые восстали,
Это души погребенных
К вам пришли из Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни!»

Скоро из лесу, с охоты,
Возвратился Гайавата,
Весь осыпан белым снегом
И с оленем за плечами.
Перед милой Миннегагой
Он сложил свою добычу
И теперь еще прекрасней
Показался Миннегаге,
Чем в тот день, когда за нею
Он пришел в страну Дакотов,
Положил пред ней оленя,
В знак своих желаний тайных,
В знак своей любви сердечной.

Положив, он обернулся,
Увидал в углу двух женщин
И сказал себе: «Кто это?
Странны гости Миннегаги!»
Но расспрашивать не стал их,
Только с ласковым приветом
Попросил их разделить с ним
Кров его, очаг и пищу.

Гости бледные ни слова
Не сказали Гайавате;
Но когда готов был ужин

И олень уже разрезан,
Из угла они вскочили,
Завладели лучшей долей,
Долей милой Миннегаги,
Не спросясь, схватили дерзко
Нежный, белый жир оленя,
Съели с жадностью, как звери,
И опять забились в угол,
В самый дальний, темный угол.

Промолчала Миннегага,
Промолчал и Гайавата,
Промолчала и Нокомис;
Лица их спокойны были.
Только Миннегага тихо
Прошептала с состраданьем,
Говоря: «Их мучит голод;
Пусть берут, что им по вкусу,
Пусть едят,— их мучит голод».

Много зорь зажглось, погасло,
Много дней стряхнули ночи,
Как стряхают хлопья снега
Сосны темные на землю;
День за днем сидели молча
Гости бледные в вигваме;
Ночью, даже в непогоду,
В ближний лес они ходили,
Чтоб набрать сосновых шишек,
Чтоб набрать ветвей для топки,
Но едва светало, снова
Появлялись в вигваме.

И всегда, когда с охоты
Возвращался Гайавата,
В час, когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Гости бледные бесшумно
Из угла к нему кидались,
Не спросясь, хватали жадно
Нежный, белый жир оленя,—
Долю милой Миннегаги,—
И скрывались в темный угол.

Никогда не упрекнул их
Даже взглядом Гайавата,
Никогда не возмутилась

Престарелая Нокомис,
Никогда не показала
Недовольства Миннегага;
Все они терпели молча,
Чтоб права святые гостя
Не нарушить грубым взглядом,
Не нарушить грубым словом.

В полночь раз, когда печально
Догорал костер, краснея,
И мерцал дрожащим светом
В полусумраке вигвама,
Бодрый, чуткий Гайавата
Вдруг услышал чьи-то вздохи,
Чьи-то горькие рыдания.

С ложа встал он осторожно,
Встал с косматых шкур бизона
И, отдернувши над ложем
Из оленьей кожи полог,
Увидал, что это Тени,
Гостьи бледные, вздыхают,
Плачут в тишине полночной.

И промолвил он: «О гостьи!
Что так мучит ваше сердце?
Что рыдать вас заставляет?
Не Нокомис ли вас, гостьи,
Ненароком оскорбила?
Иль пред вами Миннегага
Позабыла долг хозяйки?»

Тени смолкли, перестали
Горько сетовать и плакать
И сказали тихо-тихо:
«Мы усопших, мертвых души,
Души тех, что жили с вами;
Мы пришли из Стран Понима,
С островов Загробной Жизни,
Испытать вас и наставить.

Вопли скорби достигают
К нам, в Селения Блаженных:
То живые погребенных
Призывают вновь на землю,
Мучат нас бесплодной скорбью;
И вернулись мы на землю,

Но узнали скоро, скоро,
Что везде мы только в тягость,
Что для всех мы стали чужды:
Нет нам места,— нет возврата
Мертвецам из-за могилы!

Помни это, Гайавата!
И скажи всему народу,
Чтоб отныне и вовеки
Вопли их не огорчали
Отошедших в мир Понима,
К нам, в Селения Блаженных.

Не кладите тяжкой ноши
С мертвецами в их могилы,—
Ни мехов, ни украшений,
Ни котлов, ни чаш из глины,—
Эта ноша мучит духов.
Дайте лишь немного пищи,
Дайте лишь огня в дорогу.

Дух четыре грустных ночи
И четыре дня проводит
На пути в Страну Понима;
Потому-то и должны вы
Над могилами усопших
С первой ночи до последней
Жечь костры неугасимо,
Освещать дорогу духам,
Озарять веселым светом
Их печальные ночлеги.

Мы идем, прости навеки,
Благородный Гайавата!
И тебя мы искушали,
И твое терпенье долго
Мы испытывали дерзко,
Но всегда ты оставался
Благородным и великим.
Не слабей же, Гайавата,
Не слабей, не падай духом:
Ждет тебя еще труднее
И борьба и испытанье!»

И внезапно тьма упала
И наполнила жилище,
Гайавата же в молчанье

Услыхал одежды шорох,
Услыхал, что кто-то поднял
Занавеску над порогом,
Увидал на небе звезды
И почувствовал дыханье
Зимней полночи морозной,
Но уже не видел духов,
Теней бледных и печальных
Из далеких Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни.

XX

Голод

О зима! О дни жестокой,
Бесконечной зимней стужи!
Лед все толще, толще, толще
Становился на озерах;
Снег все больше, больше, больше
Заносил луга и степи;
Все грозней шумели вьюги
По лесам, вокруг селенья.

Еле-еле из вигвама,
Занесенного снегами,
Мог пробраться в лес охотник;
В рукавицах и на лыжах
Тщетно по лесу бродил он,
Тщетно он искал добычи,—
Не видал ни птиц, ни зверя,
Не видал следов оленя,
Не видал следов Вабассо.
Страшен был, как привиденье,
Лес блестящий и пустынный,
И от голода, от стужи
Потеряв сознание, падал,
Погибал в снегах охотник.

О всеильный Бюкадэвин!
О могучий Акозивин!
О безмолвный, грозный Погок!
О жестокие мученья,
Плач детей и вопли женщин!

Всю тоскующую землю
Изнурил недуг и голод,

Небеса и самый воздух
Лютым голодом томились,
И горели в небе звезды,
Как глаза волков голодных!

Вновь в вигваме Гайаваты
Поселились два гостя:
Так же мрачно и безмолвно,
Как и прежние два гостя,
Без привета и без зова
В дом вошли они и сели
Прямо рядом с Миннегагой,
Не сводя с нее свирепых,
Впалых глаз ни на минуту.

И один сказал ей: «Видишь?
Пред тобою — Бюкадэвин!»
И другой сказал ей: «Видишь?
Пред тобою — Акозивин!»

И от этих слов и взглядов
Содрогнулось, сжалось страхом
Сердце милой Миннегаги:
Без ответа опустилась,
Скрыв лицо, она на ложе
И томилась, трепетала,
Холодея и сгорая,
От зловещих слов и взглядов.

Как безумный, устремился
В лес на лыжах Гайавата;
Стиснув зубы, затаивши
В сердце боль смертельной скорби,
Мчался он, и капли пота
На челе его смерзались.

В меховых своих одеждах,
В рукавицах, Минджикэвон,
С мощным луком наготове
И с колчаном за плечами,
Он бежал все дальше, дальше
По лесам пустым и мертвым.

«Гитчи Манито! — вскричал он,
Обращая взоры к небу
С беспредельною тоскою.—
Пощади нас, о всеильный,

Дай нам пищи, иль погибнем!
Пищи дай для Миннегаги —
Умирает Миннегага!»

Гулко в дебрях молчаливых,
В бесконечных дебрях бора,
Прозвучали вопли эти,
Но никто не отозвался,
Кроме отклика лесного,
Повторявшего тоскливо:
«Миннегага! Миннегага!»

До заката одиноко
Он бродил в лесах печальных,
В темных чащах, где когда-то
Шел он с милой Миннегагой,
С молодой женою рядом,
Из далеких стран Дакотов.
Весел был их путь в то время!
Все цветы благоухали,
Все лесные птицы пели,
Все ручьи сверкали солнцем,
И сказала Миннегага .
С беззаветною любовью:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

А в вигваме, близ Нокомис,
Близ пришельцев молчаливых,
Карауливших добычу,
Уж томилась пред кончиной,
Умирала Миннегага.

«Слышишь? — вдруг она сказала, —
Слышишь шум и гул далекий
Водопадов Миннегаги?
Он зовет меня, Нокомис!»

«Нет, дитя мое, — печально
Отвечала ей Нокомис, —
Это бор гудит от ветра».

«Глянь! — сказала Миннегага, —
Вон — отец мой! Одиноко
Он стоит и мне кивает
Из родимого вигвама!»

«Нет, дитя мое, — печально
Отвечала ей Нокомис, —
Это дым плывет, кивает!»

«Ах! — вскричала Миннегага, —
Это Погока сверкают
Очи грозные из мрака,
Это он мне стиснул руку
Ледяной своей рукою!
Гайавата, Гайавата!»

И несчастный Гайавата
Издалека, издалека,
Из-за гор и дебрей леса,
Услыхал тот крик внезапный,
Скорбный голос Миннегаги,
Призывающий во мраке:
«Гайавата! Гайавата!»
По долинам, по сугробам,
Под ветвями белых сосен,
Нависавшими от снега,
Он бежал с тяжелым сердцем,
И услышал он тоскливый
Плач Нокомис престарелой:
«Вагономин! Вагономин!
Лучше б я сама погибла,
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин! Вагономин!»

И в вигвам он устремился,
И увидел, как Нокомис
С плачем медленно качалась,
Увидал и Миннегагу,
Неподвижную на ложе,
И такой издал ужасный
Крик отчаянья, что звезды
В небесах затрепетали,
А леса с глубоким стоном
Потряслись до основанья.

Осторожно и безмолвно
Сел он к ложу Миннегаги,
Сел к ногам ее холодным,
К тем ногам, что никогда уж
Не пойдут за Гайаватой,
Никогда к нему из дома
Уж не выбегут навстречу.

Он лицо закрыл руками,
Семь ночей и дней у ложа
Просидел в оцепененье,
Без движенья, без сознания:
День царит иль тьма ночная?

И простились с Миннегагой;
Приготовили могилу
Ей в лесу глухом и темном,
Под печальною цикутой,
Обернули Миннегагу
Белым мехом горностая,
Закидали белым снегом,
Словно мехом горностая,—
И простились с Миннегагой.

А с закатом на могиле
Был зажжен костер из хвои,
Чтоб душе четыре ночи
Освещал он путь далекий,
Путь в Селения Блаженных.
Из вигвама Гайавате
Видно было, как горел он,
Озаряя из-под низу
Ветви черные цикуты.
И не раз в час долгой ночи
Подымался Гайавата
На своем бессонном ложе,
Ложе милой Миннегаги,
И стоял, следил с порога,
Чтобы пламя не погасло,
Дух во мраке не остался.

«О, прости, прости! — сказал он,—
О, прости, моя родная!
Все мое с тобою сердце
Схоронил я, Миннегага,
Вся душа моя стремится
За тобою, Миннегага!
Не ходи, не возвращайся
К нам на труд и на страданья,
В мир, где голод, лихорадка
Мучат душу, мучат тело!
Скоро подвиг свой я кончу,
Скоро буду я с тобою
В царстве светлого Понима,
Бесконечной, вечной жизни!»

След белого

Средь долины, над рекою,
Над замерзшею рекою,
Там сидел в своем вигваме
Одинокий, грустный старец.
Волоса его лежали
На плечах сугробом снега,
Плащ его из белой кожи,
Вобивайон, был в лохмотьях,
А костер среди вигвама
Чуть светился, догорая,
И дрожал от стужи старец,
Ослепленный снежной вьюгой,
Оглушенный свистом бури,
Оглушенный гулом леса.

Угли пеплом уж белели,
Пламя тихо умирало,
Как неслышно появился
Стройный юноша в вигваме.
На щеках его румянец
Разливался алой краской,
Очи кроткие сияли,
Как весенней ночью звезды,
А чело его венчала
Из пахучих трав гирлянда.
Улыбаясь и улыбкой
Все, как солнцем, озаряя,
Он вошел в вигвам с цветами,
И цветы его дышали
Нежным, сладким ароматом.

«О мой сын,— воскликнул старец,—
Как отрадно видеть гостя!
Сядь со мною на цыновку,
Сядь сюда, к огню поближе,
Будем вместе ждать рассвета.
Ты свои мне порасскажешь
Приключения и встречи,
Я — свои: свершил я в жизни
Не один великий подвиг!»

Тут он вынул Трубку Мира,
Очень старую, чудную,

С красной каменной головкой,
С чубуком из трости, в перьях,
Наложил ее корою,
Закурил ее от угля,
Подав гостю-чужеземцу
И повел такие речи:

«Стоит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Остановятся все реки,
Вся вода окаменеет!»

Улыбаясь, гость ответил:
«Стоит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Зацветут цветы в долинах,
Запоют, заплещут реки!»

«Стоит мне потряхнуть во гневе
Головой своей седою,—
Молвил старец, мрачно хмурясь,—
Всю страну снега покроют,
Вся листва спадет с деревьев,
Все поблекнет и погибнет,
С рек и тундр, с болотных топей
Улетят и гусь, и цапля
К отдаленным, теплым странам;
И куда бы ни пришел я,
Звери дикие лесные
В норы прячутся, в пещеры,
Как кремень, земля твердеет!»

«Стоит мне потряхнуть кудрями,—
Молвил гость с улыбкой кроткой,—
Благодатный теплый ливень
Оросит поля и доли,
Воскресит цветы и травы;
На озера и болота
Возвратятся гусь и цапля,
С юга ласточка примчится,
Запоют лесные птицы;
И куда бы ни пришел я,
Луг колышется цветами,
Лес звучит веселым пеньем,
От листвы темнеют чащи!»

За беседой ночь минула;
Из далеких стран Востока,
Из серебряных чертогов,
Словно воин в ярких красках,
Солнце вышло и сказало:
«Вот и я! Любуйтесь солнцем,
Гизисом, могучим солнцем!»

Онемел при этом старец.
От земли теплом пахнуло,
Над вигвамом стали сладко
Опечи петь и Овейса,
Зажурчал ручей в долине,
Нежный запах трав весенних
Из долин в вигвам повеял,
И при ярком блеске солнца
Увидал Сэгвон яснее
Старца лик холодный, мертвый:
То был Пибоан могучий.

По щекам его бежали,
Как весенние потоки,
Слезы теплые струями,
Сам же он все уменьшался
В блеске радостного солнца —
Паром таял в блеске солнца,
Влагой всачивался в землю,
И Сэгвон среди вигвама,
Там, где ночью мокрый хворост
В очаге дымился, тлея,
Увидал цветок весенний,
Первоцвет, привет весенний,
Мискодит в зеленых листьях.

Так на север после стужи,
После лютой зимней стужи,
Вновь пришла весна, а с нею
Зацвели цветы и травы,
Возвратились с юга птицы.

С ветром путь держа на север,
В небе стаями летели,
Мчались лебеди, как стрелы,
Как большие стрелы в перьях,
И скликались, как люди;
Плыли гуси длинной цепью,

Изгибавшейся, подобно
Тетиве из жил оленя,
Разорвавшей на луке;
В одиночку и попарно,
С быстрым, резким свистом крыльев,
Высоко нырки летели,
Пролетали на болота
Мушкодаза и Шух-шух-га.

В чащах леса и в долинах
Пел Овейса синеперый,
Над вигвамами, на дровнях,
Опечи пел красногрудый,
Под густым наметом сосен
Ворковал Омими, голубь,
И печальный Гайавата,
Онемевший от печали,
Услыхал их зов веселый,
Услыхал — и тихо вышел
Из угрюмого вигвама
Любоваться вешним солнцем,
Красотой земли и неба.

Из далекого похода
В царство яркого рассвета,
В царство Вебона, к Востоку,
Возвратился старый Ягу
И принес он много-много
Удивительных новинок.

Вся деревня собралась
Слушать, как хвалился Ягу
Приключеньями своими,
Но со смехом говорила:
«Уг! Да это точно — Ягу!
Кто другой так может хвастать!»

Он сказал, что видел море
Больше, чем Большое Море,
Много больше Гитчи-Гюми
И с такой водою горькой,
Что никто не пьет ту воду.
Тут все воины и жены
Друг на друга поглядели,
Улыбнулись друг другу

И шепнули: «Это враки!
Ко! — шепнули,— это враки!»

В нем, сказал он, в этом море
Плыл огромный челн крылатый,
Шла крылатая пирога,
Больше целой рощи сосен,
Выше самых старых сосен.
Тут все воины и старцы
Поглядели друг на друга,
Засмеялись и сказали:
«Ко, не верится нам что-то!»

Из жерла ее, сказал он,
Вдруг раздался гром, в честь Ягу,
Стрелы молнии сверкнули.
Тут все воины и жены
Без стыда захохотали.
«Ко,— сказали,— вот так сказка!»

В ней, сказал он, плыли люди,
Да, сказал он, в этой лодке
Я сто воинов увидел.
Лица воинов тех были
Белой выкрашены краской,
Подбородки же покрыты
Были густо волосами.
Тут уж все над бедным Ягу
Стали громко издеваться,
Закричали, зашумели,
Словно вóроны на соснах,
Словно серые ворбны.
«Ко! — кричали все со смехом, —
Кто ж тебе поверит, Ягу!»

Гайавата не смеялся,—
Он на шутки и насмешки
Строго им в ответ промолвил:
«Ягу правду говорит нам;
Было мне дано виденье,
Видел сам я челн крылатый,
Видел сам я бледнолицых,
Бородатых чужеземцев
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета.

Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
С ними шлет свои веленья,
Шлет свои нам приказанья.
Где живут они — там вьются
Амо, делатели меда,
Мухи с жалами роятся.
Где идут они — повсюду
Вырастает вслед за ними
Мискодит, краса природы.

И когда мы их увидим,
Мы должны их, словно братьев,
Встретить с лаской и приветом.
Гитчи Манито могучий
Это мне сказал в виденье.

Он открыл мне в том виденье
И грядущее,— все тайны
Дней, от нас еще далеких.
Видел я густые рати
Неизвестных нам народов,
Надвигавшихся на Запад,
Переполнивших все страны.
Разны были их наречья,
Но одно в них билось сердце,
И кипела неустанно
Их веселая работа:
Топоры в лесах звенели,
Города в лугах дымились,
На реках и на озерах
Плыли с молнией и громом
Окрыленные пироги.

А потом уже иное
Предо мной прошло виденье —
Смутно, словно за туманом:
Видел я, что гибнут наши
Племена в борьбе кровавой,
Восставая друг на друга,
Позабыв мои советы;
Видел с грустью их остатки,
Отступавшие на Запад,
Убегавшие в смятенье,
Как рассеянные тучи,
Как сухие листья в бурю!»

Эпилог

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого моря,
Тихим, ясным летним утром,
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.

Воздух полон был прохлады,
Вся земля дышала счастьем,
А над нею, в блеске солнца,
На закат, к соседней роще,
Золотистыми роями
Пролетали пчелы, Амо,
Пели в ярком блеске солнца.

Ясно глубь небес сияла,
Тихо было Гитчи-Гюми;
У побережья прыгал Нама,
Искрясь в брызгах, в блеске солнца;
На побережье лес зеленый
Возвышался над водою,
Созерцал свои вершины,
Отраженные водою.

Светел взор был Гайаваты:
Скорбь с лица его исчезла,
Как туман с восходом солнца,
Как ночная мгла с рассветом;
С торжествующей улыбкой,
Полный радости и счастья,
Словно тот, кто видит в грезах
То, что скоро совершится,
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.

К солнцу руки протянул он,
Обратил к нему ладони,
И меж пальцев свет и тени
По лицу его играли,
По плечам его открытым;
Так лучи, скользя меж листьев,
Освещают дуб могучий.

По воде, в дали неясной,
Что-то белое летело,

Что-то плыло и мелькало
В легком утреннем тумане,
Опускалось, подымалось,
Подходя все ближе, ближе.

Не летит ли там Шух-шух-га?
Не ныряет ли гагара?
Не плывет ли Птица-баба?
Или это Во-би-вава
Брызги стряхивает с перьев,
С шеи длинной и блестящей?

Нет, не гусь, не цапля это,
Не нырок, не Птица-баба
По воде плывет, мелькает
В легком утреннем тумане:
То березовая лодка,
Опускаясь, подымаясь,
В брызгах искрится на солнце,
И плывут в той лодке люди
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета;
То наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
По воде с проводниками
И с друзьями путь свой держит.

И, простерши к небу руки,
В знак сердечного привета,
С торжествующей улыбкой
Ждал их славный Гайавата,
Ждал, пока под их пирогой
Захрустит прибрежный щебень,
Зашуршит песчаный берег
И наставник бледнолицых
На песчаный берег выйдет.

И когда наставник вышел,
Громко, радостно воскликнув,
Так промолвил Гайавата:
«Светел день, о чужеземцы,
День, в который вы пришли к нам!
Все селенье наше ждет вас,
Все вигвамы вам открыты.

Никогда еще так пышно
Не цвела земля цветами,

Никогда на небе солнце
Не сияло так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!
Никогда Большое Море
Не бывало так спокойно,
Так прозрачно и свободно
От подводных скал и мелей:
Там, где шла пирога ваша,
Нет теперь ни скал, ни мелей!

Никогда табак наш не был
Так душист и так приятен,
Никогда не зеленели
Наши нивы так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!»

И наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
Отвечал ему приветом:
«Мир тебе, о Гайавата!
Мир твоей стране родимой,
Мир молитвы, мир прощенья,
Мир Христа и свет Марии!»

И радушный Гайавата
Ввел гостей в свое жилище,
Посадил их там на шкурах
Горностаев и бизонов,
А Нокомис подала им
Пищу в мисках из березы,
Воду в ковшиках из липы
И зажгла им Трубку Мира.

Все пророки, Джосакиды,
Все волшебники, Вэбины,
Все врачи недугов, Миды,
С ними воины и старцы
Собрались пред вигвамом,
Чтоб почтить гостей приветом.
Тесным кругом у порога
На земле они сидели
И курили трубки молча,
А когда к ним из вигвама
Вышли гости, так сказали:
«Всех нас радует, о братья,

Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!»

И наставник бледнолицых
Рассказал тогда народу,
Что пришел он им поведать
О святой Марии-Деве,
О ее предвечном Сыне.
Рассказал, как в дни былые
Он сошел на землю к людям,
Как он жил в посте, в молитве,
Как учил он, как евреи,
Богом прókлятое племя,
На кресте его распяли,
Как восстал он из могилы,
Вновь ходил с учениками
И с земли вознесся в небо.

И народ ему ответил:
«Мы словам твоим внимали,
Мы внимали мудрой речи,
Мы должны о ней подумать.
Всех нас радует, о братья,
Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!»

И, простясь, все удалились,
Разошлись к своим вигвамам,
Рассказали на деревне
Юным воинам и женам,
Что прислал Владыка Жизни
К ним гостей из стран Востока.

От жары, в затишье полдня,
Тяжким воздух становился;
В полусне шептались сосны
Позади вигвамов душных,
В полусне плескались волны
На песчаное побережье,
А на нивах, не смолкая,
Пел кузнечик, Па-пок-кина.
Спали гости Гайаваты,
Истомленные жарою,
В душном сумраке вигвама.

Тихо вечер приближался,
Освежая знойный воздух,

И метало солнце стрелы,
Пробивая чащи леса,
В тайники его врываясь,
Все осматривая зорко.
Спали гости Гайаваты
В тихом сумраке вигвама.

С мягких шкур встал Гайавата
И простился он с Нокомис,
Тихим шопотом сказал ей,
Чтоб гостей не потревожить:

«Ухожу я, о Нокомис,
Ухожу я в путь далекий,
Ухожу в страну Заката,
В край Кивайдина родимый.
Но гостей моих, Нокомис,
На тебя я оставляю:
Сохраняй их и заботься,
Чтоб ни страх, ни подозренье,
Ни печаль их не смущали;
Чтоб в вигваме Гайаваты
Им всегда готовы были
И приют, и кров, и пища».

Так сказав ей, он покинул
Отчий дом, пошел в селенье
И простился там с народом,
Говоря такие речи:

«Ухожу я, о народ мой,
Ухожу я в путь далекий:
Много зим и много весен
И придет, и вновь исчезнет,
Прежде чем я вас увижу;
Но гостей моих оставил
Я в родном моем вигваме:
Наставленьям их внимайте,
Слову мудрости внимайте,
Ибо их Владыка Жизни
К нам прислал из царства света».

На побережье Гайавата
Обернулся на прощанье,
На сверкающие волны
Сдвинул легкую пирогу,

От кремнистого побережья
Оттолкнул ее на волны,—
«На закат!» — сказал ей тихо
И пустился в путь далекий.

И закат огнем багряным
Облака зажег, и небо,
Словно прерии, пылало;
Длинным огненным потоком
Отражался в Гитчи-Гюми
Солнца след, и, удаляясь
Все на запад и на запад,
Плыл по нем к заре огнистой,
Плыл в багряные туманы,
Плыл к закату Гайавата.

И народ с побережья долго
Провожал его глазами,
Видел, как его пирога
Поднялась высоко к небу
В море солнечного блеска —
И сокрылась в тумане,
Точно бледный полумесяц,
Потонувший тихо-тихо
В полумгле, в дали багряной.

И сказал: «Прости навеки,
Ты прости, о Гайавата!»
И лесов пустынных недр
Содрогнулись — и пронесся
Тяжкий вздох во мраке леса,
Вздох: «Прости, о Гайавата!»
И о берег волны с шумом
Разбивались и рыдали,
И звучал их стон печальный,
Стон: «Прости, о Гайавата!»
И Шух-шух-га на болоте
Испустила крик тоскливый,
Крик: «Прости, о Гайавата!»

Так в пурпурной мгле вечерней,
В славе гаснущего солнца,
Удалился Гайавата
В край Кивайдина родимый,
Отошел в Страну Понима,
К Островам Блаженных,— в царство
Бесконечной, вечной жизни!

СЛОВАРЬ

ИНДЕЙСКИХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПОЭМЕ

- Адждомо* — белка.
Амик — бобр.
Амо — пчела.
- Бимàгут* — виноградник.
Бэм-вáва — звук грома.
- Бабáссо* — кролик; север.
Ва-ва-тэйзи — светляк.
Вáва — дикий гусь.
Вáвбик — утес.
Вавонэйса — полуночник (птица).
Вагонóмин — крик горя.
Вáмпум — ожерелье, пояса и различные украшения из раковин и бус.
Во-би-вáва — белый гусь.
Вобивáйон — кожаный плащ.
Вэбино — волшебник.
Вэбино-Вэск — сурепка.
Вэ-мок-квáйна — гусеница.
- Гитчи-Гюми* — Верхнее озеро.
- Дагинда* — гигантская лягушка.
Джиби — дух.
Джосакиды — пророки.
Дэш-кво-нэ-ши — стрекоза.
- Иза* — стыдись!
Индáйивэз — пешка (в игре в кости).
Ишкудá — огонь, комета.
Йенадиззи — шеголь, франт.
Кагаги — ворон.
Кáго — не тронь!
Кайóшк — морская чайка.
Кивáйдин — северо-западный ветер.
Кинэбик — змея.
Киню — орел.
Ко — нет.
Куку-Куэу — сова.
- Куо-ни-ши* — стрекоза.
Кэнбáза, Маскеноза — щука.
- Манг* — нырок.
Ман-гó-тэйзи — отважный.
Маномони — дикий рис.
Месяц Светлых Ночей — апрель.
Месяц Листьев — май.
Месяц Земляники — июнь.
Месяц Падающих Листьев — сентябрь.
Месяц Лыж — ноябрь.
Миды — врачи.
Минáго — черника.
Минджикэвэн — рукавицы.
Минни-вáва — шорох деревьев.
Мискодит — «След Белого» (цветок)
Мише-Мóквэ — Великий Медведь.
Мише-Нáма — Великий Осетр.
Мондáмин — маис.
Мушкóдáза — глухарка.
Мэдвэй-óшка — плеск воды.
Мэма — зеленый дятел.
Мэшинóва — прислужник.
Нáма — осетр.
Нáма-Веск — зеленая мята.
Нинимуша — милый друг.
Нóза — отец.
Нэго-Вóджу — дюны Верхнего озера.
Нэпáвин — сон, дух сна.
Нэшка — смотри!
- Овэйса* — сивоворонка (птица).
Одáмин — земляника.
Озавабик — медный диск (в игре в кости).
Окагáвис — речная сельдь.
Олми — голубь.
Онэвэ — проснись, встань!
Опечи — красногрудка (птица).

Па-пок-кина — кузнечик.
Пибоан — зима.
Пимикан — высушенное оленьё
мясо.
Пишнэкэ — казарка (птица)
Поггэвбгон — палица.
Пбгок — смерть.
Пок-Уэджис — пигмеи.
Понима — загробная жизнь.

Сáва — окунь.
Сибовиша — ручей.
Соббикаши — тарантул.
Сон-джи-тэгэ — сильный.
Сэгвбн — весна.

Тэмрак — лиственница.

Уг — да.
Угудвóш — самглав, луна-рыба.

Читовэйк — звук.

Ша-ша — далекое прошлое.
Шебамик — крыжовник.
Шингбис — нырок.
Шишэбвэг — утенок (фигурка в
игре в кости).
Шовэн-нэмэшин — сжался!
Шогаши — морской рак.
Шогодáйя — трус.
Шóшо — ласточка.
Шух-шух-га — цапля.

Энктаги — бог Воды.
Эннимики — гром.
Эпóква — тростник.

ГОДИВА

ПОЭМА А. ТЕННИСОНА

Я в Ковентри ждал поезда, толкаясь
В толпе народа по мосту, смотрел
На три высоких башни — и в поэму
Облек одну из древних местных былей.

Не мы одни — плод новых дней, последний
Посев Времен, в своем нетерпеливом
Стремленьи вдаль злословящий Былое,—
Не мы одни, с чьих праздных уст не сходят
Добро и Зло, сказать имеем право,
Что мы народу преданы: Годива,
Супруга графа Ковентри, что правил
Назад тому почти тысячелетье,
Любила свой народ и претерпела
Не меньше нас. Когда налогом тяжким
Граф обложил свой город, и пред замком
С детьми столпились матери, и громко
Звучали вопли: «Подать нам грозит
Голодной смертью!» — в графские покои,
Где граф, с своей аршинной бородой
И полсаженной гривой, по залу
Шагал среди собак, пошла Годива
И, рассказав о воплях, повторила
Мольбу народа: «Подати грозят
Голодной смертью!» Граф от изумленья
Раскрыл глаза.— «Но вы за эту сволочь
Мизинца не уколете!» — сказал он.
«Я умереть согласна!» — возразила

Ему Годива. Граф захохотал,
Петром и Павлом громко побожился,
Потом по бриллиантовой сережке
Годиве щелкнул: — «Росказни!» — «Но чем же
Мне доказать?» — ответила Годива.
И жесткое, как длань Исава, сердце
Не дрогнуло: — «Ступайте,— молвил граф,—
По городу нагая — и налоги
Я отменю», — насмешливо кивнул ей
И зашагал среди собак из залы.

Такой ответ сразил Годиву. Мысли,
Как вихри, закружились в ней и долго
Вели борьбу, пока не победило
Их Состраданье. В Ковентри герольда
Тогда она отправила, чтоб город
Узнал при трубных звуках о позоре,
Назначенном Годиве: только этой
Ценою облегчить могла Годива
Его удел. Годиву любят,— пусть же
До полдня ни единая нога
Не ступит за порог и ни единый
Не взглянет глаз на улицу: пусть все
Затворят двери, спустят в окнах ставни
И в час ее проезда будут дома.

Потом она поспешно поднялась
Наверх, в свои покои, расстегнула
Орлов на пряжке пояса — подарок
Сурового супруга — и на миг
Замедлилась, бледна, как летний месяц,
Полузакрытый облачком... Но тотчас
Тряхнула головой и, уронивши
Почти до пят волну волос тяжелых,
Одежду быстро сбросила, прокралась
Вниз по дубовым лестницам — и вышла,
Скользя, как луч, среди колонн, к воротам,
Где уж стоял ее любимый конь,
Весь в пурпуре, с червонными гербами.

На нем она пустилась в путь — как Ева,
Как гений целомудрия. И замер,
Едва дыша от страха, даже воздух
В тех улицах, где ехала она.
Разинув пасть, лукаво вслед за нею
Қосился жёлоб. Тявканье дворняжки

Ее кидало в краску. Звук подков
Пугал, как грохот грома. Каждый ставень
Был полон дыр. Причудливой толпою
Шпили домов глазели. Но Годива,
Крепясь, все дальше ехала, пока
В готические арки укреплений
Не засияли цветом белоснежным
Кусты густой цветущей бузины.

Тогда назад поехала Годива —
Как гений целомудрия. Был некто,
Чья низость в этот день дала начало
Пословице: он сделал в ставне шелку
И уж хотел, весь трепеща, прильнуть к ней,
Как у него глаза оделись мраком
И вытекли,— да торжествует вечно
Добро над злом. Годива же достигла
В неведении замка — и лишь только
Вошла в свои покои, как ударил
И загудел со всех несметных башен
Созвучный полдень. В мантии, в жорне
Она супруга встретила, сняла
С народа тяжесть податей — и стала
С тех пор бессмертной в памяти народа.

27.6.1906

КАИН

МИСТЕРИЯ БАИРОНА

Змий же бе мудрейший всех
зверей сущих на земли, ихже со-
твори господь бог.

Быт. 3, 1.

Dramatis personae:

Адам.

Канн.

Авель.

Ангел господень.

Люцифер.

Ева.

Ада.

Селла.

АКТ ПЕРВЫЙ

Сцена первая

Местность близ рая.— Восход солнца.

Адам, Ева, Канн, Авель, Ада, Селла — на молитве.

Адам. Иего́ва, вечный, мудрый, бесконечный!

Ты, кто воззвал единым мощным словом

Из мрака свет — хвала тебе и слава!

На утре дня — хвала тебе и слава!

Ева. Иего́ва! Ты, кто дал нам день, и утро

Впервые отделил от тьмы, и воды

С водами разлучил, и назвал небом

Твердь между вод — хвала тебе и слава!

Авель. Иего́ва! Ты, кто разделил стихии

На землю, воду, воздух и огонь,

Кто, сотворив светила дня и ночи,

Создал и тех, которые могли бы
 Любить тебя, любить твои созданья
 И ликовать — хвала, хвала тебе!

А д а. Иего̀ва, бог! Отец всей сущей твари,
 Создавший человека всех прекрасней,
 Достойней всех земной любви, дозволь мне
 Любить его! — Хвала, хвала тебе!

С е л л а. Иего̀ва! Ты, кто, все благословляя,
 Все сотворив и все любя, дозволил
 Войти в Эдем и погубить нас змию,
 Храни нас впредь! Хвала тебе и слава!

А д а м. Мой первенец, а что же ты молчишь?
 К а и н. Что делать мне?

А д а м. Молись.
 К а и н. Ведь вы молились.

А д а м. От всей души.
 К а и н. И громко: я вас слышал.

А д а м. Как и творец, надеюсь я.
 А в е л ь. Аминь.

А д а м. Но ты молчишь, сын Каин.
 К а и н. Это лучше.

А д а м. Скажи ясней.
 К а и н. Мне не о чем молиться.

А д а м. И не за что быть благодарным?
 К а и н. Нет.

А д а м. Но ты живешь?
 К а и н. Чтоб умереть?

Е в а. О горе!

Плод древа запрещенного созрел.

А д а м. И мы опять должны его вкусить.
 Зачем, о боже, дал ты древо знанья?

К а и н. Зачем ты не вкусил от древа жизни?
 Тогда б он не страшил тебя.

А д а м. О Каин!
 Не богохульствуй: это речи змия.

К а и н. Что ж, змий не лгал! дало же древо знанье;
 Другое — жизнь дало бы. Жизнь есть благо,
 И знание есть благо. Как же может
 Быть злом добро?

Е в а. Мой сын, ты говоришь;
 Как я, свершая грех свой, говорила:
 Не дай его мне видеть возрожденным
 В твоём грехе. Я примирилась с небом.
 Не дай мне зреть, здесь, за вратами рая,
 Свое дитя в той сети, что сгубила
 В раю его родителей. Доволен

Будь тем, что есть: довольствуйся мы раем,
И ты б теперь доволен был. О сын мой!
А да м. Молитва наша кончена, идемте
К своим трудам урочным, не тяжелым,
Но все ж необходимым: нивы щедро
Нам воздают за малый труд.
Е ва. Сын Каин,
Смотри, как он покорен и как бодр:
Бери пример.

А да м и Е ва уходят.

А в е л ь. Брат, не гневи печалью
Предвечного: печаль бесплодна.

А да. Каин,
Ты и на Аду хмуришься?

К а и н. Нет, Ада!
Но я один побуду. Авель, мне
Не по себе; но это ненадолго.
Иди же, брат. И вы идите, сестры.
Не должно нежность грубостью встречать:
Я буду вслед за вами.

А да. Если ж нет,
Я за тобой вернусь сюда.

А в е л ь. Да будет
Мир над тобою, брат!

А в е л ь, С е л л а и А да уходят.

К а и н (*один*). И это жизнь!
Трудись, трудись! Но почему я должен
Трудиться? Потому, что мой отец
Утратил рай. Но в чем же я виновен?
В те дни я не рожден был,— не стремился
Рожденным быть,— родившись, не люблю
Того, что мне дало мое рожденье.
Зачем он уступил жене и змию?
А уступив, за что страдает? Древо
Росло в раю и было так прекрасно:
Кто ж должен был им пользоваться? Если
Не он, так для чего оно росло
Вблизи его? У них на все вопросы
Один ответ: «Его святая воля,
А он есть благ». Всесилен, так и благ?
Зачем же благодать эта наказует
Меня за грех родителей?

Но кто-то

Живя, я проклинаяю час рожденья
 И презираю самого себя.

Люцифер. Но ты живешь и будешь жить: не думай,
 Что прах земной, что плоть твоя есть сущность.
 Прах твой умрет, а ты вовек пребудешь
 Тем, чем ты был.

Кайн. Чем был? Но и не больше?
 Люцифер. Быть может, ты подобен будешь нам.

Кайн. А вы?
 Люцифер. Мы вечны.

Кайн. Счастливы?
 Люцифер. Могучи.

Кайн. Я говорю, вы счастливы?
 Люцифер. Мы — нет.

А ты?
 Кайн. Взгляни!
 Люцифер. О жалкий прах! Ты смеешь
 Считать себя несчастным?

Кайн. Я несчастен.
 А ты с твоим могуществом — кто ты?

Люцифер. Тот, кто дерзал с твоим творцом
 равняться
 И кто тебя таким не сотворил бы.

Кайн. Да, ты глядишь почти что богом. Ты...

Люцифер. Но я не бог и, не достигнув бога,
 Хочу одно: самим собой остаться.
 Он победил,— пусть царствует!

Кайн. Кто — он?
 Люцифер. Творец земли, творец людей...

Кайн. И неба
 И сущего на небе. Так поют
 Архангелы, так говорит родитель.

Люцифер. Они поют и говорят лишь то,
 Что им велят. Их устрашает участь
 Быть в мире тем, чем мы с тобою стали:
 Ты — меж людей, я — меж бессмертных духов.

Кайн. А мы с тобой — кто мы?
 Люцифер Мы существа,
 Дерзнувшие сознать свое бессмертье,
 Взглянуть в лицо всеильному Тирану,
 Сказать ему, что зло не есть добро.
 Он говорит, что создал нас с тобою —
 Я этого не знаю и не верю,
 Что это так,— но, если он нас создал,
 Он нас не уничтожит: мы бессмертны!
 Он должен был бессмертными создать нас,

Чтоб мучить нас: пусть мучит! Он велик,
 Но он в своем величии несчастней,
 Чем мы в борьбе. Зла не рождает благо,
 А он родит одно лишь зло. Но пусть
 Он на своем престоле величавом
 Творит миры, чтоб облегчить себе
 Ни с кем не разделенное бессмертье,
 Пусть громоздит на звезды звезды: все же
 Он одинок, тиран бессмертный. Если б
 Он самого себя мог уничтожить,
 То это был бы лучший дар из всех
 Его даров. Но пусть царит, пусть страждет!
 Мы, духи, с вами, смертными, мы можем
 Хоть сострадать друг другу; мы, терзаясь,
 Мучения друг другу облегчаем
 Сочувствием: оно весь мир связует;
 Но он! в своем величии несчастный,
 В несчастьи не знающий отрады,
 Он лишь творит, чтоб без конца творить!

Ка и н. Ты говоришь о том, что хоть неясно,
 Но уж давно в моем уме носилось:
 Я никогда не мог согласовать
 Того, что видел, с тем, что говорят мне.
 Мать и отец толкуют мне о змие,
 О древе, о плодах его; я вижу
 Врата того, что было их Эдемом,
 И ангелов с палящими мечами,
 Изгнавших нас из рая; я томлюсь
 В трудах и думах; чувствую, что в мире
 Ничтожен я, меж тем как мысль моя
 Сильна, как бог! Но я молчал, я думал,
 Что я один страдаю. Мой отец
 Давно смирился; в матери угасла
 Та искра, что влекла ее к познанию;
 Брат бдит стада и совершает жертвы
 Из первенцев от этих стад тому,
 Кто повелел, чтоб нам земля давала
 Плоды лишь за тяжелый труд; сестра
 Поет ему хвалы еще до солнца,
 И даже Ада, сердцу моему
 Столь близкая, не понимает мыслей,
 Меня гнетущих: я еще не встретил
 Ни в ком себе сочувствия! Тем лучше:
 Я с духами в сообщество вступаю.

Лю ц и ф е р. Ты этого сообщества достоин.
 Иначе ты не видел бы меня:

Довольно было б змия.

К а и н. А! Так это
Ты соблазнитель матери?

Л ю ц и ф е р. Ничем,
Помимо правды, я не соблазняю.
Ведь вы вкусили знания, ведь были
Плоды на древе жизни? Разве я
Давал запрет вкушать от них? И я ли
Растил плоды запретные к соблазну
Существ, душой невинных, любопытных
В своей святой невинности? Я б создал
Богами вас, а он лишил вас рая,
«Чтоб вы от древа жизни не вкусили
И не были, как боги».— Таковы
Его слова.

К а и н. Ты прав. Я это слышал
От тех, кому они звучали в громе.

Л ю ц и ф е р. Так кто ж злой дух? Тот, кто лишил вас
жизни,
Иль тот, кто вам хотел дать жизнь, и радость,
И знание?

К а и н. Им нужно было оба
Сорвать плода, иль не сорвать совсем.

Л ю ц и ф е р. Один уж ваш; стремитесь к другому.

К а и н. Но как?

Л ю ц и ф е р. Сопrotивляясь. Угасить
Ничто не может духа, если хочет
Дух быть самим собой и средоточьем
Всего, что окружает дух; он создан,
Чтоб царствовать.

К а и н. Не ты ли соблазнил
Отца и мать?

Л ю ц и ф е р. Я? Жалкий прах! Зачем мне
Вас соблазнять? И как?

К а и н. Мне говорили,
Что змий был дух.

Л ю ц и ф е р. Кто это говорит?
Не жалкое ль тщеславье человека,
Что силится свалить свое паденье
На нас, на духов? Змий был змий, не больше,
Но и не меньше тех, что соблазнились.
Он тоже прах, но он мудрее их,
Затем, что победил их. Разве стал бы
Я принимать подобье смертной твари?

К а и н. Но тварь в себе скрывала злого духа.

Л ю ц и ф е р. Нет, тварь его лишь разбудила в тех,

С кем говорил язык его коварный.
Я говорю, что змий был только змий:
Спроси у херувимов, стерегущих
Запретный плод. Когда века веков
Пройдут над вашим прахом безглагольным,
Потомки ваши баснею украсят
Ваш первый грех и мне припишут образ,
Который презираю я, как все,
Что пред творцом склоняется, создавшим
Все сущее в живых для поклоненья
Перед его бессмертием угрюмым.
Но мы — мы знаем истину и станем
Провозглашать лишь истину. Адам
Пленен был пресмыкающей тварью.
Но дух не пресмыкается: чему
Завидовать в пределах тесных рая
Владыке беспредельного пространства?
Но я с тобою речь веду о том,
Чего ты, несмотря на древо знанья,
Не можешь знать.

К а и н. Но укажи мне то,
Чего я не хотел бы знать, не жаждал?
Л ю ц и ф е р. Дерзнешь ли ты взглянуть на смерть?
К а и н. Её

Никто еще не видел.
Л ю ц и ф е р. Испытать же
Придется всем.

К а и н. Отец мой говорит
О ней, как о чудовище; мать плачет
При слове «смерть»; брат Авель к небесам
Возводит очи; Селла потупляет
Свои к земле, шепча молитву; Ада
Глядит в мои.

Л ю ц и ф е р. А ты?

К а и н. Когда я слышу
Об этой всемогущей и, как видно,
Ничем не отвратимой смерти, думы
Несметные в моем уме теснятся
И жгут его. Возможно ль с ней бороться?
Я мальчиком со львом боролся в играх
И так сжимал в объятиях его,
Что он ревел и обращался в бегство.

Л ю ц и ф е р. Смерть не имеет образа, но все,
Что носит вид земных существ, поглотит.

К а и н. Я смерть считал за существо. Что может
Столь злостным быть, помимо существа?

Л ю ц и ф е р. Спроси у разрушителя.

К а и н.

Какого?

Л ю ц и ф е р. Иль у творца — зови его, как хочешь.

Ведь он творит затем, чтоб разрушать.

К а и н. Я этого не знал еще, но думал

Почти что то же самое, как только

Я услышал о смерти. Я не знаю,

Что значит смерть, но смерть мне представлялась

Всегда ужасным чем-то. Я нередко

Вперял свой взор во тьму пустынной ночи,

Ища ее; я видел чьи-то тени

У райских стен, во мраке, где пылают

Мечи в деснице ангелов, и жадно

Следил за тем, что мне казалось смертью,

Весь трепеща от страха и желанья

Увидеть то, пред чем мы все трепещем.

Но мрак был пуст, и я свой взор усталый

От стен родного рая отвращал

К светилам горним, к синему эфиру,

К его огням, столь нежным и прекрасным.

Ужели и они умрут?

Л ю ц и ф е р.

Быть может;

Но надолго всех нас переживут.

К а и н. Я рад. Но смерти! Смерть мне внушает трепет.

Она есть нечто грозное: но что же?

Она нам всем, виновным и невинным,

Как зло была объявлена: какое?

Л ю ц и ф е р. Вновь прахом стать.

К а и н.

Стать неподвижным прахом

Еще не зло; но только бы не быть

Ничем иным!

Л ю ц и ф е р.

Презренное желанье!

Презренней, чем желанья Адама:

Тот хоть стремился к знанью.

К а и н.

Но не к жизни;

Иначе почему он не вкусил

От древа жизни?

Л ю ц и ф е р.

Изгнан был из рая.

К а и н. Ужасная ошибка! Он был должен

Сперва сорвать плод жизни, но, не зная

Добра и зла, не ведал он и смерти.

Увы! Я смерть узнал еще так мало,

Но уж страшусь... того, чего не знаю.

Л ю ц и ф е р.

А я, познавший все, уж не страшусь

Ни перед чем. Вот истинное знанье.

К а и н.

Наставь меня.

Люцифер. С условием.
 Каин. Каким?
 Люцифер. Пади и поклонись мне, как владыке.
 Каин. Ты разве бог?
 Люцифер. Не бог.
 Каин. Так равный богу?
 Люцифер. О, нет, я не имею ничего
 С ним общего — и не скорблю об этом.
 Я соглашусь быть чем угодно — выше
 Иль даже ниже — только не слугою
 Могущества Иеговы. Я не бог,
 Но я велик: не мало тех, что сердцем
 Чтут власть мою, — их будут сонмы; будь же
 Из первых — ты.
 Каин. Я никогда еще
 Пред божеством отца не преклонялся,
 Хотя нередко Авель умоляет,
 Чтоб мы свершали жертвы богу вместе.
 Зачем же мне склоняться пред тобой?
 Люцифер. Ты никогда пред ним не преклонялся?
 Каин. Ты разве не слышал меня? И разве
 Ты сам не знал об этом? Ты всеведущ.
 Люцифер. Но не поклонник бога — мой поклонник.
 Каин. Я не хочу сгибаться ни пред кем.
 Люцифер. Ты все же мой: непоклоненье богу
 Есть поклоненье мне.
 Каин. Скажи яснее.
 Люцифер. Ты сам поймешь — со временем.
 Каин. Открой
 Мне тайну моего существованья.
 Люцифер. Иди за мной.
 Каин. Мне нужно на работу.
 Я обещал...
 Люцифер. Что обещал?
 Каин. Для жертвы
 Набрать плодов.
 Люцифер. Не ты ли говорил,
 Что пред творцом ни разу не склонялся?
 Каин. Но Авель упросил меня. Ведь жертву
 Свершу не я — скорее он. И Ада...
 Люцифер. Чем ты смущен?
 Каин. Она моя сестра,
 Мы рождены одним и тем же чревом
 В один и тот же день: она слезами
 Исторгла обещанье у меня.
 Я все готов перенести для Ады,

Я преклонюсь пред чем угодно, лишь бы
 В слезах ее не видеть.
 Люцифер. Так иди
 Вослед за мной.
 Каин. Дух, я иду.
 Ада (*входя*). Брат Каин!
 Я за тобой: уж полдень,— наступает
 Час отдыха и радости, и нам
 Недостает тебя. Ты не работал,
 Но я твой труд исполнила; созрели
 Твои плоды и блещут, точно солнце.
 Идем.
 Каин. Иль ты не видишь?
 Ада. Вижу — ангел.
 Мы видим их нередко. Он разделит
 Час нашего полдневого досуга?
 Каин. Он не похож на ангелов, которых
 Мы видели.
 Ада. Есть разве и другие?
 Но и ему мы будем рады — так же,
 Как и другим: те не гнушались нами.
 Каин (*Люциферу*). Идешь ли ты?
 Люцифер. Иди за мной.
 Каин. Я должен
 Идти за ним.
 Ада. И нас покинуть?
 Каин. Да.
 Ада. И даже Аду?
 Каин. Ада!
 Ада. Так позволь мне
 Идти с тобой!
 Люцифер. Нет, он пойдет один.
 Ада. Кто ты, разъединяющий так властно
 Сердца людей?
 Каин. Он бог.
 Ада. А кто об этом
 Тебе сказал?
 Каин. Он говорит, как бог.
 Ада. Так говорил и лживый змий.
 Люцифер. Нет, Ада,
 Змий вам не лгал: дало же древо знания
 Познание.
 Ада. На горе нам!
 Люцифер. О, да.
 Но это горе — знание, и, значит,
 Змий вам не лгал; он истиной прельстил вас,

А истина, по существу, есть благо.
 А да. Но истина несет нам только беды:
 Изгнание из нашего приюта,
 Тяжелый труд, душевный гнет и страх,
 Томление о прошлом и надежды
 На то, что не вернется. Не ходи
 За этим духом, Каин! Примиришь
 С своей судьбой, как мы с ней примирились,
 Люби меня, как я тебя люблю.

Л ю ц и ф е р. Сильней отца и матери?
 А да. Сильнее!
 Но разве это тоже смертный грех?
 Л ю ц и ф е р. Пока — не грех; но будет им —
 в грядущем,
 Для вашего потомства.

А да. Как! Ужели
 Любить Эноха дочь моя не будет?
 Л ю ц и ф е р. Не так, как Ада — Каина.
 А да. О боже!
 Ужель они не будут ни любить,
 Ни жизнь давать созданным, что возникли б
 Из их любви, чтоб вновь любить друг друга?
 Но разве не питаются они
 Одною грудью? Разве не родился
 Он, их отец, в один и тот же час
 Со мной от лона матери? И разве
 Не любим мы друг друга и любовью
 Не множим тех, что будут так же нежно
 Любить, как мы их любим? — как люблю я
 Тебя, мой брат? Нет, не ходи за ним —
 За этим духом: это дух — нам чуждый.

Л ю ц и ф е р. Но я не говорил тебе, что ваша
 Любовь есть грех: она преступной будет
 В глазах лишь тех, что вас заменят в жизни.

А да. Так, значит, добродетель и порок
 Зависят от случайности? Тогда
 Мы все — рабы.

Л ю ц и ф е р. Рабами даже духи
 Могли бы стать, не предпочти они
 Свободных мук бряцанию на арфах
 И низким восхвалениям Иеговы
 За то, что он, Иегова, всемогущ
 И не любовь внушает им, а ужас.

А да. Кто всемогущ, тот и всеблаг.
 Л ю ц и ф е р. Таким ли
 Он был в раю?

Любовь чужда; так, значит, серафимы
Лишь по незнанию любят. Что любовь
Несовместима с знанием, мы видим:
Пример — судьба Адама. Выбирайте
Меж знанием и любовью,— ведь другого
Нет выбора. Адам уже избрал:
Он почитает бога лишь из страха.

А д а. О Каин! Избери любовь.

К а и н. С любовью
К тебе, сестра, я был рожден. Но больше
Я ничего на свете не люблю.

А д а. А мать, отец?

К а и н. Они нас не любили,
Срывая плод, лишивший нас Эдема.

А д а. Мы не были в то время рождены,
А если бы и были — неужели
Мы не должны любить их так же нежно,
Как любим мы своих малюток, Каин?

К а и н. Мои едва лепечущие крошки!
Будь я уверен в счастье их, я мог бы
Почти простить... Но это не простится
Чрез тысячи столетий! Никогда
Любить не будут память человека,
Что семя человеческого рода
И семя зла посеять мог в один
И тот же час. Он пал, но мало было
Ему своих страданий: он зачал
Меня, тебя, всех нас,— пока немногих,
И весь безмерный, бесконечный ряд,
Мирьяды, сонмы тех, что народятся
Для новых, горших мук, и чьим отцом
Быть должен я! Твоя любовь и юность,
Моя любовь и радость, миг блаженства,
Мгновение покоя, все, что любим
Мы в детях и друг в друге — все ведет
И нас и их путем греха и скорби,
Лишь изредка даруя миг отрады,
К неведомому — смерти. Древо знания
Нас обмануло: грех свершен, но все ли
Познали мы о жизни и о смерти?
Мы знаем лишь одно: что мы несчастны.

А д а. Я не несчастна, Каин, и когда бы
Ты счастлив был..

К а и н. Будь счастлива одна,
Я не нуждаюсь в том, что унижает
Во мне мой дух.

- А да. Одна я не хочу
И не могу быть счастлива; но с теми,
Что близки мне, я думаю, могла бы!
Я не смущаюсь смерти, непонятной
И потому не страшной мне, хотя
Она и страшной кажется, как часто
Приходится мне слышать.
- Люцифер. Так одна
Ты счастлива не можешь быть?
- А да. Но кто же
Один бы мог быть счастлив или добр?
Одна! но мне мое уединенье
Всегда грехом казалось, если я
Не чаяла, что скоро встречу с близким.
- Люцифер. Но бог твой одинок: так неужели
Не счастлив он, не добр?
- А да. Он не один:
Есть ангелы и смертные,— он счастлив,
Даруя счастье ангелам и смертным.
Ведь радость в том, чтоб радовать других.
- Люцифер. А твой отец,— давно ли из Эдема
Был изгнан он? А Каин? Ты сама?
Спокойна ли душа твоя?
- А да. Увы!
Но ты — ведь ты не ангел?
- Люцифер. Нет, не ангел.
А почему — спроси у всеблагого,
Всесильного создателя вселенной:
Он знает тайну эту. Мы смирились,
Другие воспротивились — и тщетно,
Как говорят нам ангелы. По мне же,
Не тщетно, нет,— раз лучше быть не может.
Есть в духе мудрость,— мудрость же влечет
Дух к истине, как сквозь рассветный сумрак
Ваш взор влечет далекий блеск денницы.
- А да. Она прекрасна; я ее люблю
За красоту.
- Люцифер. Боготворишь иль любишь?
- А да. Отец боготворит лишь одного
Незримого.
- Люцифер. Незримое являет
Себя в прекрасных символах. А эта
Звезда есть вождь небесной звездной рати.
- А да. Отец и бога видел.
- Люцифер. Да. А ты?
- А да. Я видела творца в его твореньях.

Люцифер. А в существе?

А да. Нет; разве лишь в отце,

Который есть подобие Иеговы,
Иль в ангелах, столь на тебя похожих.
Их образ лучезарнее, чем твой,
Хотя не так он властен и прекрасен:
Как тихий полдень, светом напоенный,
Они на нас взирают, ты же — ночь,
Ночной эфир, где облака, белея,
Сквозят на темном пурпуре, а звезды
Лучистыми огнями испещряют
Таинственный и дивный свод небес.
Несметные, мерцающие нежно,
Но так к себе влекущие, они
Мои глаза слезами наполняют,
Как ты теперь. Ты кажешься несчастным;
Не делай нас такими же! Ты видишь —
Я плачу о тебе.

Люцифер. О, эти слезы!

Когда б ты знала, сколько их прольется!

А да. Мной?

Люцифер. Всеми.

А да. Кем?

Люцифер. Мирьядами мирьяд,
Миллионами миллионов, — всей землею,
Опустошенной, снова населенной,
И адом переполненным, чье семя
В твоей груди.

А да. О Каин! Этот дух

Нас проклиняет.

Каин. Он меня ведет.

А да. Ведет — куда?

Люцифер. Туда, где он пробудет

Лишь только час, но где увидит то,
Что создано несчетными веками.

А да. Возможно ль это?

Люцифер. Разве ваш создатель

В шесть дней не создал мир ваш из обломков
Былых миров? И разве я, помощник
В его создании мира, не могу
В час показать того, что создавал он
Иль разрушал в часы?

Каин. Веди меня.

А да. Но через час вернется он?

Люцифер. Вернется.

Мы временем не связаны. Я вечность

Могу вместить в единое мгновенье
И превратить мгновенье в вечность. Духи
Свое существование измеряют
Не тем, чем вы. Но это тайна.— Каин!
Иди за мной.

А д а. Но он ко мне вернется?
Л ю ц и ф е р. Да, женщина. Он первый и последний,
За исключением только одного,
Из этих мест вернется, чтобы сделать
Их мир, еще безмолвный и пустынный,
Таким же населенным, как и землю.

А д а. Где ты живешь?

Л ю ц и ф е р. В пространстве. Где могу
Я обитать? Там, где твой бог, иль боги.
Все в мире разделил я: вечность, время,
Жизнь, смерть, пространство, землю, небо
И то, что ни земля, ни небо — мир,
Который населен и населится
От тех, что населяли иль населят
То и другое: вот мои владенья.
Я разделил с ним царство и владею
Еще и тем, где он невластен. Если б
Я не был столь могуществен, то разве
Я был бы здесь? Здесь ангелы витают.

А д а. Но ангелы витали и в раю,
Где говорил лукавый змий.

Л ю ц и ф е р. Ты слышал
Призыв мой, Каин? Если жаждешь знанья,
Иди за мною — жажда утолится,
И даже без запретного плода,
Способного лишить тебя навеки
Единственного блага, что оставил
Тебе мой враг. Иди за мною, Каин.

К а и н. Дух, я иду.

Люцифер и Каин уходят.

А д а (*вослед им*). О Каин! Брат мой! Каин!

АКТ ВТОРОЙ

Сцена первая

Бездна пространства.

Люцифер и Каин.

К а и н. Не падая, я воздух попираю,
Хотя боюсь, что упаду.

Л ю ц и ф е р. Не бойся —
Доверься мне, владыке этой бездны.

К а и н. Но разве вера в духа не греховна?
 Л ю ц и ф е р. Сомненье — гибель, вера — жизнь. Таков
 Устав того, кто именует бесом
 Меня пред сонмом ангелов, они же
 Передают название это тварям,
 Которым непонятно то, что выше
 Их жалких чувств, которые трепещут
 Велений господина и считают
 Добром иль злом все, что прикажет он.
 Я в рабстве не нуждаюсь. Ты увидишь
 За тесной гранью маленького мира,
 Где ты рожден, несметные миры,
 И я не обреку тебя на муки
 За страхи и сомненья. Будет день —
 И человек, несомый водной хлябью,
 Другому скажет: *веруй и гряди* —
 И тот пойдет по хляби невредимо.
 Я веры, как условия спасенья,
 Не требую. Лети со мной, как равный,
 Над бездною пространства, — я открою
 Тебе живую летопись миров
 Прошедших, настоящих и грядущих.

К а и н. О бог иль бес — кто б ни был ты: что это?
 Ужель земля?

Л ю ц и ф е р. Ты не узнал земли?
 Той персти, из которой ты был создан?

К а и н. Как! Этот круг, синеющий в эфире
 Вблизи кружка, похожего на то,
 Что ночью освещает нашу землю,
 И есть наш рай? А где же стены рая?
 И те, что стерегут их?

Л ю ц и ф е р. Покажи
 Мне место рая.

К а и н. Это невозможно!
 Чем дальше мы уносимся вперед,
 Тем круг земли становится все меньше
 И, уменьшаясь, светится вдали
 Все ярче серебристым звездным светом.
 Мы с быстротою солнечных лучей
 Летим вперед, и он уж начинает
 Теряться средь бесчисленного сонма
 Окрестных звезд.

Л ю ц и ф е р. Но что бы ты подумал,
 Когда б узнал, что есть миры громадней,
 Чем мир земной, что есть создания выше,
 Чем человек, что их число несметно,

Что все они на смерть обречены

И все живут, все страдают?

К а и н. Я б гордился

Своим умом, постигнувшим все это.

Л ю ц и ф е р. А если дух твой скован от рожденья

Тяжелой, грубой плотью, если он,

Столь гордый тем, что знает, жаждет новых,

Все новых, высших знаний, а меж тем

Не победит ничтожнейших, грубейших,

Мерзейших нужд, и высшею отрадой

Считает только сладостный и грязный,

Без меры истомляющий обман,

Влекущий к созиданию лишь новых

Несметных душ, несметных тел, с рожденья

Приговоренных к смерти?

К а и н. Дух! я знаю

О смерти только то, что смерть ужасна,

Что смерть — наш общий горестный удел,

Как слышал я от матери, которой

Обязаны мы смертью вместе с жизнью.

Но если так, дай умереть мне, дух!

Ведь быть отцом созданий, обреченных

На жизнь среди страданий и на гибель,

Не все ль равно, что смерть плодить и в мире

Распространять злодейство?

Л ю ц и ф е р. Ты не можешь

Весь умереть: есть нечто, что бессмертно.

К а и н. Бог это скрыл, изгнав отца из рая

И заклеив зловешим знаком смерти

Его чело. Но пусть во мне погибнет

Хоть смертное, чтоб в остальном я был

Как ангелы.

Л ю ц и ф е р. Я ангельского чина:

Ты хочешь быть таким, как я?

К а и н. Но кто ты?

Я вижу только мощь твою и то,

Что ты мне открываешь мир, гнетущий

Величием мою земную мощь

И все же не превысивший желаний

И дум моих.

Л ю ц и ф е р. О, гордые желанья,

Которые так скромно разделяют

Юдоль червей!

К а и н. А ты, — ты разделяешь

Обитатели с бессмертными, — ты разве

Не кажешься печальным?

Люцифер. Я печален.
 Итак, скажи: ты хочешь быть бессмертным?
 Каин. Ты говоришь, что я им *должен* быть.
 Я этого не знал еще, но если
 Должно так быть, то я хочу изведать
 Бессмертие заране.
 Люцифер. Ты изведал.
 Каин. Когда и как?
 Люцифер. Страдая.
 Каин. Но страданья
 Должны быть вечны?
 Люцифер. Это мы узнаём,—
 Мы и твои потомки. Но взгляни:
 Как все полно величия!
 Каин. О, дивный,
 Невыразимо дивный мир! И вы,
 Несметные, растущие без меры
 Громады звезд! Скажите: что такое
 И сами вы, и эта голубая
 Безбрежная воздушная пустыня,
 Где кружитесь вы в бешеном веселье,
 Как листья вдоль прозрачных рек Эдема?
 Исчислены ль пути для вас? Иль вы
 Стремитесь в даль, сжимающую душу
 Своею бесконечностью, свободно?
 Творцы! Творцы! Иль я не знаю — кто!
 Как дивны вы и как прекрасны ваши
 Создания! Пусть я умру, как атом,—
 Быть может, умирает он! — иль ваше
 Величие постигну! Мысль моя
 Достойна вас, хоть прах и недостоин.
 Дух! Дай мне умереть, иль покажи
 Мне ближе их.
 Люцифер. Ты разве к ним не близок?
 Взгляни на землю.
 Каин. Где она? Я вижу
 Лишь сонмы звезд.
 Люцифер. Гляди сюда.
 Каин. Не вижу.
 Люцифер. Но приглядиись: она еще мерцает.
 Каин. Вон там?
 Люцифер. Да, там.
 Каин. Возможно ли? Я видел
 Ночной порой в лугах и в темных рощах
 Светящих мух: они сверкали ярче,
 Чем этот мир, который их питает.

Л ю ц и ф е р. Ты видел и миры и светляков,—
Те и другие искрятся,— что ж скажешь
Ты мне о них?

К а и н. Скажу, что и миры
И светляки по-своему прекрасны,
И что полет ночной ничтожной мушки
И мощный бег бессмертного светила
Равно руководимы...

Л ю ц и ф е р. Кем?

К а и н. Открой мне.

Л ю ц и ф е р. И ты взглянуть дерзнул бы?

К а и н. Как мне знать,

На что взглянуть дерзну я? Ты пока
Не показал мне ничего такого,
Чтоб не дерзнул я большего увидеть.

Л ю ц и ф е р. К чему тебя влекло всего сильнее?

К а и н. К тому, чего я никогда не ведал
И ведать бы не должен — к тайне смерти.

Л ю ц и ф е р. Я покажу отживших и умерших,
Как показал бессмертных.

К а и н. Покажи.

Л ю ц и ф е р. Тогда вперед на наших мощных
крыльях!

К а и н. О, как мы рассекаем воздух! Звезды
Скрываются от наших глаз! Земля!
Где ты, земля? Дай мне взглянуть на землю.
Я сын ее.

Л ю ц и ф е р. Земли уже не видно.
Пред вечностью она гораздо меньше,
Чем ты пред ней. Но ты с землею связан
И скоро к ней вернешься. Прах земной —
Часть нашего бессмертия.

К а и н. Куда же

Лежит наш путь?

Л ю ц и ф е р. К тому, что только призрак
Былых миров, земля же их обломок.

К а и н. Так мир не нов?

Л ю ц и ф е р. Не более, чем жизнь.

А жизнь древней, чем ты, чем я, и даже
Древней того, что выше нас с тобою.
Есть многое, что никогда не будет
Иметь конца; а то, что домогалось
Считаться не имеющим начала,
Имеет столь же низкое, как ты;
И многое великое погибло,
Чтоб место дать ничтожному,— такому,

Что и помыслить трудно: ибо в мире
Лишь время и пространство неизменны,
Хотя и перемены только праху
Приносят смерть. Ты — прах, ты не достигнешь
Того, что выше праха, и увидишь
Лишь то, что было прахом.

К а и н. Только прахом!

Но я дерзну взглянуть на все, что хочешь.

Л ю ц и ф е р. Тогда — вперед!

К а и н. Как быстро меркнут
звезды!

А ведь они казались мне мирами,

Когда мы приближались к ним.

Л ю ц и ф е р. Они

И есть миры.

К а и н. И есть на них эдемы?

Л ю ц и ф е р. Быть может, есть.

К а и н. И люди?

Л ю ц и ф е р. Есть и люди.

Иль существа, что выше их.

К а и н. И змий?

Л ю ц и ф е р. Раз люди есть — как им не быть? И разве

Дышать должны ходячие лишь твари?

К а и н. Как быстро меркнут звезды вслед за нами!

Куда летим мы?

Л ю ц и ф е р. К миру привидений,

Существ, еще не живших и отживших.

К а и н. Но мрак растет — все звезды уж исчезли.

Л ю ц и ф е р. Но ты, однако, видишь.

К а и н. Жуткий сумрак!

Ни ярких звезд, ни солнца, ни луны,

И все же в этом сумраке я вижу

Какие-то угрюмые громады,

Но только не похожие на те,

Которые светились в пространстве

Своими ореолами и были,

Как мне тогда казалось, полны жизни.

На тех, сквозь их сияние, я видел

Глубокие долины, выси гор

И водные безбрежные равнины;

Вкруг тех сияли огненные кольца

И диски лун, напоминая землю;

А здесь все страшно, сумрачно!

Л ю ц и ф е р. Но ясно.

Ты ищешь смерть увидеть и умерших?

К а и н. Раз грех Адама предал всех нас смерти,

То я хочу заранее увидеть
То, что мы все увидим поневоле
Когда-нибудь.

Люцифер. Смотри.

Кайн. Повсюду мрак!

Люцифер. И вечный мрак; но мы с тобой раскроем
Врата его.

Кайн. Гигантскими клубами
Катится пар — откуда он?

Люцифер. Войди.

Кайн. Вернусь ли я?

Люцифер. Не сомневайся в этом.
Ведь кто наполнить должен царство смерти?
Ты и твой род. Оно еще так пусто
В сравненьи с тем, чем будет.

Кайн. Облака
Все шире расступаются пред нами,
Кругами обвивая нас.

Люцифер. Входи.

Кайн. А ты?

Люцифер. Входи. Ты без меня не мог бы
Проникнуть в царство призраков. Смелее!
Исчезают в облаках.

Сцена вторая

Царство смерти.

Люцифер и Кайн.

Кайн. Как молчалив, как необъятен этот
Угрюмый мир! Он населен обильней,
Чем даже те горящие громады,
Которые в воздушных безднах блещут
В таком несметном множестве, что я
Сперва считал их за каких-то светлых
Небесных обитателей. Но как
Здесь сумрачно, как все напоминает
Угасший день!

Люцифер. Здесь царство смерти. Хочешь
Увидеть смерть?

Кайн. Я не могу ответить,
Не ведая, что значит смерть. Но если
Отец мой прав... О боже! Я подумать
Страшусь о ней! Будь проклят тот, кто дал
Мне бытие, ведущее лишь к смерти!

Люцифер. Ты проклинаешь мать, отца?

К а и н.

Но разве

Они меня не прокляли, дерзнувшие
Вкусить от древа знания?

Л ю ц и ф е р.

Ты прав:

Меж вами обоюдное проклятье.
Но твой Энох, твой брат?

К а и н.

Они должны

Делить мое проклятие со мною,
Родителем и братом их. Чтó принял
В наследство сам, то им и завещаю.
О, бесконечный и угрюмый мир
Скользящих теней, призраков-гигантов,
То явственных, то смутных, но всегда
Печальных и величественных,— что ты?
Жизнь или смерть?

Л ю ц и ф е р.

И жизнь и смерть.

К а и н.

Но что же

Тогда есть смерть?

Л ю ц и ф е р.

А разве не сказал вам

Создатель ваш, что смерть — другая жизнь?

К а и н. Мы от него пока одно узнали —

Что мы умрем.

Л ю ц и ф е р.

Придет, быть может, день,

Когда он вам раскроет тайну эту.

К а и н. Счастливый день!

Л ю ц и ф е р.

О, да! Ведь эта тайна

Откроется в невыразимых муках,
Соединенных с вечной адской мукой,
Еще не народившим, что родятся
Лишь для нее — для этой вечной муки.

К а и н. Как величавы тени, что витают

Вокруг меня! В них незаметно сходства

Ни с духами, которых видел я

На страже заповедных врат Эдема,

Ни с смертными — с моим отцом и братом,

Со мной самим, с моей сестрой, с женою,

А между тем, отличные от духов

И от людей своим непостижимым,

Невиданным мной обликом, они,

Бесплотным уступая, превышают

Людей и красотой горделивой,

И мощью, и величием. У них

Нет крыльев, как у ангелов, нет лика,

Как у людей, нет мощных форм животных,

Нет ничего подобного тому,

Что видел я; они в себе вмещают

Всю красоту прекраснейших, сильнейших
 Земных существ, но так не схожи с ними,
 Что я не знаю — были ли они
 Когда-нибудь живыми существами?
 Л ю ц и ф е р. Когда-то были.
 К а и н. Были? Где?
 Л ю ц и ф е р. Где ты
 Живешь.
 К а и н. Когда?
 Л ю ц и ф е р. Когда владели миром,
 Который называешь ты землей.
 К а и н. Но в этом мире первый — мой родитель.
 Л ю ц и ф е р. Из вас он, правда, первый, но из них
 Он даже не достоин быть последним.
 К а и н. А кто они?
 Л ю ц и ф е р. Они есть то, чем будут
 Все смертные.
 К а и н. А были чем?
 Л ю ц и ф е р. Живыми,
 Великими, разумными, — во всем
 Настолько превышавшими Адама,
 Насколько сын Адама превышает
 Своих потомков будущих.
 К а и н. Увы!
 И все они погибли, все исчезли
 С лица земли?
 Л ю ц и ф е р. С лица *своей* земли,
 Как некогда и ты с *своей* исчезнешь.
 К а и н. Но ты сказал, что прежде их землею
 Была моя?
 Л ю ц и ф е р. Была.
 К а и н. Но изменилась.
 Моя земля для них была бы слишком
 Ничтожна.
 Л ю ц и ф е р. Да, она при них была
 Прекраснее.
 К а и н. И почему так пала?
 Л ю ц и ф е р. Спроси его.
 К а и н. Но как он это сделал?
 Л ю ц и ф е р. Смещением стихий, преобразивших
 Лицо земли. Но дальше, — созерцай
 Минувшее.
 К а и н. Минувшее ужасно!
 Л ю ц и ф е р. Но истинно. Смотри на эти тени:
 Они когда-то жили и дышали,
 Как ты теперь.

К а и н. И некогда я буду
Подобен им?

Л ю ц и ф е р. На это пусть ответит
Создатель ваш. Я показал, чем стали
Предшественники ваши. Созерцай их,
Иль, если это тяжело для тебя,
Вернись к земле, к своим трудам: ты будешь
Перенесен на землю невредимо.

К а и н. Я здесь останусь.

Л ю ц и ф е р. Надолго?

К а и н. Навеки.
Я все равно сюда вернуться должен,
Мне тяжело жить на земле: так лучше
Остаться здесь.

Л ю ц и ф е р. Но это невозможно:
Мир призраков — действительность, а ты
Теперь их созерцаешь как виденье.
Чтоб разделить обитель их, ты должен
Войти сюда вратами смерти — так же,
Как и они.

К а и н. Какими же вратами
Входили мы?

Л ю ц и ф е р. Моими. Ты на землю
Вернуться должен; в царстве бездыханных
Ты дышишь только мною. Не мечтай же
Остаться в нем, пока твой час не пробил.

К а и н. А вот они,— скажи, они не могут
На землю возвратиться?

Л ю ц и ф е р. Их земля
Прошла навеки: бурные стихии
Лицо земли так резко изменили,
Что на ее поверхности теперь
Едва ль найдется атом, им знакомый.
А это был прекрасный,— о, какой
Прекрасный мир!

К а и н. Он и теперь прекрасен.
Я не с землей, хотя на ней тружусь я,
Веду вражду, а с тем, что я беру
Все, что она прекрасного приносит,
Ценой труда, что, жаждающая познания,
Не в силах этой жажды утолить,
Что на земле меня приводит в трепет
И жизнь и смерть.

Л ю ц и ф е р. Чем стал твой мир, ты видишь,
Но чем он был — не можешь и постигнуть.

К а и н. А это кто? Вот эти исполины,

Которые, мне кажется, похожи
На диких обитателей дремучих
Земных лесов, но только в десять раз
Громадней и страшнее тех, громадней,
Чем стены рая,— эти привиденья,
Чьи очи пламенеют, как мечи
В десницах херувимов, стерегущих
Эдемский сад, и чьи клыки торчат,
Как голые деревья?

Л ю ц и ф е р. Это то же,
Что мамонты земные. Мириады
Таких существ лежат в земле.

К а и н. И больше
Уж нет таких?

Л ю ц и ф е р. Нет; если б вам пришлось
Вступить в борьбу с такими существами,
То вы могли бы сделать бесполезным
Проклятие, висящее над вами:
Так скоро вы погибли бы.

К а и н. Но разве
Борьба необходима?

Л ю ц и ф е р. Ты забыл
Завет того, кто вас изгнал из рая:
«Борьба со всем, что дышит, смерть всему,
И всем болезни, скорби и мученья» —
Плод дерева запрещенного.

К а и н. Но звери —
Они ведь не касались дерева знания?

Л ю ц и ф е р. Ваш бог сказал, что создал их для
смертных,
А смертных — для создавшего. Вы разве
Хотели бы, чтоб участь их была
Счастливее, чем ваша? Грех Адама
Всех погубил.

К а и н. Несчастные! Им тоже,
Как и сынам Адама, суждено
Страдать за грех, не ими совершенный,
За райский плод, который не дал знания,
А дал лишь смерть. Он оказался лживым,
Мы ничего не знаем. Он сулил
Нам знание — ужасною ценою,
Но знание; а что же знаем мы?

Л ю ц и ф е р. Быть может, смерть даст высшее
познание;
Ведь только смерть для смертных несомненна
И, значит, к несомненному приводит.

- Люцифер. И твой отец его не видел?
 Каин Нет;
 Ведь мой отец был соблазнен не змием:
 Змий соблазнил лишь Еву.
- Люцифер. О, невинность!
 Когда тебя или сынов твоих
 Смущают жены чем-нибудь, что ново
 И необычно, знай, что пред тобой —
 Сам искуситель.
- Каин. Слишком запоздали
 Твои советы: змиям больше нечем
 Жен искушать.
- Люцифер. Но есть еще немало
 Таких вещей, которыми и жсны
 Своих мужей и жен мужья способны
 Вводить в соблазн: вам это надо помнить.
 Я вам добра желаю, предлагая
 Подобные советы,— я даю их
 В ущерб себе... хоть правда, что не будут
 Им следовать.
- Каин. Мне это непонятно.
- Люцифер. И к лучшему! Твой мир и ты так юны!
 Ты мнишь себя преступным и несчастным —
 Не правда ли?
- Каин. Преступным — нет, но скорби
 Я испытал не мало.
- Люцифер. Первородный
 Сын первого из смертных! Твой удел
 Жить во грехе и скорби, но Эдемом
 Покажутся тебе твои несчастья
 В сравненьи с тем, что ты узнаешь вскоре,
 А то, что ты узнаешь, будет раем
 В сравненьи с тем, что испытать должны
 Твои сыны... Но нам пора на землю.
- Каин. Ужели ты привел меня сюда
 Лишь для того, чтоб показать мне это?
- Люцифер. Не ты ли жаждал знания?
- Каин. О, да,
 Но лишь затем, чтоб знание служило
 Дорогой к счастью.
- Люцифер. Если счастье в знаньи,
 То ты уж счастлив.
- Каин. Прав же был творец,
 Велевший не касаться древа знанья!
- Люцифер. А если бы губительного древа
 Не насаждал, еще бы лучше сделал.

Однако и неведение зла
От зла не ограждает. Зло всесильно.
К а и н. Я этому не верю, нет! Я жажду
Душой добра!

Л ю ц и ф е р. А кто его не жаждет?
Кто *любит* зло? Никто, ничто.

К а и н. Но в эти
Несметные и дивные миры,
Которые мы видели с тобою,
Пока не погрузились в царство смерти,
Не ввидет зло: так все они прекрасны!

Л ю ц и ф е р. Ты видел их лишь издали.

К а и н. Но даль
Могла лишь уменьшать их красоту:
Вблизи их красота неизреченна.

Л ю ц и ф е р. Но подойди к прекраснейшему в мире
И приглядишься к нему.

К а и н. Я это делал:
Вблизи оно еще прелестней.

Л ю ц и ф е р. Нет,
Тут есть обман. Скажи, о ком ты думал?

К а и н. Я думал о сестре моей. Все звезды,
Вся красота ночных небес, вся прелесть
Вечерней тьмы, весь пышный блеск рассвета,
Вся дивная пленительность заката,
Когда, следя за уходящим солнцем,
Я проливаю сладостные слезы
И, мнится, вместе с солнцем утопаю
В раю вечерних легких облаков,
И сень лесов, и зелень их, и голос
Вечерних птиц, поющих про любовь,
Сливающийся с гимном херувимов,
Меж тем, как тьма уж реет над Эдемом,
Все, все — ничто пред красотой Ады:
Чтоб созерцать ее, я отвращаю
Глаза свои от неба и земли.

Л ю ц и ф е р. Но если ты владеешь существом
Столь дивной красоты, то почему
Несчастен ты?

К а и н. Зачем я существую?
И почему несчастен ты, и все,
Что существуют в мире, все несчастно?
Ведь даже тот, кто создал всех несчастных,
Не может быть счастливым: созидать,
Чтоб разрушать — печальный труд! Родитель
Нам говорит: он всемогущ, — зачем же

Есть в мире зло? Об этом много раз
Я спрашивал отца, и он ответил,
Что это зло — лишь путь к добру. Ужасный
И странный путь! Я видел, как ягненка
Ужалил гад: он извивался в муках.
А подле matka жалобно бляла;
Тогда отец нарвал и положил
Каких-то трав на рану, и ягненок,
До этого беспомощный и жалкий,
Стал возвращаться к жизни понемногу
И скоро уж беспечно припадал
К сосцам своей обрадованной матки,
А та, вся трепеща, его лизала.
Смотри, мой сын, сказал Адам, как зло
Родит добро.

Л ю ц и ф е р. Что ж ты ему ответил?
К а и н. Я промолчал,— ведь он отец мой,— только
Тогда ж подумал: лучше бы ягненку
Совсем не быть ужаленным змеею,
Чем возвратиться к жизни, столь короткой,
Ценою мук.

Л ю ц и ф е р. Но ты сказал, что ты
Из всех существ, тобой любимых, любишь
Всего сильнее ту, что воспиталась
С тобой одною грудью и питает
Своей — твоих малюток.

К а и н. Да, сказал:
Чем был бы я без Ады?

Л ю ц и ф е р. Тем, чем я.

К а и н. Ты чужд любви.

Л ю ц и ф е р. А он, твой бог, что любит?

К а и н. Все сущее, как говорит отец;
Но, сознаюсь, я этого не вижу.

Л ю ц и ф е р. Поэтому не можешь и судить,
Чужда ли мне любовь иль нет. Есть нечто
Великое и общее, в котором
Все частное, как снег пред солнцем, тает.

К а и н. Как снег — что это значит?

Л ю ц и ф е р. Будь доволен
Неведеньем того, что испытуют
Сыны сынов твоих, и наслаждайся
Теплом небес, не знающих зимы.

К а и н. Но ты любил существ, тебе подобных?

Л ю ц и ф е р. А ты — ты любишь самого себя?

К а и н. Да, но не так, как ты, что украшает

Мне жизнь мою, что мне дороже жизни,
 Затем что я люблю ее.

Л ю ц и ф е р. Ты любишь,
 Пленяясь красотой ее, как Ева
 Пленилась райским яблоком когда-то;
 Но красота поблекнет — и любовь
 Угаснет, как и всякое желанье.

К а и н. Но отчего ж поблекнет красота?

Л ю ц и ф е р. От времени.

К а и н. Но дни идут, проходят,
 А Ева и Адам еще прекрасны,
 Не так, как серафимы, как сестра,
 Но все ж прекрасны.

Л ю ц и ф е р. Время беспощадно
 Изменит их.

К а и н. Мне это очень больно;
 Но все ж я не могу себе представить,
 Что разлюблю когда-нибудь сестру,
 И если красота ее поблекнет,
 То, думаю, создатель красоты,
 При гибели прекрасного созданья,
 Утратить должен более, чем я.

Л ю ц и ф е р. Мне жаль тебя: ты любишь то, что гибнет.

К а и н. Как мне — тебя: ты ничего не любишь.

Л ю ц и ф е р. А брат — ты любишь брата?

К а и н. Да, люблю.

Л ю ц и ф е р. Его твой бог и твой отец так любят!

К а и н. И я люблю.

Л ю ц и ф е р. Похвально и смиренно!

К а и н. Смиренно?

Л ю ц и ф е р. Да, ведь он не первородный
 И с детства был любимцем Евы.

К а и н. Что ж,
 Змий первым был любимцем, он — вторым.

Л ю ц и ф е р. Он и отца любимец.

К а и н. И об этом
 Я не скорблю. Как будто я не должен
 Любить того, кого отец мой любит!

Л ю ц и ф е р. Но и Иего́ва, кроткий ваш владыка,
 Всещедрый насадитель райских кущ,
 На Авеля с улыбкою взирает.

К а и н. Я не видал Иеговы и не знаю,
 Пристойно ли Иегове улыбаться.

Л ю ц и ф е р. Так ангелов Иеговы видишь.

К а и н. Редко.

Л ю ц и ф е р. И все-таки ты должен был заметить,

Что Авель им угоден: от него

Все жертвы восприимлются.

К а и н. И пусть!

Зачем ты говоришь со мной об этом.

Л ю ц и ф е р. Затем, что ты об этом много думал.

К а и н. А если бы и думал,— для чего

Будить во мне...

В волнении останавливается.

Дух! Мы с тобою в мире,

Далеком от земли; не говори же

Мне о земле. Ты показал мне много

Чудесного; ты показал мне мощных

Предшественников наших, попиравших

Ту землю, от которой уцелел

Один обломок; ты мне показал

Тьмы тем миров, среди которых тускло

Мерцает наш ничтожный мир, теряясь

В воздушной бесконечности; ты тени

В зловещем царстве смерти показал мне;

Ты много показал мне — но не все:

Дай мне узреть обители Иеговы,

Или свою обитель: где они?

Л ю ц и ф е р. Здесь и везде — в пространстве

бесконечном.

К а и н. Но есть же у тебя и у Иеговы

Какой-нибудь приют определенный?

Он есть у всех. Землей владеют люди,

В других мирах свое есть население,

У всех живых созданий есть своя

Особая стихия; ты сказал мне,

Что даже бездыханным есть обитель,

Так, значит, есть и богу, и тебе.

Вы вместе обитаете?

Л ю ц и ф е р. Мы вместе

Лишь царствуем; но обитаем порознь.

К а и н. О, если б был один из вас! Быть может,

Единство цели создало б согласие

Стихий, теперь враждующих! И что

Вас привело к такой вражде,— вас, мудрых

И бесконечных? Разве вы не братья

По сущности, по естеству и славе?

Л ю ц и ф е р. А вы — вы братья с Авелем?

К а и н.

Мы братья.

И братьями останемся. Но если б

И не были мы братьями: дух разве

Подобен нам? Как может враждовать

Бессмертный с бесконечным, превращая
 Весь мир в обитель скорби? И за что?

Л ю ц и ф е р. За власть.

К а и н. За власть? Но ты мне говорил,
 Что оба вы бессмертны.

Л ю ц и ф е р. Да, бессмертны.

К а и н. А голубая бездна бездн пространства
 Не бесконечна разве?

Л ю ц и ф е р. Бесконечна.

К а и н. Так царствуйте в ней оба, не враждуя.
 Иль тесно вам?

Л ю ц и ф е р. Мы царствуем в ней *оба*.

К а и н. Но зло творит — один из вас.

Л ю ц и ф е р. Который?

К а и н. Ты! Разве ты не можешь на земле
 Творить добро? Ты можешь, но не хочешь.

Л ю ц и ф е р. Пусть он творит. Вы — не мои созданыя,
 Он создал вас.

К а и н. Так предоставь отцу
 Его детей, им созданных. Открой мне
 Свою или *его* обитель.

Л ю ц и ф е р. Я
 Могу открыть их обе. Но настанет
 Великий час, когда одна из них
 Откроется *навек* пред тобою.

К а и н. Но не теперь?

Л ю ц и ф е р. Твой смертный ум не в силах
 Постигнуть даже малого — того,
 Что видел ты. И ты стремишься к Тайне!
 К великой ипостаси Двух Начал!
 К их сокровенным тронам! Прах! Ты дерзок.
 Но зреть хотя одно из них — есть смерть.

К а и н. Пусть я умру — но только бы узреть *их!*

Л ю ц и ф е р. Речь сына той, что обольстилась змием!
 Но эта смерть — бесплотной смертью будет.

К а и н. Но разве смерть их не откроет?

Л ю ц и ф е р. Смерть —
 Преддверие.

К а и н. Так, значит, смерть приводит
 К чему-нибудь разумному! Теперь
 Я менее боюсь ее.

Л ю ц и ф е р. И, значит,
 Тебе пора на землю возвратиться,
 Где должен ты умножить род Адама,
 Есть, пить, любить, дрожать за жизнь, **работать**,
 Смеяться, плакать, спать — и умереть.

К а и н. Но если так, скажи, с какою целью
 Блуждали мы?
Л ю ц и ф е р. Но ты стремился к знанию;
 А все, что я открыл тебе, вещает:
 Познай себя.
К а и н. Увы! Я познаю,
 Что я — ничто.
Л ю ц и ф е р. И это непреложный
 Итог людских познаний. Завещай
 Свой опыт детям,— это их избавит
 От многих мук.
К а и н. Высокомерный дух!
 Ты властен, да; но есть и над тобою
 Владыка.
Л ю ц и ф е р. Нет! Клянуся небом, где
 Лишь *он* царит! Клянуся бездной, сонмом
 Миров и жизней, *нам* подвластных — нет!
 Он победитель мой — но не владыка,
 Весь мир пред ним трепещет,— но не я:
 Я с ним в борьбе, как был в борьбе и прежде,
 На небесах. И не устану вечно
 Бороться с ним, и на весах борьбы
 За миром мир, светило за светилом,
 Вселенная за новою вселенной
 Должна дрожать, пока не прекратится
 Великая нещадная борьба,
 Доколе не погибнет Адонаи
 Иль враг его! Но разве это будет?
 Как угасить бессмертие и нашу
 Неугасимую взаимную вражду?
Он победил, и тот, кто побежден им,
 Тот назван злом; но благ ли победивший?
 Когда бы *мне* досталась победа,
 Злом был бы *он*. Вот вас, еще недавно
 Пришедших в мир, еще столь юных смертных,
 Какими одарил он вас дарами?
К а и н. Немногими — и горькими.
Л ю ц и ф е р. Вернись же
 К своей земле, вкуси и остальных
 Его небесных милостей. Деятель
 Добра и зла не создал их такими,
 Добро и зло суть сами по себе.
 Но, если он дает добро,— зовите
 Его благим; а если от него
 Исходит зло, то изыщите верный
 Источник зла,— не говорите: это

Свершил злой дух. Один лишь добрый дар
Дало вам древо знания — ваш разум:
Так пусть он не трепещет грозных слов
Тирана, принуждающего верить
Наперекор и чувству и рассудку.
Терпи и мысли — созидай в себе
Мир внутренний, чтоб внешнего не видеть:
Сломи в себе земное естество
И приобщись духовному началу!
Исчезают.

АКТ ТРЕТИЙ

Сцена первая
Местность близ Эдема.
Каин и Ада.

А д а. Иди тихонько, Каин.
К а и н. Хорошо;
Но почему?
А д а. Вон там под кипарисом
Спит на листе наш мальчик.
К а и н. Кипарис!
Угрюмый он, зачем ты положила
Под ним дитя? Он смотрит так, как будто
Оплакивает то, что осеняет.
А д а. Но он ветвист, под ним темно, как ночью.
Он точно создан, чтобы охранять
От зноя спящих.
К а и н. Спящих сном последним
И вечным. Но веди меня к Эноху.
Подходят к ребенку.
Как он красив! Как разгорелись щечки!
Румянец их не уступает розам,
Рассыпанным под ним.
А д а. А посмотри,
Как хорошо полуоткрыл он губки!
Нет, не целуй; он скоро сам проснется,
Он выспался, но жаль будить!
К а и н. Да, правда,
Я удержусь пока от искушенья.
Он спит и улыбается! Спи мирно
И улыбайся, маленький наследник

Земли такой же юной, как ты сам!
Спи, улыбаясь! Ты переживаешь
Часы и дни невинности и счастья.
Ты не срывал запретного плода,
Не знаешь наготы своей. Настанет
И для тебя час кары за какой-то
Тяжелый грех, которого ни ты,
Ни я не совершали; но куда
Спи безмятежно! Щеки покраснелись,
Из-под ресниц трепещущих и темных,
Как кипарис, колеблемый над ним,
Просвечивает ясной лазурью
Дремотная улыбка... Спит и грезит —
О чем? О рае!.. Грезь о нем, мечтай,
Мой мальчик обездоленный! Он — греза:
Уж никогда и никому из смертных
Не быть в его обители блаженной!

А д а. Не сегуй, милый Каин, не тоскуй
О прошлом над малюткою! Что пользы
Весь век Эдем оплакивать? Ужели
Нельзя создать другого?

К а и н. Где?

А д а. Где хочешь:
Раз ты со мной — я счастлива без рая.
Иль у меня нет мужа, нет малюток,
Родителя и брата, кроткой Селлы
И матери, которой мы столь многим
Обязаны — помимо жизни?

К а и н. Смертью
Мы тоже ей обязаны.

А д а. О, Каин!
Тот гордый дух, с которым ты ходил,
Тебя еще сильнее опечалил.
Я думала, что дивные виденья,
Которые тебе он обещал,
Тьмы тем миров отживших и живущих,
Которые ты видел, успокоят,
Насытят ум твой знанием; но вижу,
Что дух принес одно лишь зло. И все же
Я благодарна духу и готова
Простить его за то, что ты вернулся
Так скоро к нам.

К а и н. Так скоро?

А д а. Да, прошло
Лишь два часа с тех пор, как мы расстались,
Лишь два часа — по солнцу.

К а и н. Я вблизи

Смотрел на это солнце, созерцал
Миры, что озарялись им когда-то,
Но никогда не озарятся больше,
И те миры, что солнечного света
Не ведали от века: мне казалось,
Что протекли года.

А д а. Едва часы.

К а и н. Так, значит, дух наш время измеряет
Тем, что он видит: радость или скорбь,
Величье иль ничтожество; я видел
Деяния бессмертных, созерцал
Угасшие светила и, взирая
На вечное, участвовал, казалось,
И сам в его величии; теперь
Я снова — прах и снова понимаю,
Что я — ничто: дух истину сказал мне.

А д а. Нет, дух сказал неправду. Сам Иегова
Не говорил нам этого.

К а и н. Но создал
Ничтожеством; он поманил нас раем,
Бессмертием, но сотворил из праха
И в прах вернет — скажи, за что?

А д а. Ты знаешь,
За грех отца.

К а и н. А мы — в чем *мы* виновны?
Он согрешил, пусть *он* и умирает.

А д а. Нехорошо сказал ты; это мысли
Того, кто был с тобой, а не твои.
Я умереть готова — лишь бы жили
Отец и мать.

К а и н. Да, — если б можно было
Насытить этой жертвой Ненасытность,
И если б этот мирно спящий крошка
И те, что от него произойдут,
Не испытали смерти и страданий.

А д а. Как знать, не будет ли когда-нибудь
Такою искупительною жертвой
Спасен весь род Адама?

К а и н. Искупленье!
Но в чем мы виноваты? Почему
Я должен пасть за грех, не мной свершенный,
Иль от другого жертвы ждать за этот
Таинственный и безыменный грех,
Весь состоявший только в жажде знания?

А д а. Увы! Ты говоришь, что ты не грешен,
 А сам гречишь: твои слова — кощунство.

К а и н. Тогда оставь меня.

А д а. О, никогда,
 Хотя бы сам творец тебя оставил!

К а и н. А это что такое?

А д а. Алтари,
 Воздвигнутые Авелем. Он хочет
 Свершить с тобою жертву.

К а и н. Алтари!
 А кто ему сказал, что я согласен
 Делить его корыстные молитвы,
 В которых вовсе нет благоговенья,
 А есть лишь страх? Мне алтаря не нужно,
 Мне нечего сжигать на нем.

А д а. Но богу
 Всяк дар угоден, если этот дар
 Приносится с душевным сокрушением
 И кротостью: сожги цветы, плоды...

К а и н. Я сеял, рыл, я был в поту, согласно
 Проклятию; но что еще мне делать?
 Смиранным быть — среди борьбы с стихией
 За мой насущный хлеб? Быть благодарным
 За то, что я во прахе пресмыкаюсь,
 Зане я прах и возвращусь во прах?
 Что я? Ничто. И я за это должен
 Ханжою быть и делать вид, что очень
 Доволен мукой? Каяться — но в чем?
 В грехе отца? Но этот грех давно уж
 Искуплен тем, что претерпели мы,
 И выше всякой меры искупится
 Веками мук, предсказанных в проклятье.
 Он сладко спит, мой мальчик, и не знает,
 Что в нем *одном* — зачатки вечной скорби
 Для *мириад* сынов его! О, лучше б
 Схватить его и раздробить о камни,
 Чем дать ему...

А д а. Мой бог! Не тронь дитя —
 Мое дитя! *Твое* дитя! О, Каин!

К а и н. Не бойся! За небесные светила,
 За власть над ними, я не потревожу
 Ничем малютку, кроме поцелуя.

А д а. Но речь твоя ужасна!

К а и н. Я сказал,
 Что лучше умереть, чем жить в мученьях
 И завещать их детям! Если ж это

Тебя пугает, скажем мягче: лучше б
Ему совсем на свет не появляться.
А д а. О, нет, не говори так! А блаженство
Быть матерью — кормить, любить, лелеять?
Но, чу! Он просыпается. Мой милый!

Подходит к ребенку.

О, посмотри, как полон жизни он,
Сил, красоты, здоровья! Как похож
Он на меня — и на тебя, но только
Когда ты кроток: мы ведь все тогда
Похожи друг на друга; правда, Каин?
Люби же нас — и самого себя,
Хоть ради нас,— ты нам обоим дорог!
Смотри, он засмеялся, протянул
К тебе ручонки, смотрит ясным взором
В твои глаза... Не говори о муках!
Тебе могли бы сами херувимы
Завидовать,— они детей не знают.
Благослови его!

К а и н. Благословляю
Тебя, малютка, если только может
Благословенье смертного отринуть
Проклятие, завещанное змием.

А д а. Аминь. Благословение отца
Сильнее пресмыкающейся твари.

К а и н. Я не уверен в этом. Но да будет
Над ним благословение!

А д а. Наш брат
Идет сюда.

К а и н. Твой брат.

А в е л ь (входя). Брат Каин, здравствуй!
Господний мир с тобою!

К а и н. Авель, здравствуй.

А в е л ь. Сестра мне говорила, что с тобою
Беседовал какой-то дух. Он ангел?

К а и н. Нет.

А в е л ь. Так зачем общаться с ним? Быть может,
Он враг творца.

К а и н. И друг людей. А был ли
Таким творец, как ты назвал его?

А в е л ь. Назвал его! Ты, Каин, нынче странный.
Иди, сестра,— мы совершим сожжение.

А д а. Прости на время, Каин! Поцелуй
Малютку-сына,— пусть его невинность

Да я и никогда, со дня рожденья,
 Не знал его. Уйди, оставь меня,
 Иль я уйду, чтоб не мешать тебе
 Идти к своей благочестивой цели.

А в е л ь. Нет, мы должны идти к ней неразлучно.
 Молю тебя об этом!

К а и н. Я согласен.
 Что нужно делать?

А в е л ь. Выбери один
 Из алтарей.

К а и н. Но я доволен буду
 Любым из них: я вижу в них лишь камень
 Да свежий дерн.

А в е л ь. И все же нужно выбрать.

К а и н. Я выбрал.

А в е л ь. Этот? Он и подобает
 Тебе, как первородному: он выше.
 Теперь готовь дары для всесожженья.

К а и н. А где твой?

А в е л ь. Вот первенцы от стад:
 Смиренная пастушеская жертва.

К а и н. Я не имею стад, я земледелец,
 И возложу на жертвенник плоды —
 То, чем земля мой труд вознаграждает.

Разводят на алтарях огонь.

А в е л ь. Ты, брат, как старший, должен принести
 Хвалу творцу и всесожженье первый.

К а и н. Нет, ты начни, — я в этом неискусен;
 Я буду подражать тебе.

А в е л ь (*преклоняя колени*). О, боже!
 Ты, кто вдохнул в нас дуновение жизни,
 Кто создал нас, благословил и не дал
 Погибнуть чадам грешного отца,
 Которые погибли бы навеки,
 Когда бы правосудие твое
 Не умерялось благостью твоею
 К великим их неправдам! Боже вечный,
 Деятель жизни, света и добра,
 Единый вождь, ведущий все ко благу
 Своею всемогущей, сокровенной,
 Но непреклонной благостью! Прими
 От первого из пастырей смиренных
 Сих первенцев от первородных стад,
 Дар недостойный господя, ничтожный,
 Как все пред ним ничтожно, но несомый,

Смотри, как небо жадно поглощает
Огонь и дым, насыщенные кровью.
А в е л ь. Не думай обо мне; пока не поздно,
Готовь другую жертву для сожженья.
К а и н. Я больше жертв не буду приносить
И не стерплю...
А в е л ь (*вставая с колен*). Брат! Что ты хочешь
делать?
К а и н. Низвергнуть в прах угодника небес,
Участника в твоих молитвах низких —
Твой жертвенник, залитый кровью агнцев,
Вскормленных и вспоенных для закланья.
А в е л ь (*удерживая Каина*). Не прибавляй
безбожных дел к безбожным
Словам. Не тронь алтарь: он освящен
Божественной отрадою Иеговы,
Его благоволением.
К а и н. Его!
Его отрадой! Так его отрада —
Чад алтарей, дымящихся от крови,
Страдания блеющих маток, муки
Их детищ, умиравших под твоим
Ножом благочестивым! Прочь с дороги!
А в е л ь. Брат, отступись! Ты им не завладеешь
Насильственно; но если ты намерен
Для новой жертвы взять его — возьми.
К а и н. Для жертвы?! Прочь, иль этой жертвой будет...
А в е л ь. Что ты сказал?
К а и н. Пусти! Пусти меня!
Твой бог до крови жаден, — берегись же:
Пусти меня, не то она прольется!
А в е л ь. А я во имя бога становлюсь
Меж алтарем священным и тобою: .
Он господу угоден.
К а и н. Если жизнью
Ты дорожишь,— уйди и не мешай мне.
Иначе я...
А в е л ь. Бог мне дороже жизни.
К а и н (*поражая Авеля в висок головой, которую*
схватил с жертвенника).
Так пусть она и будет жертвой богу!
Он любит кровь.
А в е л ь (*падая*). Брат! Что ты сделал?!
К а и н. Брат!
А в е л ь. О, боже сил! Прими мой дух смиренный
И огпусти убийце: он не ведал,

Что делает. Брат Каин, дай мне руку —
Дай руку мне... скажи несчастной Селле...

Каин (*после минутного оцепенения*).
Дать руку?.. Руку?.. В чем моя рука?

Медленно озирается после долгого молчания.

Где я? Один! Где Авель? Каин, где ты?
Возможно ли, что Каин — я? Проснись,
Встань, брат! Скажи, зачем ты лег на землю?
Теперь не ночь... И отчего ты бледен?
Брат, что с тобой?.. Ты был еще сегодня
Так полон жизни! Авель, не шути, —
Прошу тебя. Удар мой был ужасен,
Но он ведь не смертелен... Ах, зачем
Ты шел ему навстречу? Я ударил,
Но ведь ударил только! О, я знаю, —
Ты хочешь напугать меня! Вздохни,
Пошевелись, — хоть раз пошевелился!
Вот так... вот так... Ты дышишь! Брат! Дыши!
О, боже мой!

Авель (*едва слышно*). Кто здесь взывает к богу?
Каин. Убийца твой.

Авель. Пусть бог ему отпустит.

Брат, не забудь о Селле; у нее

Брат — только ты.

Умирает.

Каин. А у меня нет брата!..

Но он смотрит! Так он не мертв? Ведь смерть
Подобна сну, а сон смыкает очи...

Вот и уста открыты — значит, дышат?

Но нет, они не дышат!.. Сердце, сердце, —

Послушаю, не бьется ль сердце?.. Нет!

Так где же я? Во сне иль наяву,

В каком-то страшном мире? Все кружится

В глазах моих... А это что? Роса?

Касается рукой лба, потом смотрит на нее.

Нет, не роса! Нет, это кровь — кровь брата,

И эта кровь — мной пролита! На что же

Мне жизнь теперь, когда я отнял жизнь,

Исторгнул дух из столь родной мне плоти?

Но он не мертв! Смерть разве есть молчанье?

Нет, встанет он, — я буду ждать, я буду

Стеречь его. Ведь жизнь не столь ничтожна,

Чтоб так легко угаснуть. И давно ли

Он говорил?.. Скажу ему... Но что?
Брат!.. Нет, не так — он мне не ответится
На этот зов: брат не убил бы брата...
И все-таки... И все-таки — хоть слово!
Хоть только звук из милых уст, чтоб я
Мог выносить звук собственного слова!

Входит Селла.

Селла. Я слышу стон,— кто стонет здесь? Вон Каин,
Вон Авель распростертый... Каин, что ты
Здесь делаешь? Он задремал? О, небо!
Он бледен, он... Нет, то не кровь! Откуда
Возьмется кровь? Откуда? Авель, Авель!
Что это значит? Что с тобой?.. Не дышит,
Не движется: рука скользит, как камень,
Из рук моих! О, бессердечный Каин!
Как мог ты не поспеть к нему на помощь?
Ты б отразил убийцу, ты могуч,
Ты должен был спасти его... Родитель!
Мать! Ада! где вы? В мире — Смерть!

Убегает, призывая родителей.

Каин. Да, смерти!

И это я, который ненавидел
Так страстно смерть, что даже мысль о смерти
Всю жизнь мне отравила, — это я
Смерть в мир призвал, чтоб собственного брата
Толкнуть в ее холодные объятия!
Я наконец проснулся, — обезумил
Меня мой сон, — а он уж не проснется!

Входят Адам, Ева, Ада и Селла.

Адам. Я прихожу на скорбный голос Селлы.
Что вижу я? Так это правда? Сын мой!
Вот, женщина, след змия!

Ева. О, молчи,
Молчи о нем: глубоко зубы змия
Впились мне в грудь! Мой ненаглядный Авель!..
Иегова! наказание превышает
Мои грехи!

Адам. Кто это сделал, Каин?
Ты был при нем, — скажи, кто это сделал?
Враждебный ли нам ангел, отступивший
От господина, иль дикий зверь лесной?

Ева. Ах, в этой тьме, как молния, сверкает
Зловещий свет: вон головня, — смотрите,
Она в крови!

- А д а м. Скажи хоть слово, Каин,
Скажи и убеди нас, что в несчастье
Мы не вдвойне несчастны.
- А д а. Отвечай им,
Скажи, что ты невинен.
- Е в а. Он виновен,
Теперь я это вижу; он поник
Преступной головой и закрывает
Свирепый взор кровавыми руками.
- А д а. Мать, ты несправедлива... Каин, что же
Ты не рассеешь страшных обвинений,
Сорвавшихся с уст матери в минуту
Безумных мук?
- Е в а. Внемли мне, о, Иегова!
Будь проклят он проклятьем вечным змия!
Да будет он снедаем вечной скорбью,
Да будет...
- А д а. Мать! Остановись, — он сын твой,
Он мой супруг, он брат мой...
- Е в а. Он лишил
Тебя родного брата, Селлу — мужа,
Меня — родного сына. Будь же он
Навеки скрыт от глаз моих! Все узы
Я разрываю с ним, не пощадившим
Связь братских уз. О смерти! Не я ль ввела
Тебя в наш мир? Зачем же не меня ты
Взяла от мира?
- А д а м. Ева! Ты доводишь
Свою печаль до ропота на бога.
Наш тяжкий рок был нам давно предсказан,
И вот сбылось реченное, — склоним же
Свою главу пред господом: да будет
Его святая воля!
- Е в а. Не господь —
Нет, это он, вот этот призрак Смерти,
Которого на свет я породила,
Чтоб он усеял землю мертвецами, —
Поверг его! Да будут же над ним
Проклятья всех живущих, и в мученьях
Пусть он бежит в пустыню, как бежали
Из рая мы, пока родные дети
Не умертвят братоубийцу! Пусть
Горящими мечами херувимов
Преследуем он будет дни и ночи!
Пусть все плоды земные превратятся
В его устах во прах и пепел, — змея

Устелят все пути его, — листву,
Где он главу усталую преклонит,
Усеют скорпионы! Пусть он грезит
Во сне своею жертвой, наяву —
Зрит лишь одно — зловещий образ Смерти!
Пусть все ручьи, когда, сгорая жаждой,
Прильнет он к ним нечистыми устами,
Ручьями крови станут! Пусть стихии
Его врагами будут! Пусть живет он
В мучениях, в которых умирают,
А смерть ему пусть будет хуже смерти!
Сгинь с глаз, братоубийца! Этот звук
Отныне мир заменит словом *Каин*,
И будет ненавистен он вовеки
Для мириад сынов твоих. Пусть всюду,
Где ступишь ты, трава иссохнет! Пусть
Зеленый лес тебе откажет в сени,
Земля — в жилище, прах — в могиле, солнце —
В сиянии, и небеса — в их боге!

Уходит.

А д а м. Иди от нас: мы жить не можем вместе.

Иди! Оставь усопшего — отныне

Я одинок — мы не должны встречаться.

А д а. Отец, будь милосерд! Не прибавляй

К проклятьям Евы нового проклятья!

А д а м. Я не клянусь. Его проклятье — совесть.

Селла! Идем.

С е л л а. Мой долг — остаться здесь,

Над телом мужа.

А д а м. Мы сюда вернемся,

Дай лишь уйти тому, кто уготовал

Тебе твой долг ужасный.

С е л л а. Дай хоть раз

Поцеловать мне хладный прах и эти

Уста, навек остывшие. О Авель!

Уходят А д а м и С е л л а.

А д а. Ты слышал, Каин: мы должны идти.

Я в путь уже готова, — остается

Нам взять детей. Я понесу Эноха,

Ты — девочку. Нам надо до заката

Найти ночлег, чтоб не идти пустыней

Под кровом тьмы. Но ты молчишь, не хочешь

Ответить мне — твоей супруге, Аде?

К а и н. Оставь меня.

А да. Но ты оставлен всеми!
Каин. И ты оставь. Ты разве не страшишься
Жить с Каином, с убийцей?
А да. Я страшусь
Лишь одного — с тобой разлуки. Трепет
Внушает мне твой тяжкий грех, но мне ли
Судить его? Судья — всевышний.
Голос. Каин!
А да. Ты слышишь голос?
Голос. Каин! Каин!
А да. Слышишь?

То голос ангела.

Входит ангел господень.

Ангел. Где брат твой, Авель?
Каин. Я разве сторож Авеля?
Ангел. О Каин!
Что сделал ты? Глас неповинной крови
Ко господу взывает. Проклят ты
Отныне всей землею, что отверзла
Свои уста, чтоб эту кровь приять.
За тяжкий труд она тебе отныне
Не даст плода. Скитальцем бесприютным
Ты будешь жить отныне.
А да. Он не в силах
Перенести такого наказания;
Вот ты изгнал его с лица земли,
И скроется он от лица господня,
Изгнанник и скиталец на земле,
И будет беззащитен: всякий встречный
Убьет его.

Каин. О, если бы! Но кто
Убьет меня? Кто встретит на безлюдной,
Пустой земле?

Ангел. Но ты — убийца брата:
Кто может защитить тебя от сына?

А да. Будь милосерд, пресветлый! Как помыслить,
Что эта грудь скорбящая питает
Отцеубийцу лютого?

Ангел. Он будет
Тогда лишь тем, чем был его отец.
Грудь Евы не питала ли в дни оны
Того, кто здесь теперь лежит во прахе?
Братоубийца может породить
Отцеубийц. Но этого не будет:
Мой бог велит мне положить печать

На Каина, чтоб он в своих скитаньях
Был невредим. Тому в семь раз воздастся,
Кто посягнет на Каина. Приблизься.

Каин. Скажи, зачем?

Ангел. Затем, чтоб заклеить
Твое чело, да огражден ты будешь
От рук убийц.

Каин. Нет, лучше смерти!

Ангел (*налагая клеймо на чело Каина*). Ты должен
И будешь жить.

Каин. Мое чело пылает,
Но мозг горит сильнее во сто крат.

Ангел. Строптив ты был и жесток с дня рожденья,
Как почва, над которою отныне
Ты осужден трудиться; он же — кроток,
Как овцы стад, которые он пас.

Каин. Я был зачат в дни первых слез о рае,
Когда отец еще скорбел о нем,
А мать была еще под властью змия.
Я сын греха; я не стремился к жизни,
Не сам создал свой темный дух; но если б
Я мог своею собственною жизнью
Дать жизнь ему... Ужели даже смерть
Не примет этой жертвы? Он восстанет,
Я буду мертв; он был угоден богу,
Так пусть он вновь воспримет жизнь, а я
Лишусь ее томительного ига!

Ангел. Ты должен жить. Твой грех — неизгладимый.
Иди, исполни дни свои — и впредь
Не омрачай их новыми грехами.

Исчезает.

Ада. Он отошел. Пойдем и мы. Я слышу
Плач нашего малютки.

Каин. О, малютка
Не знает сам, о чем он плачет; я же,
Проливший кровь, уж не могу лить слез,
Хотя всех рек Эдема не хватило б,
Чтоб смыть мой грех. Уверена ли ты,
Что от меня мой сын не отвернется?

Ада. Когда б не так, то я...

Каин. Оставь угрозы,
Не мало мы внимали им; иди,
Бери детей — я буду за тобою.

Ада. Я одного тебя здесь не оставлю.
Уйдем отсюда вместе.

Каин. О, безмолвный
И вечный обличитель! Ты, чья кровь
Весь мир мне затемняет! Я не знаю,
Что ты теперь; но если взор твой видит,
Чем стал твой брат, то ты простишь того,
Кому ни бог, ни собственное сердце
Уж не дадут забвения. Прощай!
Я не дерзну, не должен прикасаться
К тому, чем стал ты от руки моей.
Я, кто с тобой рожден одной утробой,
Одною грудью вскормлен, кто так часто
С любовью братской к сердцу прижимал
Тебя в дни нашей юности, — я больше
Тебя уж не увижу и не смею
Исполнить то, что должен был исполнить
Ты для меня — сложить твой прах в могилу,
Изрытую для смертного впервые,
И кем же? Мной!.. Земля! Земля! За все,
Что ты мне даровала, я дарую
Тебе лишь труп!.. Теперь идем в пустыню.

Ада (*припадая к телу Авеля и целуя его*).
Ужасною, безвременною смертью
Погиб ты, брат! Из всех, в слезах скорбящих,
Лишь я одна скрываю скорбь. Мой долг
Не проливать, но осушать те слезы,
И все ж никто так не скорбит, как Ада,
Не только о тебе, но и том,
Кто твой убийца... Каин! Я готова
Делить твои скитания.

Каин. К востоку
Лежит нам путь. Там мертвый край, он больше
Пристоен мне.

Ада. Веди! Ты должен быть
Моим вождем отныне, и да будет
Твоим — наш бог. Идем, возьмем детей.

Каин. А он — он был бездетен. И навеки
Иссяк источник кроткий, что потомством
Украшить мог супружеское ложе
И умягчить сердца моих потомков,
Соединивши чад своих с моими.
О Авель, Авель!

Ада. Мир ему!

Каин. А мне?

Уходят.

МАНФРЕД

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА БАЙРОНА

There are more things in heaven
and earth, Horatio, than are dreamt
of in your philosophy.

*Shakspeare.*¹

Dramatis personae:

Манфред.	Фея Альп.
Охотник за сернами.	Ариман.
Аббат Св. Маврикия.	Немезида.
Мануэль.	Парки.
Герман.	Духи.

Действие происходит в Бернских Альпах,— частью в замке Манфреда,
частью в горах.

АКТ ПЕРВЫЙ

Сцена первая

Готическая галерея.— Полночь.

Манфред (*один*). Ночник пора долить, хотя иссякнет
Он все-таки скорей, чем я усну;
Ночь не приносит мне успокоенья
И не дает забыться от тяжелых,
Неогразимых дум: моя душа
Не знает сна, и я глаза смыкаю
Лишь для того, чтоб внутрь души смотреть.

¹ Есть на земле и в небе то, что вашей
Не снилось философии, Горацио. Шекспир. (*англ.*).

Не странно ли, что я еще имею
Подобие и облик человека,
Что я живу? Но скорбь — наставник мудрых;
Скорбь — знание, и тот, кто им богаче,
Тот должен был в страданиях постигнуть,
Что древо знания — не древо жизни.
Науки, философию, все тайны
Чудесного и всю земную мудрость —
Я все познал, и все постиг мой разум:
Что пользы в том? — Я расточал добро
И даже сам встречал добро порою;
Я знал врагов и разрушал их козни,
И часто враг смирялся предо мной:
Что пользы в том? — Могушество и страсти,
Добро и зло — все, что волнует мир —
Все для меня навеки стало чуждым
В тот адский миг. Мне даже страх неведом,
И осужден до гроба я не знать
Ни трепета надежд или желаний,
Ни радости, ни счастья, ни любви. —
Но час настал. —

Таинственные силы!
Властители вселенной безграничной,
Кого искал я в свете дня и в тьме!
Вы, в воздухе сокрытые, — незримо
Живущие в эфире, — вы, кому
Доступны гор заоблачные выси,
И недра скал, и бездны океана, —
Во имя чар, мне давших власть над вами,
Зову и заклинаю вас: явитесь!

Молчание.

Ответа нет. — Так именем того,
Кто властвует над вами, — начертаньем,
Которое вас в трепет повергает, —
Велением бессмертного! — Явитесь!

Молчание.

Ответа нет. — Но, духи тьмы и света,
Вам не избежать чар моих: той силой,
Что всех неотразимее, — той властью,
Что рождена на огненном обломке
Разрушенного мира, — на планете,
Погибшей и навеки осужденной

Блуждать среди предвечного пространства,
Проклятием, меня гнетущим, — мыслью,
Живущею во мне и вокруг меня, —
Зову и заклинаю вас: явитесь!

В темном конце галереи появляется неподвижная звезда, и слышится
голос, который поет.

Первый дух. Смертный! На луче звезды
Я спустился с высоты.
Силе чар твоих послушный,
Я покинул мир воздушный,
Мой чертог среди эфира,
Нежно сотканный дыханьем
Туч вечерних и сияньем
Золотистого сафира
В предзакатной тишине.
Смертный! Что велишь ты мне?

Второй дух. Монблан — царь гор, он до небес
Возносится главой
На троне скал, в порфире туч,
В короне снеговой.
Лесами стан его повит.
Громовый гул лавин
В могучей длани держит он
Над синей мглой долин.
Века веков громады льдов
Вдоль скал его ползут,
Но чтоб низвергнуться во прах —
Моих велений ждут.
Я грозный повелитель гор,
Единым словом я
До недр их потрясти могу —
Кто ты, чтоб звать меня?

Третий дух. В тишине заповедной,
В синей бездне морей,
Где сирена вплетает
Перлы в зелень кудрей,
Где во мраке таятся
Водяная змея, —
Гулом бури твой голос
Долетел до меня.
Мой чертог из коралла
Он наполнил собой —
Что ты хочешь, о смертный?
Дух морей пред тобой!

Четвертый дух. Где недра вулканов
 Кипят в полусне
 И лава клокочет
 В гудящем огне,
 Где Анды корнями
 Ушли в глубину,—
 Вершинами гордо
 Стремясь в вышину,—
 Во мраке подземном
 Тебе я внимал,
 На зов твой покорно
 Из мрака предстал!
 Пятый дух. Я дух и повелитель бурь,
 Я властелин ветров;
 Свой путь к тебе я совершал
 Средь молний и громов.
 Через океан нес ураган
 Меня на голос твой:
 Плыл в море флот, но в бездне вод
 Он будет пред зарей!
 Шестой дух. Дух Ночи пред тобой, дух темноты —
 Зачем меня терзаешь светом ты?
 Седьмой дух. Твоей звездою правил я
 В те дни, когда еще земля
 Была не создана. То был
 Мир дивный, полный юных сил,
 Мир, затмевавший красотой,
 Теченьем царственным своим,
 Все звезды, что блистали с ним
 В пустыне неба голубой.
 Но час настал — и навсегда
 Померкла дивная звезда!
 Огнистой глыбой без лучей,
 Зловещим призраком ночей,
 Без цели мчится вдаль она,
 Весь век блуждать осуждена.
 И ты, родившийся под той
 Для неба чуждою звездой,
 Ты, червь, пред кем склоняюсь я,
 В груди презренье затая,
 Ты, властью, данною тебе,
 Чтобы предать тебя Судьбе,
 Призвавший лишь на краткий миг
 Меня в толпу рабов своих,
 Скажи, сын праха, для чего
 Ты звал владыку своего?

Семь духов. Владыки гор, ветров, земли и бездн
морских,
Дух воздуха, дух тьмы и дух твоей судьбы —
Все притекли к тебе, как верные рабы, —
Что повелишь ты им? Чего ты ждешь от них?

М а н ф р е д. Забвения.

Первый дух. Чего — кого — зачем?

М а н ф р е д. Вы знаете. Того, что в сердце скрыто.
Прочтите в нем — я сам сказать не в силах.

Д у х. Мы можем дать лишь то, что в нашей власти:
Проси короны, подданных, господства
Хотя над целым миром, — пожелай
Повелевать стихиями, в которых
Мы безгранично царствуем, — все будет
Дано тебе.

М а н ф р е д. Забвенья — лишь забвенья.
Вы мне сулите многое: ужели
Не в силах дать лишь одного?

Д у х. Не в силах.
Быть может, смерть...

М а н ф р е д. Но даст ли смерть забвенья?

Д у х. Забвение неведомо бессмертным:
Мы вечны — и прошедшее для нас
Сливается с грядущим в настоящем.
Вот наш ответ.

М а н ф р е д. Вы надо мной глумитесь;
Но властью чар, мне давших власть над вами,
Я царь для вас. — Рабы, не забывайтесь!
Бессмертный дух, наследье Прометея,
Огонь, во мне зажженный, так же ярко,
Могуч и всеобъемлющ, как и ваш,
Хотя и облечен земною перстью.
Ответствуйте — иль горе вам!

Д у х. Мы можем
Лишь повторить ответ; он заключен
В твоих словах.

М а н ф р е д. В каких?

Д у х. Ты говорил нам,
Что равен нам; а смерть для нас — ничто.

М а н ф р е д. Так я напрасно звал вас! Вы не в силах
Иль не хотите мне помочь.

Д у х. Проси:
Мы все дадим, что только в нашей власти.
Проси короны, мощи, долголетия...

М а н ф р е д. Проклятие! К чему мне долголетье?

И без того дни долги! — Прочь!

Д у х. Помедли,

Подумай, прежде чем нас отпустить.

Быть может, есть хоть что-нибудь, что ценно

В твоих глазах?

М а н ф р е д. О, нет! Но пред разлукой

Мне хочется увидеть вас.. Я слышу

Печальные и сладостные звуки,

Я вижу яркую недвижную звезду,

Но дальше — мрак. Предстаньте предо мною,

Один иль все, в своем обычном виде.

Д у х. Мы не имеем образов — мы души

Своих стихий. Но выбери любую

Из форм земных — и примем мы ее.

М а н ф р е д. Нет ничего на всей земле, что б было

Отраднo мне иль ненавистно. Пусть

Сильнейший между вами примет образ,

Какой ему пристойнее.

С е д ь м о й д у х (*появляясь в образе прекрасной женщины*).

Смотри!

М а н ф р е д. О боже! Если ты не наважденье

И не мечта безумная, я мог бы

Опять изведать счастье. О, приди,

Приди ко мне, и снова...

Призрак исчезает.

Я раздавлен!

Падает без чувств.

Г о л о с (*произносящий заклинание*).

В час, когда молчит волна,

Над волной горит луна,

Под кустами — светляки,

Над могилой огоньки;

В час, когда сова рыдает,

Метеор скользя блистает

В глубине ночных небес,

И недвижим темный лес —

Властью, силой роковой

Овладею я тобой.

Пусть глубок твой будет сон —

Не коснется духа он.

Есть зловещие виденья,

От которых нет спасенья:

Тайной силою пленен,
В круг волшебный заключен,
Ты нигде их не забудешь,
Никогда один не будешь —
Ты замрешь навеки в них, —
В темных силах чар моих.
И проклятья вещей глас
Уж изрек в полночный час
Над тобой свой приговор:
В ветре будешь ты с тех пор
Слышать только скорбный стон;
Ночью, скорбью удручен,
Будешь солнца жаждать ты;
Но едва из темноты
Выйдет солнце над тобой —
Будешь ночи ждать с тоской.
Я в слезах твоих нашла
Яд холодный лжи и зла,
В сердце, полном мук притворных,
Кровь, чернее ядов черных.
Сорвала я с уст твоих
Талисман тлетворный их —
Твой коварно-тихий смех,
Как змея, пленявший всех.
Все отравы знаю я —
И сильнее всех — твоя.
Лицемерием твоим,
Сердцем жестким и сухим,
Лживой нежностью очей,
Злостью, скрытою под ней,
Равнодушным безучастьем
К братским горестям, несчастьям,
И умением свой яд,
Свой змеино-жадный взгляд
Глубоко сокрыть в себя —
Проклинаю я тебя!
Изливаю над тобой
Уготованный судьбой,
Роковой фиал твоих
Мук и горестей земных:
Ни забвенья, ни могилы
Не найдет твой дух унылый;
Заклинаньем очарован
И беззвучной цепью скован,
Без конца томись, страдай
И в страданьях — увядай!

Сцена вторая

Гора Юнгфрау.— Утро.— Манфред, один на утесах.

Манфред. Сокрылись духи, вызванные мной,
Не принесли мне облегченья чары,
Не помогла наука волшебства.
Я уж не верю в силы неземные,
Они над прошлым власти не имеют,
А что мне до грядущего, покуда
Былое тьмой покрыто? — Мать Земля!
Ты, юная денница, вы, о горы,
Зачем вы так прекрасны? — Не могу
Я вас любить. — И ты, вселенной око,
На целый мир отверстое с любовью,
Ты не даешь отрады только мне!
Вы, груды скал, где я стою над бездной
И в бездне над потоком различаю
Верхи столетних сосен, превращенных
Зияющей стремниною в кустарник, —
Скажите мне, зачем над ней я медлю,
Когда одно движенье, лишний шаг
Навеки успокоили бы сердце
В скалистом ложе горного потока?
Оно зовет — но я не внемлю зову,
Оно страшит — но я не отступаю,
Мутит мой ум — и все же я стою:
Есть чья-то власть, что жизнь нам сохраняет,
Что заставляет жить нас, если только
Жить значит пресмыкаться на земле
И быть могилой собственного духа,
Утратив даже горькую отраду —
Оправдывать себя в своих глазах!

Пролетает орел.

Могучий царь пернатых, сын эфира,
Превыше туч парящий в поднебесье,
О, если бы мне быть твоей добычей
И пищей для орлят твоих! В лазури
Чернеешь ты, и я тебя чуть вижу,
Меж тем как ты и вниз, и вверх, ивширь
Пронзаешь взором воздух! — Как прекрасен,
Как царственно-прекрасен мир земной,
Как величав во всех своих явленьях!
Лишь мы, что назвались его царями,
Лишь мы, смешенье праха с божеством,
Равно и праху чуждые и небу,

Мрачим своею двойственной природой
Его чело спокойное, волнуясь
То жаждою возвыситься до неба,
То жалкою привязанностью к праху,
Пока не одолеет прах, и мы
Не станем тем, чего назвать не смеем,
Что нам внушает ужас.— Чу, свирель!

Вдали слышна свирель пастуха.

Патриархально-сладостные звуки
Далеко раздаются по ущельям,
Сливаясь с колокольчиками стад,
И жадно я внимаю им.— О, если б
Я был незримым духом этих звуков,
Гармонией свободной и живой,
Блаженством бестелесным, что родится,
Живет и умирает вместе с ними!

Снизу поднимается охотник за сернами.

О х о т н и к. Да, серна здесь промчалась! Но куда?
Как на смех промелькнула и пропала!
Боюсь, что не окупится сегодня
Мой тяжкий труд.— Но кто это вдали?
Он с виду не охотник, а поднялся
На высоту, которой достигают
Лишь лучшие охотники. На нем
Богатый плащ, он мужественно-строен
И горд, как сын свободного народа.
Пойду к нему.

М а н ф р е д (*не замечая охотника*). До срока поседеть
От скорбных дум, подобно этим жалким
Обломкам сосен, бурей искривленным,
Погубленным одною зимней вьюгой,—
И быть таким, с тоскою вспоминая
Иные дни, и на челе носить
Морщины, что оставили не годы,
А лишь мгновенья,— тяжкие мгновенья,
Ужасные, как вечность! Вы, лавины!
Вы, глыбы льдов! Обрушьте на меня
И поглотите жизнь мою! Я слышу
Ваш непрестанный грохот, но, свергаясь,
Вы губите лишь то, что жаждет жизни:
Цветущий лес иль мирные селенья.

О х о т н и к. С долины поднимаются туманы.
Скажу ему, что нам пора спускаться,
Не то он здесь останется навеки.

М а н ф р е д. Вкруг ледников дымится мгла и пахнет
Горящей серой; белыми клубами
К моим ногам всползают облака,
Как пена из пучины преисподней.
С тех жадных волн, что роют берег жизни,
Обремененный грешными, как щепнем.—
Я задыхаюсь.

О х о т н и к. Он едва стоит:
Мне нужно подойти к нему тихонько,—
Иначе он сорвется.

М а н ф р е д. С тяжким гулом
Обрушивались горы, прорывая
Ткань облаков и сотрясая Альпы,
Загромождали грудами обломков
Зеленые цветущие долины,
Запруживали реки, низвергаясь,
И в пыль и мглу их воды раздробляли.
Так некогда пал Розенберг.— Зачем
Я не стоял тогда в его долинах?

О х о т н и к. Приятель, осторожней! Лишний шаг —
И ты простишься с жизнью. Ради бога,
Отдвинься от обрыва.

М а н ф р е д (*не слыша охотника*). Как спокойно
Уснул бы я! Мой прах не стал бы жалкой
Игрушкой ветра, не был бы развеян
По скалам и утесам. А теперь —
Простите, небеса! О, не глядите
Вы на меня с такою укоризной —
Не для меня вы созданы.— Земля!
Прими меня!

Делает движение броситься со скалы, но охотник внезапно схватывает
и удерживает его.

О х о т н и к. Остановись, безумец!
Не оскверняй долин преступной кровью —
Иди за мной — я не пушу тебя!

М а н ф р е д. Как тяжело мне! — Нет, не держи так
крепко —
Я изнемог — кружась, мелькают горы —
В глазах туман. Зачем ты здесь и кто ты?

О х о т н и к. Скажу, скажу.— Теперь идем — все тонет
В тумане — опирайся на меня —
Стань вот сюда — сюда — и придержишь
За этот куст — дай руку и покрепче
Возьми меня за пояс — легче! — так.
Теперь смелей — недалеко до дома —

Мы выберемся скоро на тропинку,
Прорытую ручьями.— Прыгай — славно!
Да ты любому горцу не уступишь!

Медленно спускаются по скалам.

АКТ ВТОРОЙ

Сцена первая

Хижина в Бернских Альпах.

Манфред и охотник.

Охотник. Нет, подожди — тебе еще опасно
Пускаться в путь: ты слишком изнемог,
Ты слаб еще и телом и душою.
Вот отдохнешь — тогда мы и пойдем.
Где ты живешь?

Манфред. Дорога мне известна.
Я в провожатом больше не нуждаюсь.

Охотник. По виду твоему я замечаю,
Что ты из тех, чьи замки так угрюмо
Глядят со скал на хижины в долинах.
Который твой? Я знаю в них лишь входы,
Мне изредка доводится погреться
У очагов их старых темных зал,
За чашей, меж вассалов, но тропинки,
Что с гор ведут к воротам этих замков,
Известны мне с младенчества. Где твой?

Манфред. Не все ль равно?

Охотник. Ну, хорошо, не хмурься,
Прости за спрос. Отведаем вина.
Старинное! Не раз отогревало
Оно меня среди наших ледников —
Теперь пускай тебя согреет.— Выпьем!

Манфред. Прочь от меня! — На кубке крови! —
О боже,

Ужели *никогда* она не сгинет?

Охотник. Какая кровь? Ты бредишь?

Манфред. Наша кровь!

Та, что текла в сердцах отцов и в наших,
Когда мы были юны и любили
Так горячо, как было грех любить,
Та, что встает из праха, обагряя
Мрак, заступивший небо предо мною,
Где нет тебя, а мне не быть — вовеки.

Охотник. Ты странный и несчастный человек;

- Но каковы бы ни были страдания,
Каков бы ни был грех твой, есть спасенье:
Терпение, смиренность и молитва.
- М а н ф р е д. Терпение! — Нет, не для хищных птиц
Придумано терпение: для мулов!
Прибереги его себе подобным,—
Я из другой породы.
- О х о т н и к. Боже мой!
Да я б не взял бессмертной славы Телля,
Чтоб быть тобой. Но повторяю: в гнев
Спасенья нет; неси свой крест покорно.
- М а н ф р е д. Я и несу. Ведь я живу — ты видишь.
- О х о т н и к. Такая жизнь — болезненные корчи.
- М а н ф р е д. Я говорю — я прожил много лет
И долгих лет, но что все это значит
Пред тем, что суждено мне: я столетья,
Я вечность должен жить в неугасимой
И тщетной жажде смерти!
- О х о т н и к. Как! Но ты
Совсем не стар: ты средних лет, не больше.
- М а н ф р е д. Ты думаешь, что наша жизнь зависит
От времени? Скорей — от нас самих.
Жизнь для меня — безмерная пустыня,
Бесплодное и дикое побережье,
Где только волны стонут, оставляя
В нагих песках обломки мачт да трупы,
Да водоросли горькие, да камни!
- О х о т н и к. Увы, он сумасшедший! Без призора
Его нельзя оставить.
- М а н ф р е д. О, поверь,—
Я был бы рад безумию; тогда бы
Все, что я вижу, было бы лишь бредом.
- О х о т н и к. Что ж видишь ты, иль думаешь, что
видишь?
- М а н ф р е д. Тебя, сын гор, и самого себя,
Твой мирный быт и кров гостеприимный,
Твой дух, свободный, набожный и стойкий,
Исполненный достоинства и гордый,
Затем что он и чист и непорочен,
Твой труд, облагороженный отвагой,
Твое здоровье, бодрость и надежды
На старость безмятежную, на отдых
И тихую могилу под крестом,
В венке из роз.— Вот твой удел. А мой —
Но что о нем — во мне уж все убито!
- О х о т н и к. И ты б со мною долей поменялся?

М а н ф р е д. Нет, друг, я не желаю зла тебе,
Я участью ни с кем не поменяюсь:
Я удручен, но все же выношу
То, что другому было б не под силу
Перенести не только наяву,
Но даже в сновиденьи.

О х о т н и к. И с такую
Душой, высокой, нежной, быть злодеем.
Кровавой мстью тешиться? — Не верю!

М а н ф р е д. О, нет — нет — нет! Я только тех губил,
Кем был любим, кого любил всем сердцем,
Врагов я поражал, лишь защищаясь,
Но гибельны мои объятия были.

О х о т н и к. Пусть небо ниспошлет тебе покой
И покаянья сладостные слезы!
Я буду поминать тебя в молитвах.

М а н ф р е д. Я не нуждаюсь в них; но состраданья
Отвергнуть не могу.— Я ухожу —
Пора — прости! Вот золото — ты должен
Его принять.— Не провожай меня —
Путь мне знаком, опасность миновала —
Еще раз говорю — не провожай!

С ц е н а в т о р а я

Нижняя долина в Альпах.— Водопад.

М а н ф р е д. Еще не полдень: радуга сияет
В потоке всеми красками небес,
И серебром блистает столп потока,
Свергаясь с высоты и развеваясь
Вдоль скал струями пены светозарной,
Как хвост коня-гиганта, на котором
В виденьи Иоанна мчится Смерть.
Один я упиваюсь этой дивной
Игрою вод, и сладость созерцанья
Я разделю в тиши уединенья
Лишь с феей гор.— Я вызову ее.

Зачерпывает на ладонь воды и бросает ее в воздух, вполголоса произнося закличания. Под радугой водопада появляется фея Альп.

Прелестный дух, чьи кудри лучезарны,
Чьи очи ослепительны, как солнце,
На чьих ланитах краски так же нежны,
Как цвет ланит уснувшего младенца,
Как алый отблеск летнего заката

На горных льдах,— как девственный румянец
Земли, в объятья неба заключенной!
Прелестный дух, затмивший красоту
Блеск радуги, горящей над потоком,
Дочь Воздуха! Я на твоём челе
В твоём спокойном и безгрешном взоре,
Где светит мир твоей души бессмертной,
С отрадою прочел, что Сын Земли,
Которому таинственные силы
Дозволили вступать в беседы с ними,
Прощен тобой за то, что он дерзнул
Воззвать к тебе и на одно мгновенье
Узреть твой лик.

Ф е я. Я знаю, Сын Земли,
Тебя и тех, кем награжден ты властью.
Ты человек, свершивший в жизни много
Добра и зла, не ведая в них меры,
И роком на страданья обреченный.
Я этого ждала — чего ты хочешь?

М а н ф р е д. Взирать на красоту твою — и только,
Лицо земли мой разум помрачило,
Я в мире тайн убежища искал,
В жилище тех, кто ею управляет,
Но помощи не встретил. Я пытался
Найти в них то, чего они не могут
Мне даровать,— теперь уж не пытаюсь.

Ф е я. Но что же то, пред чем бессильны даже
Властители незримого?

М а н ф р е д. Ты знаешь,
Нет цели повторять.

Ф е я. Мне непонятны
Твои слова,— я мук твоих не знаю.
Открой мне их.

М а н ф р е д. Мне это будет пыткой,
Но все равно,— душа таить устала
Свою тоску. От самых юных лет
Ни в чем с людьми я сердцем не сходилась
И не смотрел на землю их очами;
Их цели жизни я не разделял,
Их жажды честолюбия не ведал,
Мои печали, радости и страсти
Им были непонятны. Я с презреньем
Взирал на жалкий облик человека,
И лишь одно среди созданий праха,
Одно из всех — но после. Повторяю:
С людьми имел я слабое общенье,

Но у меня была иная радость,
Иная страсть: Пустыня. Я с отрадой
Дышал морозной свежестью на льдистых
Вершинах гор, среди нагих гранитов,
Где даже птицы гнезд свивать не смеют;
Я упивался юною отвагой
В борьбе с волнами шумных горных рек
Иль с бешеным прибоем океана;
Я созерцал с заката до рассвета
Течение звезд, я жадными очами,
До слепоты, ловил блистанье молний,
Иль по часам внимал напевам ветра,
В осенний день, под шум поблекших листьев.
Так дни текли, и я был одинок;
Когда же на пути моем встречался
Один из тех, чей ненавистный образ
Ношу и я,— я чувствовал, что свергнут
С небес во прах. И я проник в могилы,
Стремясь постичь загробный мир, и много
Извлек в те дни я дерзких заключений
Из черепов, сухих костей и тлена.
Я предался таинственным наукам,
Что знали только в древности, и годы
Моих трудов и тяжких испытаний
Мне дали власть над духами, открыли
Передо мной лик Вечности, и властен
Я стал, как маг, как чародей, что вызвал
В Гадаре Антэроса и Эроса,
Как я тебя; и знания мои
Во мне будили жажду новых знаний,
И креп я в них, покуда...

Ф е я. Продолжай.

М а н ф р е д. О, я не даром длил рассказ: мне больно
Произнести признание роковое.
Но далее. Я не назвал ни друга,
Ни матери, ни милой — никого
Из тех, с кем нас связуют цепи жизни:
Я их имел, но был им чужд душою,
И лишь одна, одна из всех...

Ф е я. Мужайся.

М а н ф р е д. Она была похожа на меня.
Черты лица, цвет глаз, волос и даже
Тон голоса — все родственно в нас было,
Хотя она была прекрасна. Нас
Сближали одинаковые думы,
Любовь к уединению, стремленья

К таинственным познаниям и жажда
Обнять умом вселенную, весь мир;
Но ей не чуждо было и другое:
Участье к людям, слезы и улыбки,—
Которых я не ведаю,— смиренность,—
Моей душе не сродное,— и нежность,
Что только к ней имел я; недостатки
Ее природы были и моими,
Достоинства лишь ей принадлежали.
Я полюбил и погубил ее!

Ф е я. Своей рукой?

М а н ф р е д. Нет, не рукою — сердцем,
Которое ее разбило сердце:
Оно в мое взглянуло и увяло;
Я пролил кровь, кровь не ее, и все же
Была пролита кровь ее.

Ф е я. И ради
Одной из тех, кого ты презираешь,
Над кем ты мог возвыситься, дерзая
Быть равным нам, ты пренебрег дарами
Властителей незримого и снова
Унизился до жалких смертных! Прочь!

М а н ф р е д. Дочь Воздуха! Я говорю: я вынес —
Но что слова? Взгляни, как я измучен!
Я больше одиночества не знаю,
Я окружен толпою фурий; ночью
Я скрежещу зубами, проклиная
Ночную тьму, днем — проклиная день
Безумия, как милости, молил я,
Но небеса мольбам не внемлют; к смерти
Стремился я, но средь борьбы стихий
Передо мною волны отступают
И прочь бегут; какой-то злобный демон
На волоске меня над бездной держит —
И волосок не рвется; в мире грез,
В фантазии,— я был когда-то ею
Богат, как Крез,— пытался я сокрыться,
Но, как волну в отлив, меня уносит
Из мира грез в пучину темной мысли;
С людской толпой сливался я — забвенья
Искал везде, но от меня сокрыты
Пути к нему: все знания, все чары,
Что добыл я столь тяжкими трудами,
Бессильны здесь, и, в безысходной скорби,
Я должен жить — жить без конца.

Ф е я. Быть может,
 Я помогу тебе.
 М а н ф р е д. О, помоги!
 Заставь ее восстать на миг из гроба,
 Иль мне открой могилу! Я с отрадой
 Перенесу какую хочешь муку,
 Но только пусть она последней будет.
 Ф е я. Над мертвыми бессильна я; но если
 Ты поклянешься мне в повиновении —
 М а н ф р е д. Не поклянусь.— Повиноваться? Духам,
 Которые подвластны мне? Служить
 Своим рабам? О, никогда!
 Ф е я. Ужели
 Иного нет ответа?— Но подумай,
 Не торопись.
 М а н ф р е д. Я все сказал.
 Ф е я. Довольно!
 Могу ль я удалиться?
 М а н ф р е д. Удались.

Фея исчезает.

Мы все — игрушки времени и страха.
 Жизнь — краткий миг, и все же мы живем,
 Клянем судьбу, но умереть боимся.
 Жизнь нас гнетет, как иго, как ярмо,
 Как бремя ненавистное, и сердце
 Под тяжестью его изнемогает;
 В прошедшем и грядущем (настоящим
 Мы не живем) безмерно мало дней,
 Когда оно не жаждет втайне смерти,
 И все же смерть ему внушает трепет,
 Как ледяной поток. Еще одно
 Осталось мне — воззвать из гроба мертвых,
 Спросить у них: что нас страшит? Ответить
 Они должны: волшебнице Эндора
 Ответил дух пророка; Клеоника
 Ответила спартанскому царю,
 Что ждет его — в неведении убил он
 Ту, что любил, и умер непощенным,
 Хотя взывал к Зевесу и молил
 Тень гневную о милости; был темен
 Ее ответ, но все же он сбылся.
 Когда б я не жил, та, кого люблю я,
 Была б жива; когда б я не любил,
 Она была бы счастлива и счастье
 Другим дарила. Где она теперь?

И что она? Страдалица за грех мой —
То, что внушает ужас — иль ничто?
Ночь близится — и ночь мне все открывает,
Хоть я страшусь того, на что дерзаю;
До сей поры без трепета взирал я
На демонов и духов — отчего же
Дрожу теперь и чувствую, как в сердце
Какой-то странный холод проникает?
Но нет того, пред чем я отступил бы,
И я сломлю свой ужас. — Ночь идет.

Сцена третья

Вершина горы Юнгфрау.

Первая парка. Луна встает большим багряным шаром.

На высоте, где ни единый смертный
Не запятнал снегов своей стопой,
Слетаемся мы ночью. В диком море,
В хрустальном океане горных льдов,
Мы без следа скользим по их изломам,
По глыбам, взгроможденным друг на друга,
Подобно бурным пенистым волнам,
Застывшим посреди водоворота,
И вот на этой сказочной вершине,
Где отдыхают тучи мимоходом,
Сбираемся на игрища и бденья.
Сегодня в полночь — наш великий праздник,
И, на пути к чертогам Аримана,
Я жду сестер. — Но что они так медлят?

Г о л о с (*поющий вдалеке*).

Злодей венценосный,
Низвергнутый в прах,
Томился в изгнании,
В забвеньи, в цепях.
Я цепи разбила,
Расторгла тюрьму, —
Я власть и свободу
Вернула ему:

Потоками крови он землю зальет,
Народ свой погубит — и снова падет!

В т о р о й г о л о с. Плыл в море корабль,

точно птица летел:

В эту ночь ему горестный выпал удел.
Ни мачт, ни снастей, ни ветрил, ни руля —

Ничего от него не оставила я.
Один лишь пловец,— он достоин того,—
До побережья достиг,— я щадила его:
Предатель, пират, снова будет он жить,
Чтоб мне своей темною жизнью служить.

Первая парка (отвечая).

Спокойно спал город,—
В слезах и тревоге
Увидит он утро:
Медленно, мрачно
Чума распростерла
Над городом крылья.
Тысячи пали,
И тысячи тысяч
Падут пред всеильной.
Живые погибших,—
Любимых и милых,—
Покинут, спасаясь
От призрака смерти.
Ужас и злоба,
Скорбь и смятенье
Охватят людей.
Блаженны почившие,
Взор отворотившие
От кары моей!

Входят вторая и третья парки.

Все три. В руках у нас — сердца людей,
Наш след — их темные могилы.
Лишь для того, чтоб отнимать,
Даем мы смертным жизнь и силы.

Первая парка. Привет! — Где Немезида?

Вторая парка. На работе,

Но на какой — не знаю: я сама
Не покладала рук до сей минуты.

Третья парка. Да вот она.

Входит Немезида.

Первая парка. Все нынче опоздали.

Где ты была?

Третья парка. Женила дураков,
Восстанавливала падшие престолы
И укрепляла близкие к паденью;
Внушала людям злобу, чтоб потом
Раскаяньем их мучить; превращала
В безумцев мудрых, глупых — в мудрецов,

В оракулов, чтоб люди преклонялись
Пред властью их и чтоб никто из смертных
Не смел решать судьбу своих владык
И толковать спесиво о свободе,
Плоде, для всех запретном.— Но пора!
На облака — и в путь! Мы опоздали.

С ц е н а ч е т в е р т я я

Чертог Аримана. — Ариман на троне — огненном шаре, окруженном духами.

Г и м н д у х о в. Хвала ему, — хвала царю эфира,
Царю земли и всех земных стихий,
Кто повергает целый мир в смятенье
Единым мановением руки!
Дохнет ли он — бушуют океаны,
Заговорит — грохочет в небе гром,
Уронит взор — на небе солнце меркнет,
Восстанет — сотрясается земля.
В пути ему предшествуют кометы,
Вослед ему — вулканы мечут огонь,
И гнев его сжигает звезды в пепел,
И тень его — всесильная Чума.
Война ему, что день, приносит жертвы,
Смерть платит дань, и Жизнь, его раба,
К его стопам смиренно полагает
Весь ужас мук и горестей земных!

Входят парки и Немезида

П е р в а я п а р к а. Восславьте Аримана! На земле
Растет его могущество — покорно
Исполнили мы волю Аримана!

В т о р а я п а р к а. Восславьте Аримана! Мы, пред кем
Склоняет выю смертный, преклоняем
Свое чело пред троном Аримана!

Т р е т ь я п а р к а. Восславьте Аримана! Преклоняясь,
Мы ждем его велений.

Н е м е з и д а. Царь царей!
Все, что живет, что существует — наше,
А мы — твои. Но, чтобы наша власть
Могла расти, твою усугубляя,
Наш долг быть неустанными в трудах,
И мы свой долг исполнили: мы свято
Свершили все, что повелел ты нам.

Входит Манфред.

Дух. Что вижу я? Безумец, жалкий смертный!

Пади во прах.

Второй дух. Я узнаю его.

Он грозный и могучий чернокнижник.

Третий дух. Повергнись ниц и трепещи,
презренный!

Перед тобой — и твой и наш владыка.

Ужели ты не видишь?

Сонм духов. Сын Земли!

Прострись во прах пред троном Аримана,

Иль горе непокорному!

Манфред. Я знаю,

И все же не гну колен.

Четвертый дух. Тебя научат.

Манфред. Напрасный труд. Не раз во мраке ночи

Во прах я повергал свое чело,

Главу посыпав пеплом. Не однажды

Изведал я всю горечь униженья,

Пред собственным отчаяньем склоняясь,

Пред собственною скорбью.

Первый дух. Ты дерзаешь

Восстать на Аримана? Отказать

Владыке в том, что воздаст покорно

Ему весь мир? Не трепетать — и где же?

Пред ужасом величия и славы,

Пред троном Аримана? Ниц, безумный!

Манфред. Пусть *Ариман* воздаст хвалу Творцу,

Кем создан он не ради поклоненья.

Пусть он склонит главу: мы вместе

Склоним тогда.

Духи. Раздавим червяка!

Растопчем!

Первая парка. Прочь! — Владыка сил незримых,

Перед тобою смертный, не похожий

Ни на кого из смертных, как об этом

Свидетельствует вид его и то,

Что он перед тобой. Его страданья

Бессмертны, как и наши; знанья, воля

И власть его, поскольку совместимо

Все это с бренным прахом, таковы,

Что прах ему дивится; он стремился

Душою прочь от мира и постигнул

То, что лишь мы, бессмертные, постигли:

Что в знании нет счастья, что наука —

Обмен одних незнаний на другие.

Но я еще не все сказала: страсти,

Всесильные и на земле и в небе
Над всем, что только существует в мире,
Так истерзали грудь его, что я,
Не знающая жалости, прощаю
Того, в чьем сердце жалость он пробудит.
Он мой — иль твой — но ни один из духов
Не равен с ним и им владеть не будет.

Не мезида. Зачем он здесь?

Первый дух.

Пусть смертный сам

ответит.

Манфред. Вы знаете, что властен я, — без власти

Я б не был здесь, — но мне не все покорно.

Я помощи прошу у вас.

Не мезида.

Скажи,

Что хочешь ты?

Манфред.

Заставь восстать усопших.

Не мезида. Великий Ариман! Что повелишь мне?

Дозволишь ли?

Ариман.

Да будет так.

Не мезида.

Кто должен

На мой призыв покинуть мрак могилы?

Манфред. В земле непогребенная — Астарта.

Не мезида. Дух, или Призрак!

Ты, что была

Создана прахом

И в прах отошла;

Ты, что утратила

Облик земной, —

В облике смертном

Восстань предо мной!

Сердце и очи,

Голос и лик

Вырви из жадной

Могилы на миг!

Восстань! Восстань от сени гробовой!

Тебя зовет убийца твой!

Призрак Астарты появляется среди чертога.

Манфред. И это смерть? Румянец на ланигах!

Но не живой он, — странный и зловещий,

Как тот, что рдеет осенью на листьях.

Астарта! — Нет, я говорить не в силах,

Вели заговорить ей: пусть она

Простит иль проклянет меня.

Не мезида. Дух, ответствуй! Заклинаю

Властью неземной,

Тайной силой, что расторгла
Плен могильный твой!

М а н ф р е д. Молчанье!
Оно страшней ответа.

Н е м е з и д а. Я свершила
Все, что могла. Великий Ариман,
Тебе лишь покорится призрак: повели ей
Открыть уста.

А р и м а н. Дух, говори!
Н е м е з и д а. Молчанье!
Бессильны мы,— над нею власть имеют
Другие духи. Смертный, покорись
Своей судьбе.

М а н ф р е д. Услышь меня, Астарта!
Услышь меня, любимая! Ответь мне!
Я так скорбел, я так скорблю — ты видишь:
Тебя могила меньше изменила,
Чем скорбь меня. Безумною любовью
Любили мы: нам жизнь была дана
Не для того, чтоб мы терзались вечно,
Хотя любить, как мы с тобой любили,—
Великий грех. Скажи, что ты меня
Простила за страданья, что терплю я
Мученье за обоих, что за гробом
Тебя ждет рай, и что умру и я.
Все силы тьмы против меня восстали,
Чтоб к жизни приковать меня навеки,
Чтоб я перед бессмертьем содрогался,
Пред будущим, что может быть подобно
Прошедшему. Мне нет нигде покоя.
Чего ищу, к чему стремлюсь — не знаю,
Лишь чувствую, что ты и что я сам.
Пред гибелью хоть раз мне дай услышать
Твой голос сладкозвучный: отзовись!
Я звал тебя среди безмолвья ночи,
Я спящих птиц будил среди ветвей,
Зверей в горах, и темные пещеры
На тщетный зов, на сладкий звук: Астарта!
Мне отвечали эхом,— духи, люди
Внимали мне — лишь ты одна не внемлешь!
О, говори! Я жадными очами
Искал тебя среди небесных звезд.
О, говори! Я исходил всю землю
И не нашел нигде тебе подобной.
Взгляни вокруг — мне бесы сострадают,
Я вижу ад, но полон лишь тобою.

О, говори!.. О, говори хоть в гневе,
Но только дай хоть раз тебя услышать,
Хоть только раз!
П р и з р а к А с т а р т ы. Манфред!
М а н ф р е д. О, не смолкай!
Вся жизнь моя теперь лишь в этих звуках!
П р и з р а к. Манфред! Заутра ты покинешь землю.
Прости!
М а н ф р е д. О, нет! Скажи, что ты простила.
П р и з р а к. Прости!
М а н ф р е д. Скажи — увидимся ли снова?
П р и з р а к. Прости!
М а н ф р е д. О, пощади: скажи, что любишь!
П р и з р а к. Манфред!

Исчезает.

Н е м е з и д а. Ушла — и вновь ее не вызывать.
Вернись к земле. Слова ее свершатся.
Д у х. Он потрясен. Кто смертен, тот не должен
Искать того, что за пределом смерти.
В т о р о й д у х. Да, но взгляни, как он собой владеет,
Свои мученья воле подчиняя!
Когда б он был одним из нас, он был бы
Могучий дух.
Н е м е з и д а. Быть может, ты желаешь
Спросить еще о чем-нибудь?
М а н ф р е д. О, нет.
Н е м е з и д а. Тогда прости на время.
М а н ф р е д. Разве снова
Мы встретимся? И где же? На земле?
Но все равно. Я твой должник. Простите!

АКТ ТРЕТИЙ

Сцена первая

Зала в замке Манфреда.
М а н ф р е д и Г е р м а н.

М а н ф р е д. Который час?
Г е р м а н. Час до заката солнца,
И вечер обещает быть прелестным.
М а н ф р е д. Скажи, ты все ли приготовил в башне,
Как я велел?
Г е р м а н. Все, господин, готово.
Вот ключ и вот шкатулка.

М а н ф р е д.
Теперь иди.

Хорошо.

Герман уходит.

М а н ф р е д. Мир снизошел мне в душу,
Мир, мне еще неведомый донныне
И непонятный. Если б я не знал,
Что самое обманчивое в мире —
Химеры философских измышлений,
Что мудрость их — пустейшая из фраз
В учено-схоластическом жаргоне,
Я, кажется, охотно бы поверил,
Что золотые грезы о Калоне
Уже сбылись, что я его сыскал
В себе самом. Мой мир недолговечен,
Но все же хорошо его изведать
Хотя однажды. Нужно записать,
Что есть такое ощущение... Кто там?

Входит Герман.

Г е р м а н. Аббат Св. Мориса.

Входит аббат.

А б б а т. Мир дому!
М а н ф р е д. Благодарю, святой отец! Да будет
Для замка твой приход благословеньем.
А б б а т. Дай бог, чтоб было так! Но я желал бы
Поговорить глаз на глаз.
М а н ф р е д. Выйди, Герман.
Что скажет мой достопочтенный гость?
А б б а т. Скажу без предисловий: сан, седины,
Желание добра тебе и наше
Давнишнее соседство, хоть знакомы
И не были с тобою мы, дают мне
На это право. Странный и ужасный
Пронесся слух, и этот слух позорит
Твое, граф, имя,— доблестное имя,
Которое ты должен для потомства
Таким же и оставить.
М а н ф р е д. Продолжай.
Я слушаю.
А б б а т. Ты, говорят, предался
Греховным и таинственным наукам,
Вступил в союз с сынами преисподней,
С нечистой силой демонов и бесов,
Блуждающих в долине сени смертной.

С людьми, своими братьями по духу.
Общаешься ты редко, жизнь проводишь
В уединеньи: свято ли оно?

М а н ф р е д. Скажи, кто распускает эти слухи?

А б б а т. Мои благочестивые собратья,
Окрестный люд,— твои вассалы даже,
Что на тебя взирают с беспокойством.
Да мы и все за жизнь твою трепешем.

М а н ф р е д. Возьми ее.

А б б а т. Я прихожу спасать,
А не губить. Я не хочу касаться
Твоей души, но, если справедливы
Все эти слухи, верь, еще не поздно
Очиститься от скверны покаяньем
И примириться с церковью и небом.

М а н ф р е д. Я выслушал. И вот что я отвечу:

Кто б ни был я, но я не изберу
Посредником меж мной и небесами
Ни одного из смертных. Если я
Уставы нарушаю — покарайте.

А б б а т. Мой сын, я не о каре говорю,—
Я только призываю к покаянью.
Пусть наказует небо. «Мне отмщение»,
Сказал господь, и, со смиренным сердцем,
Раб господя, я только повторяю
Его глаголы грозные.

М а н ф р е д. Старик!
Ни власть святых, ни скорбь, ни покаянье,
Ни тяжкий пост, ни жаркие молитвы,
Ни даже муки совести, способной,
Без демонов, без страха пред геенной,
Преобразить в геенну даже небо,—
Ничто не в состоянии исторгнуть
Из недр души тяжелого сознанья
Ее грехов и сокровенной муки.
Та кара, что преступник налагает
Сам на себя, страшней и тяжелее
Загробных мук.

А б б а т. Я рад все это слышать,
Затем что все это должно смениться
Надеждой благодатной, что спокойно
Взирает на блаженную обитель,
Ее же всякий ищущий обрящет,
Коль скоро он покинет путь неправый.
Начало же спасения — сознанье
Ее необходимости. Покайся —

И все грехи, что отпустить я властен,
Я отпущу,— что преподать сумею,
Все преподам.

М а н ф р е д. Когда несчастный Нёрон,
Чтоб избегнуть мук позорной смерти
Перед лицом сенаторов, недавних
Его рабов, ударил в грудь кинжалом,
Какой-то воин, полный сострадания,
Прижал свой плащ к его смертельной ране,
Но Нерон оттолкнул его и молвил
С величием во взоре: «слишком поздно!»

А б б а т. К чему ты клонишь речь?
М а н ф р е д. Я отвечаю
На твой призыв к спасенью: слишком поздно!

А б б а т. Нет, никогда не поздно примириться
С своей душой, а чрез нее и с небом.
Иль у тебя нет никаких надежд?
Ведь даже те, что в небеса не верят,
Живут какой-нибудь земной мечтой,
Прильнувши к ней, как тонуший к тростинке.

М а н ф р е д. О, да, отец, и я лелеял грезы,
И я мечтал на утре юных дней:
Мечтал быть просветителем народов,
Достичь небес — зачем? Бог вест! быть может,
Лишь для того, чтоб снова пасть на землю,
Но пасть могучим горным водопадом,
Что, с высоты заоблачной свергаясь
В дымящуюся бездну, восстает
Из бездны в высь туманами и снова
С небес стремится ливнем.— Все прошло
И все это был сон.

А б б а т. Но почему же?

М а н ф р е д. Я обуздать себя не мог; кто хочет
Повелевать, тот должен быть рабом;
Кто хочет, чтоб ничтожество признало
Его своим властителем, тот должен
Уметь перед ничтожеством смиряться,
Повсюду проникать и поспевать,
И быть ходячей ложью. Я со стадом
Мешаться не хотел, хотя бы мог
Быть вожаком. Лев одинок — я тоже.

А б б а т. Зачем не жить, не действовать иначе?

М а н ф р е д. Затем, что я всегда гнушался жизни.
Я не жесток; но я — как жгучий вихрь,
Как пламенный самум, что обитает
Лишь в тишине пустынь и одиноко

Кружит среди ее нагих песков,
В ее бесплодном, диком океане.
Он никого не ищет, но погибель
Грозит всему, что встретит он в пути.
Так жил и я; и тех, кого я встретил
На жизненном пути,— я погубил.

А б б а т. Увы! Я начинаю опасаться,
Что я тебе помочь уже не в силах.
Но ты еще так молод, я хотел бы...

М а н ф р е д. Святой отец! Есть люди, что стареют
На утре дней, что гибнут, не достигнув
До зрелых лет,— и не случайной смертью;
Иных пороки, иных науки губят,
Иных труды, иных томленья скуки,
Иных болезнь, безумье, а иных —
Душевные страдания и скорби.
Страшнее нет последнего недуга:
Все имена, все формы принимая,
Он требует гораздо больше жертв,
Чем значится в зловещих списках Рока.
Вглядись в меня! Душевные недуги
Я все познал, хотя довольно б было
И одного. Так не дивись тому,
Что я таков, дивись тому, чем был я,
Тому, что я еще живу на свете.

А б б а т. Но выслушай...

М а н ф р е д. Отец, я уважаю
Твои года и звание; я верю,
Что ты пришел ко мне с благою целью,
Но ты предпринял тщетный труд. Быть грубым
Я не хочу,— я лишь тебя шажу,
А не себя, так резко обрывая
Наш разговор — и потому — прости!

Уходит.

А б б а т. Он мог бы быть возвышенным созданием.
В нем много сил, которые могли бы
Создать прекрасный образ, будь они
Направлены разумнее; теперь же
Царит в нем страшный хаос: свет и мрак,
Возвышенные помыслы — и страсти,
И все в смешеньи бурном, все мятется
Без цели и порядка; все иль дремлет,
Иль разрушенья жаждет: он стремится
К погибели, но должен быть спасен,

Затем что он достоин искупленья.
Благая цель оправдывает средства,
И я на все дерзну. Пойду за ним
Настойчиво, хотя и осторожно.

Сцена вторая

Другая комната.
Манфред и Герман.

Герман. Вы, господин, велели мне явиться
К вам на закате: солнце уж заходит.
Манфред. Да? — Я взгляну.

Подходит к окну.

Великое светило!
Бог первозданной, девственной природы!
Кумир могучих первенцев земли,
Не ведавших болезней, — исполинов,
Родившихся от ангелов и дев,
Сиявших красотой неизреченной!
Царь меж светил, боготворимый миром
От первых дней творения, вливавший
Восторг в сердца халдейских пастухов
И слышавший их первые молитвы!
Избранник неземного, что явило
В тебе свой светлый образ на земле!
Венец и средоточие вселенной,
Дающее небесную отраду
Всеми, что прозябает в дольном мире!
Владыка всех стихий и повелитель
Всех стран земных, повсюду положивший
Свои неизгладимые печати
На дух и облик смертных! Ты, что всходишь,
Свершаешь путь и угасаешь в славе!
Ты, видевшее некогда мой первый
Взор, полный изумленья и восторга!
Прости навеки, — прими мой взор последний!
В последний раз тебя я созерцаю;
Твои лучи уж больше никогда
Не озарят того, кому дар жизни
Был даром роковым. — Оно сокрылось;
Мой час настал.

Сцена третья

Горы.— В отдалении замок Манфреда.— Терраса перед башней.—
Сумерки.

Герман, Мануэль и другие слуги Манфреда.

Герман. Дивлюсь я графу: вот уж сколько лет
Все ночи он без сна проводит в башне —
И непременно в башне. Я бывал в ней,
Но по тому, что есть в ней, не решишь,
Чем занят он. Наверно, потайная
Есть комната, и сколько бы я отдал,
Чтоб только заглянуть в нее!

Мануэль. Напрасно.
Доволен будь и тем, что ты уж знаешь.

Герман. Ах, Мануэль, ты старше нас и мог бы
Порассказать нам многое о замке.
Когда ты поступил сюда?

Мануэль. Давно.
Я до рожденья графа был слугою
Его отца, с которым никакого
Он не имеет сходства.

Герман. Что ж, не редкость!

Мануэль. Я говорю не о чертах лица.
Граф Сигизмунд был горд, но прост и весел,
Любил пиры и битвы, а не книги,
Любил людей — и ночи превращал
Не в бдения угрюмые, а в праздник,
Да ведь какой! Он не блуждал, как волк,
По дебрям и ущельям, — не чуждался
Земных утех и радостей.

Герман. Проклятье!
Вот были времена! И неужели
Они уж не вернутся в эти стены,
Что смотрят так, как будто и не знали
Счастливых дней?

Мануэль. Пусть прежде переменят
Владельца эти стены. О, я видел
Немало в них диковинного, Герман!

Герман. Будь добр и расскажи хоть что-нибудь.
Мне помнится, что возле этой башни
Случилось что-то: ты мне намекал.

Мануэль. Был, видишь ли, точь-в-точь такой же
вечер,

Как и теперь: на Эйгере краснела
Точь-в-точь такая ж тучка; ветер дул
Порывистый, и снежные вершины

Уж заливала трепетным сияньем
Всходявшая луна; граф Манфред,
Как и теперь, был в башне; что он делал,
Бог весть,— но только с ним была
Та, что делила все его скитанья
И бдения полночные: Астарта,
Единственное в мире существо,
Которое любил он, что, конечно,
Родством их объяснялось...

Кто идет?

А б б а т. Где граф?

Герман. Вот в этой башне.

А б б а т. Постучись —

Мне нужно с ним поговорить.

Герман. Не смею

Я нарушать его уединенье.

А б б а т. Но мне его необходимо видеть,

Я на себя возьму твою вину.

Герман. Ведь ты его недавно видел.

А б б а т. Герман!

Ступай без рассуждений.

Герман. Я не смею.

А б б а т. Так я войду без всякого доклада.

Мануэль. Святой отец, постойте! Я прошу вас.

А б б а т. Но почему?

Мануэль. Пожалуйте сюда,—

Благоволите выслушать.

Сцена четвертая

Внутренность башни.

Манфред (*один*). Сверкают звезды,— снежные
вершины

Сияют в лунном свете.— Дивный вид!

Люблю я ночь,— мне образ ночи ближе,

Чем образ человека; в созерцаньи

Его спокойной, грустной красоты

Я постигаю речь иного мира.

Мне помнится,— когда я молод был

И странствовал,— в такую ночь однажды

Я был среди развалин Колизея,

Среди останков царственного Рима.

Деревья вдоль разрушенных аркад,

На синеве полуночной темнея,

Чуть колыхались по ветру, и звезды

Сияли сквозь руины; из-за Тибра
Был слышен лай собак, а из дворца —
Протяжный стон совы и, замирая,
Невнятно доносились с теплым ветром
Далекие напевы часовых.
В проломах стен, разрушенных веками,
Стояли кипарисы — и казалось,
Что их кайма была на горизонте,
А между тем лишь на полет стрелы
Я был от них.— Где Цезарь жил когда-то
И где теперь живут ночные птицы,
Уже не лавр, а дикий плющ растет
И лес встает, корнями укрепляясь
В священном прахе царских очагов,
Среди твердынь, сровнявшихся с землею.
Кровавый цирк стоит еще доньше,
Еще хранит в руинах величавых
Былую мощь, но Цезаря покои
И Августа чертоги уж давно
Поверглись в прах и стали грудой камня.
И ты, луна, на них свой свет лила,
Лишь ты одна смягчала нежным светом
Седую древность, дикость заустенья,
Скрывая всюду тяжкий след времен!
Ты красоты былой не изменяла,
Но осеняла новой красотой
Все, в чем она погибла, и руины
Казались священными, и сердце
Немым благоговеньем наполнялось
Перед немым величием древней славы,
Пред тем державным прахом, что доньше
Внушает нам невольный трепет.— Странно,
Что вспомнилась мне эта ночь сегодня;
Уже не раз я замечал, как дико
Мянутся наши мысли в те часы,
Когда сосредоточиться должны мы.

Входит а б б а т.

А б б а т. Я вновь к тебе непрощенным являюсь,
Но пусть мое смиренное стремление
Помочь тебе — не прогневит тебя:
Пусть все, что есть в нем темного, дурного,
Падет лишь на меня, а все благое —
Да осенит твою главу,— я страстно
Сказать хотел бы: *сердце!* Если б тронуть
Я мог его молитвой иль словами,

М а н ф р е д. Не ты судья грехам!
Карает ли преступника преступник?
Убийцу тать? Сгинь, адский дух! Я знаю,
Что никогда ты мной не овладеешь,
Я *чувствую* бессилие твое.
Что сделал я, то сделал; ты не можешь
Усилить мук, в моей груди сокрытых:
Бессмертный дух сам суд себе творит
За добрые и злые помышленья.
Меня не искушал ты и не мог
Ни искушать, ни обольщать,— я жертвой
Твоей доныне не был — и не буду.
Сгубив себя, я сам и покараю
Себя за грех. Исчадье тьмы, рассейтесь!
Я покоряюсь смерти, а не вам!

Д у х и исчезают.

А б б а т. Увы, ты страшен — губы посинели —
Лицо покрыла мертвенная бледность —
В гортани хрип.— Хоть мысленно покайся!
Молись — не умирай без покаянья!

М а н ф р е д. Все кончено — глаза застлал туман —
Земля плывет — колышется. Дай руку —
Прости навек.

А б б а т. Как холодна рука!
О, вымолви хоть слово покаянья!

М а н ф р е д. Старик! Поверь, смерть вовсе не страшна!

Умирает.

А б б а т. Он отошел — куда? — страшусь подумать —
Но от земли он отошел навеки.

НЕБО И ЗЕМЛЯ

МИСТЕРИЯ БАЙРОНА

Когда люди начали умножаться, сыны божи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены.

Быт. VI.

And woman wailling for her demon lover.
Coleridge.¹

Dramatis personae:

Духи: Рафаил. Самиаз. Азазиил.

Люди: Ной. Сим. Иафет. Ирад. Ана. Аголибама.

Хор Духов Земли.

Хор Смертных.

Сцена первая

Гористая, покрытая лесом местность близ Арарата.— Полночь.

Ана и Аголибама.

Ана. Отец уснул. Вот час, в который те,
Что любят нас, нисходят сквозь туманы
Скалистых гор. Как сильно бьется сердце!

Аголибама. Пора, начнем.

Ана. В тумане скрылись звезды.

Я вся дрожу.

Аголибама. И я — от нетерпенья.

Ана. Сестра, он мне дороже — о, гораздо
Дороже, чем... Но что со мной? Злой демон
Вошел в меня!

¹ И женщина оплакивает своего любовника-демона. Колридж (англ.).

А го ли ба ма. Любить слугу творца
Ужели зло?

А на. Но я, Аголибама,
Творца любила более до встречи
С его слугой. Права ли я,— не знаю,
Но вечный страх, рождающий так много
Тревог в душе,— зловещий знак!

А го ли ба ма. Тогда
Соедини судьбу свою со смертным,
Работай с ним. Вот Иафет: он любит
Тебя давно и сильно. Стань супругой,
Помощницей ему — и размножай
Ему подобных.

А на. Я Азазила
Любила бы не меньше, если б он
И смертным был. Мне только сладко думать,
Что он переживет меня. При мысли,
Что он крылом бессмертным осенит
Могильный холм над бедным чадом праха,
Его любившим тою же любовью,
Какой он бога любит, даже смерть
Не столь ужасна кажется. А все же
Мне жаль его: скорбь ангела должна
Быть вечною,— моя, по крайней мере,
Была бы вечной, будь я серафимом,
А он — потомком Евы.

А го ли ба ма. Он другую
Любить не меньше будет, чем теперь
Он любит Ану.

А на. Что ж, я предпочла бы,
Чтоб он с другой был счастлив, чем томился
Тоской о мертвой!

А го ли ба ма. Если бы и я
Так думала о страсти Самиаза,
Я на нее ответила б презреньем.
Но час настал. Пора.

А на. Азазиил!
Где б ни был ты в чертоге вечном,
Хотя бы сонмы звезд текли
От крыл твоих в пространстве бесконечном,
Явись! Внемли!
Ты предстоишь в числе семи, ты славен,
Но вспомни ту, кем ты любим,
Кому ты — *все* и с кем *ни в чем* не равен,
Кто создан всеблагим

Последней из лишенных рая!
 Ты разделяешь вечность с ним,
 Среди миров бесчисленных блуждая,
 Краса твоих небесных глаз
 Не омрачается слезами,
 И лишь любовь связует нас,
 Но вот, взгляни — никто под небесами
 Не плакал так и не любил,
 Как я люблю и плачу пред тобою!
 Тебе даровано судьбою
 Блаженствовать пред ликом бога Сил,
 Но отзовись! Внемли, Азазиил!
 Скажи, что близок мне как прежде,
 Затем, что жизнь моя — в одной
 Бессмертной сладостной надежде
 Любить и быть любимой тобой.
 Блаженство наше — сновиденья
 О кущах райского селенья,—
 Напомни их! Покинь свой горний пост,
 Повей на миг очарованьем
 И сонмам звезд
 Оставь сиять их собственным сияньем.
 А г о л и б а м а . О , С а м и а з !
 Услышь мой зов!
 Где б ни был ты в предвечном мире:
 Ведешь ли брань среди врагов
 Творца всех сил и всех миров,
 Благоволишь ли в райском клире
 Возвысить свой хвалебный глас,
 Иль отвращаешь страшный час
 Звезды, с пути сорвавшейся в эфире,—
 О , С а м и а з !
 Я жду тебя, люблю и призываю.
 Я ни пред кем чела не преклоняю,
 Но если ты к душе моей
 Стремишься вечною душою,—
 Приди, дели мою судьбу со мною!
 Я — прах земли, ты — свет лучей,
 Что ярче солнца рая светит,
 Но верь, что на любовь мою
 Твоя любовь страстнее не ответит!
 И я в груди своей таю
 Запретный свет, бессмертное начало;
 Могилу нам праматерь завещала,
 Но разве смерть нас разлучит?
 Есть голос, что как гром звучит,

Аголибама. Они земли коснулись!
Мой Самиаз!
Ана. Азазиил! Любимый!
Уходят.

Сцена вторая

Ирад и Иафет.

Ирад. Будь тверже, брат! Что пользы молчаливо
Бродить в молчаньи ночи, устремив
Глаза, слезами полные, на звезды?
Они ведь не помогут.

Иафет. Но они
Смягчают скорбь,— быть может, Ана тоже
Глядит теперь на звезды. Созерцаю
Бессмертную и вечную красу,
Прекрасное и юное создание
Еще прекрасней кажется. О, Ана!

Ирад. Но страсть твоя отвергнута?

Иафет. Увы!

Ирад. И я Аголибамою отвергнут.

Иафет. Сочувствую всем сердцем!

Ирад. Но оставим

Ее гордыню в мире. Я и сам
В своей тоске был гордостью утешен.
Есть верный мститель — время.

Иафет. Неужель

Ты в этой мысли черпаешь отраду?

Ирад. Ни скорби, ни отрады. Я любил
И мог любить еще нежней и крепче,
Когда б взаимность видел. Но теперь...
Пусть избирает высший жребий, если
Он кажется ей высшим!

Иафет. Что за жребий?

Ирад. Есть основанье думать, что она
Другого любит.

Иафет. Ана?

Ирад. Не тревожься:

Сестра ее.

Иафет. Кого же?

Ирад. Я не знаю;

Но вижу, что другого.

Иафет. Да, но Ана

Лишь бога любит.

Ирад. Бога, иль не бога,
Но не тебя.

Иафет. Ты прав. Но я люблю.

Ирад. И я любил.

Иафет. Но, разлюбив, иль только
Мечтая так, ты разве стал счастливей?

Ирад. Да, во сто крат.

Иафет. Мне жаль тебя.

Ирад. Меня?

Иафет. Тебя, Ирад. Ты счастлив стал, лишившись
Того, чем я несчастлив.

Ирад. Ты в бреду!
За то, чтоб бредить этим, я бы нѣ взял
Цены всех стад, всех наших коз, когда бы
Их обменять на золото и медь,—
На бесполезный желтый прах, который,
По мненью каинитов, так же дорог,
Как все, что нам приносят в изобилье
Стада и наши пастбища... Скитайся,
Тоскуй, на звезды глядя, точно волк
Весною в полнолуны! Мне же нужен
Покой и сон.

Иафет. И я б. уснул, Ирад,
Когда бы мог.

Ирад. Так ты со мной не хочешь
Идти к шатрам?

Иафет. Нет, я пойду к пещере,
Что называют дверью в сокровенный
Подземный мир,— отверстием, где духи
Из недр его выходят ночью к людям.

Ирад. Зачем?

Иафет. Затем, чтоб усладить печалью
Печальный дух: он столь же безнадежен,
Как те места.

Ирад. Они ужасны. Станный
Царит там гул, и странные виденья
Приходят в полумраке. Одному
Тебе идти опасно.

Иафет. Нет. Поверь мне?
Тому, кто не замыслил зла, не страшны
И козни злых.

Ирад. Но злые тем враждебней,
Чем более мы чужды им. Вернись,
Иль я пойду с тобою.

Иафет. Нет, я должен
Идти один.

И р а д . Д а б у д е т м и р с т о б о ю !

Уходит.

И а ф е т (*один*). Мир! Он — в любви, и я искал его,
Искал с любовью, может быть, достойной
Его отрад. И вот нашел тоску,
Дни, полные томления, усталость
И ночи, сна лишённые. Мир! Мир!
Спокойствие отчаянья, безмолвье
Лесных трущоб, смущаемых порою
Лишь стоном бурь,— вот мир души моей,
Измученной и полной то смятеньем,
То мертвым сном. Земля развращена,
И много было знамений, гласивших,
Что близок час возмездия. О Ана!
Когда придет он, грозный, всегубящий,
И распахнет хлябь бездны, ты надежный
Нашла б приют у любящего сердца,
Что так напрасно бьется и вдвойне
Напрасней будет биться в ту минуту,
Когда твое... Смягчи свой гнев, о боже,
Хотя над ней! Она чиста на грешной
Земле, как звезды в туче, что не может
Их угасить своею тьмой. Ты, Ана,
Ты оттолкнула сердце, что могло
Боготворить красу твою! И все же
Я б отдал жизнь, чтоб дать тебе спасенье,
Чтоб сохранить от гибели, когда
Левиафан, владыка безграничных
Морских пучин, сам изумится шири
Своих держав.

Уходит. Входят Н о й и С и м.

Н о й. Г д е б р а т т в о й И а ф е т ?

С и м. Брат говорил, что он идет к Ираду,
Но я боюсь, что к Ане,— к тем шатрам,
Вокруг которых вьется он, как голубь
Вокруг гнезда, раскиданного бурей,
Иль к той пещере страшной, где зияет
Вход в недра Арарата.

Н о й. Ч т о т а м д е л а т ь ?

Там пуп земли, в грехах погрязшей; там
Сбирается все зло ее, все духи,
Что нечестивей даже каинитов.
Он и доньне любит столь же страстно
Дочь обреченных гибели, хотя
Не мог бы, даже будучи любимым,

Стать мужем ей. Как жалки и несчастны
Сердца людей! Он — кровный мой, он знает
Все зло сих дней, он знает близость кары —
И жадно предается низкой страсти!
Идем к нему.

С и м. Остерегись, отец!
Я отыщу один его.

Но й. Не бойся:
Над избранным Иего́вой зло бессильно.
Веди меня.

С и м. К шатрам сестер?
Но й. К пещере.

Уходят.

С ц е н а т р е т ь я

Пещера и скалы Арарата.

И а ф е т. Ты, дикий мир, что кажешься мне вечным!
Ты, горный кряж, в своей красе столь грозный
И столь разнообразный! Ты, пещера,
Бездонная по виду! Здесь, среди
Сурового величья скал, деревьев,
Вцепившихся корнями в сердце серых
Нагих стремнин, где ни единый смертный
Без трепета не ступит, если только
Достигнет их,— здесь веришь в вашу вечность!
Но минет день, быть может, час — и воды
Раздавят вас! И бурная волна
С разбегу хлынет в темный зев пещеры,
Прослывшей ходом в тартар. И дельфины
Войдут, играя, в логовище льва.
А люди... Братья-люди! Я увижу
Великую могилу: кто ж со мною
Разделит скорбь? Увы, никто! И лучше ль
Мой рок, чем ваш? Что ожидает их,
Места, где я скитался, полный сладких
Надежд и дум, и дикие, но столь же
Отрадные приюты, где страдал я?
Возможно ли? Вот этот дальний пик,
Чье острие звездой горит,— возможно ль,
Что он исчезнет в бездне? Что туманов
Волнистые покровы уж не будут
Спадать с его угрюмого чела
Под восходящим солнцем? И огромный
Шар солнца не зайдет за ним, венчая
Его главу короной многоцветной?

И перестанет быть она приютом,
Ближайшим к звездам неба, маяком
Для ангелов, сходящих в мир? Ужели
Лишь нас с отцом, да тварей, им избранных,
Спасет творец? Он их щадит, а я
Создания, прекраснейшего в мире,
Не защищу от участи, которой
Избегнет даже змей с змеей, чтоб снова
Вести свой род и уязвлять, шипя,
Тот некий мир, что возродится в тине,
Которая покроет прах былого
И будет тлеть, покуда топь болот
Не сузится под солнцем и не станет
Всемирным мавзолеем на могиле
Мирьяд существ, теперь еще живых.
О, сколько их погибнет! Ночь за ночью
И день за днем, с разбитою душой,
Слежу твои сосчитанные ночи
И дни твои, прекрасный, юный мир,
На гибель обреченный! Я не в силах
Спасти тебя — и даже ту, что правит
Моей любовью к миру; но не в силах
Помыслить и о будущем — без чувства...

Смолкает. Из пещеры вырывается гул, взрывы хохота и появляется Дух.

И а ф е т. Во имя неба, кто там?

Д у х. Ха-ха-ха!

И а ф е т. Повелеваю всем, что есть святого:
Ответствуй мне.

Д у х. Ха-ха!

И а ф е т. Повелеваю
Днем скорого возмездия! Землею,
Которую задушит хлябь, разверзнув
Все водные истоки! Твердью, в море
Готовой превратиться! Всемогушим,
Творящим и губящим! Тень от Тени!
Неведомый, безликий, но ужасный!
Ответствуй мне: над чем ты здесь хохочешь
Таким зловещим хохотом?

Д у х. Над чем
Ты сетуешь?

И а ф е т. Над всей землей, над всеми
Рожденными землею.

Д у х. Ха-ха-ха!

И а ф е т. Как злобно враг хохочет над грядущим
Днем муки человеческой, над миром,

Где солнце завтра встанет лишь затем,
Чтоб озарить могилы! Как спокойно
Весь этот мир и все, что дышит в нем,
Спит накануне гибели!.. Туманом
Идут они, живые лики смерти,
Они, что говорят, как существа,
Рожденные на утре мироздания...

Разноликие Духи выходят из пещеры,

Д у х и. Ликуйте! Гибнет род,
Отдавший рай за горести познания!
Близка минута воздаянья
За роковой запретный плод!
Не меч, не скорбь, не мор, не глад, не годы
Сотрут его презренный след:
Блеснет рассвет —
И вся земля преобразится в воды!
На бездыханный мир сойдут
Дыханья бурных ураганов;
Бессильно крылья ангелов падут
И не найдут
Приюта над простором океанов.
Последний риф,
Где Скорбь молящим взором обводила
Безбрежный круг, в надежде на отлив,
Пока ее волна не смыла,—
Последний клочок земли пожрет
Ненасытимая могила —
И все умрет!
Иных стихий придет черед
Царить над зыбкою пустыней,
И все цвета один заменит — синий,
Стремнины гор — морская гладь.
Напрасно будут простираться
Сосна и кедр свои вершины —
Сольются с небом водные равнины
И мертвецом
Прострутятся в Бездне Довременной.
На зыби пенной
Кем оснуется дом?
И а ф е т. Моим отцом! —
Бог лишь очистит семя жизни.
Сокройся! Сгинь,
Отродье мрака и пустынь!
Не торжествуй на ранней тризне!
Наш мститель — бог. В его руках,

А не в твоих дела земные.
 Рассейся в прах!
 Сокройся в бездны потайные,
 Пока не хлынет в них волна
 И вновь не выкинет со дна
 Твой злобный род на волю ураганов,
 В безбрежность бурных океанов!

Д у х. Когда ковчег
 Носить стихи водные устанут,
 Ужель, о сын избранника, настанут
 Дни радостей и нег?
 Нет! Новый мир, мир, вставший из могилы,
 Уже иным увидишь ты:
 Лишенным прежней красоты,
 Лишенным величавости и силы,
 Что и теперь еще хранят
 Черты титанов, порожденных
 От жен земли и божьих чад.
 Одну лишь скорбь, в наследие спасенных,
 Оставит Смерть: кто ж превозможет стыд
 Вновь пить и есть, любить, плодиться
 И созидать свой жалкий быт?
 Кто, не слепец, не тать, решится
 Забвенью гибнущих предать
 И казни мира ожидать
 Без сокрушенья, без отваги
 Погибнуть с ним в пучинах влаги,
 А не молить щедрот творца,
 Не строить дом над прахом мертвеца?
 Я враг тебе — мы созданы врагами,
 Но Духу я не враг,
 И есть ли хоть один меж нами,
 Кто б для небес покинул мрак
 И нас забыл в обители блаженной?
 Живи, презренный!
 Плодись! Когда же бездна вод
 Над миром гибнущим застонет,
 Завидуй всем, кого она хоронит,
 И прокляни свой низкий род!

Х о р Д у х о в. Ликуйте! Жертвы человека
 Заутра высь не омрачат.
 Мы, не творившие от века
 Молить тому, кто любит кровь и чад,
 Мы вновь увидим, как стихия
 Повергнет в хаос все другие
 И, сокрушив надменно-жалкий прах,

Рассеет щедро остовы нагие
По высям гор, в пещерах и норах,
Где человек мечтал спасенье
Найти от страшного конца,
Где даже звери, в страхе и смятении,
Вражду забыли — и овца
Изохла рядом с тигром и гиеной!
Опять безмолвный лик вселенной
Свой довременный примет вид,
И пусть, насытая, пощадит
Смерть крохи жизни для приплода,
Для новой трапезы своей:
Лишь только ил отхлынувших морей
Осушит зноем небосвода,
Из гнили вновь расти начнут
Недуги, скорби, муки, боли,
Вражда, убийства, старость, труд,
Покуда...

И а ф е т (*прерывая*). Благость Вечной Воли

Не изъяснит нам смысл добра и зла

И не сберет все страны и народы

Под сенью мощного крыла,

И не лишит диавола свободы,

И в первобытной красоте

Не восстановит райского селенья,

Где человек отринет искушенья,

Где даже демоны, и те

Благим трудом свои грехи искупят.

Д у х и. Когда же дни, столь дивные, наступят?

И а ф е т. Когда придет, сперва в цепях,

Потом во славе, предреченный.

Д у х. А до того — томись в земных цепях!

С самим собою, с небом и с геенной

Веди войну — и убивай, пока

Кровавый пар с полей сраженья

Не окровавит даже облака!

Придут иные поколенья,

Иные дни, иной и склад и быт,

Изменят вид

Страданья, зло и преступленья;

Но мир грядущий снова сокрушит

Все та же страсть, — как славный род титанов

Заутра бездна океанов.

Х о р Д у х о в. Смелей, смелей!

Возвысим, братья, гимны ликованья!

Чу! Голос вод — угрюмый гул зыбей!

Чем вопль ее всевышнего смутит
Иль океан, всевышнему послушный
И беспощадный к воплям о спасеньи.
Вид облаков пока еще обычен —
Последний день не распростер еще
По небесам знамен своих, и солнце
Взойдет над ним в таком же ярком блеске,
В каком взошло в четвертый день, когда
Господь сказал: «Зажгись!» — и загорелось
Оно огнем, еще не озарившим
Отца еще не созданных людей,
Но пробудившим — ранее хвалебных
Молитв его — хвалы уж сотворенных
И сладкогласных более, чем он,
Небесных птиц, как ангелы парящих
И, как они, задолго до Адама
И чад его, приветствующих свет.
Час гимнов их уж близок — расцветает
Восток зарей — раздастся гимн — и утро
Блеснет из тьмы и принесет им — гибель...
Да, утро, вслед немногих светлых утр,
Опять блеснет, но что осветит? — Хаос,
Царивший до создания и снова
Пожрать готовый Время: ибо что
Без жизни час? Что вечность без Иеговы:
Он создал час и вечность; без него
Она — ничто, как времена без жизни,
Для жизни сотворенные и вместе
С людскою жизнью гибнущие в бездне,
От века не имеющей начала
И ждушей истребить и человека,
И мир его. — Но кто это? Созданья
Земли и вместе неба? Нет, лишь неба.
Я лиц не различаю — вижу только
Сквозь сумрак очертанья их, и как
Они красивы, двигаясь по серым
Обрываю гор сквозь утренний туман!
Они идут — и, после мрачных духов,
Столь дико завывавших свой злорадный,
Свой адский гимн, отрадны мне, как рай,
Они идут, быть может, с вестью миру,
Что казнь его отсрочена, что Ягве
Мольбам моим, столь частым, вял... Но, боже!
Я вижу Ану! Ану и...

Входят Самиаз, Азазил, Ана и Аголибама.
Ана Сын Ноя!

С а м и а з. Как! Адамит?
 А з а з и и л. Зачем ты здесь, сын праха,
 Когда твой род весь сном объят?
 И а ф е т. Бессмертный!
 Зачем ты здесь, когда твой долг — быть в небе?
 А з а з и и л. Ты иль не знал, иль позабыл, что в этот
 Великий долг привходит и другой —
 Быть стражем смертных?
 И а ф е т. Смертных ждет погибель,
 Благие их покинули. Нет, что я!
 Тьмы хаоса, идущего на мир,
 Бежали даже злые. Ана! Ана!
 Так долго, так напрасно, но доньше
 Любимая! Зачем ты с этим духом,
 Когда уж ни единый добрый дух
 Не сходит к нам на землю?
 А н а. Я не в силах
 Ответа дать. Но, Иафет! Ты должен
 Простить меня...
 И а ф е т. Пусть небеса, что скоро
 К мольбам о милосердье станут глухи,
 Простят тебя! Ты вся в сетях соблазна.
 А г о л и б а м а. Уйди от нас, заносчивый сын Ноя!
 Ты нам чужой.
 И а ф е т. Настанет час, быть может,
 Когда ты назовешь меня иначе.
 А я ей друг.
 С а м и а з. Сын праведного сердцем
 И господу угодного! Я слышу
 В твоих словах печаль и гнев: ужель
 Мы нанесли тебе обиду? И какую?
 И а ф е т. Какую? О, великую! Однако
 Ты прав: я не достоин быть любимым.
 Прости же, Ана! Часто это слово
 Я говорил, — теперь в последний раз
 Сказал его. Бессмертный! — я не знаю,
 Кто ты, иль кем ты будешь — разве в силах
 Спасти ты эту — нет, не эту — *этих*
 Прекрасных дочерей Каина?
 А з а з и и л. Спасти?
 Но от чего?
 И а ф е т. Как! Ты еще не знаешь?
 О ангелы! Участники людских
 Грехов и зол! Вам предстоит, быть может,
 Участвовать и в каре, иль хотя бы
 В скорбях моих.

- С а м и а з. В твоих скорбях! Впервые
Внимаю столь загадочным словам
От племени Адама.
- И а ф е т. Всемогущий
Не разъяснил их разве? Но тогда
И вас ждет смерть.
- А г о л и б а м а. Пусть будет так. Но, если
Они нас любят столь же, сколь любимы,
Земной удел — стать смертными — не больше
Их утрашит, чем вечность адских мук,
К которым я готова с Самаином.
- А н а. Сестра, не говори так!
- А з а з и и л. Ты боишься?
- А н а. Да, за тебя. Я с радостью отдам
Остаток краткой жизни, лишь бы только
Тебя на час избавить от мучений.
- И а ф е т. Так это для него, для серафима,
Оставлен я! Что ж, лишь бы для него
Господь оставлен не был! Ибо в этих
Союзах смертных с душами бессмертных
Не может быть ни святости, ни счастья.
Мы посланы на землю, чтоб трудиться
И умирать. Они сотворены,
Чтоб предстоять всевышнему. И если
Спасти тебя он может, то уж близок
Тот страшный час, в который только небо
Спасет тебя.
- А н а. Ах! Он пророчит смерть!
- С а м и а з. Смерть ангелам! И тем, что с ними! Если б
Он не был так печален, я б ответил
Ему улыбкой.
- И а ф е т. Я не за себя
Печалюсь иль пугаюсь: по заслугам
Родителя, творившего лишь благо,
Господь судил спасти и чад его.
Но если б заслужил он более! Иль если б,
Отдавши жизнь за жизнь ее — единой,
Способной счастье дать мне, и последней
Из всех потомков Каина, — я мог бы
Вести ее в святой ковчег — к последним
Потомкам Сифа!
- А г о л и б а м а. Нас ввести в ковчег?
Нас, с нашей кровью пламенной, с душою
Зачатого на утре дней в Эдеме
И первого рожденного? Смешать
Нас с родом Сифа, отпрыска последней

И жалкой страсти дряхлого Адама?
Нет, этого не будет,— даже ради
Спасенья мира, если бы ему
И угрожала гибель! Мы вам чужды —
И чуждыми останемся.

И а ф е т. С тобой ли
Я говорил, Аголибама? Слишком
Ты много унаследовала крови
Того, кем ты гордишься, кто был первым,
Пролившим кровь — родную кровь. Но, Ана!
Ужель ты не близка мне? С этим словом
Я не могу расстаться, как с мечтою,
Что Авель дочь оставил, что в тебе
Живет, быть может, чистая, святая
Душа его потомства: столь не схожа
Ни в чем, за исключением красоты,
Ты ни с одной из этих жестких сердцем
И гордых каиниток!

А г о л и б а м а. Ты хотел бы
Ее похжей видеть и душою
И сердцем на врага ее отца?
Когда б и я так думала, когда бы
Я увидала в ней хоть что-нибудь
От Авеля... Уйди от нас, сын Ноя!
Не распалй сердцец враждой!

И а ф е т. Так сделал
Родитель твой, дочь Каина.

А г о л и б а м а. Не Сифа
Он предал смерти: пусть же между ними
И господом останутся другие
Дела его.

И а ф е т. Да, это правда: кару
Он претерпел. И я бы дел его
Не поминал, когда бы ты смущалась,
А не гордилась ими.

А г о л и б а м а. Он отец
Отцов моих, он первородный, мощный.
Отважный духом, стойкий — я не знаю
Ему подобных: что же мне смущаться
Того, что он мне предок? Погляди
На красоту, на мужество, на силу
Рожденных им! На долготу их дней!

И а ф е т. Их дни уже исчислены.

А г о л и б а м а. Остались
Еще часы. И я часы наполню
Хвалами роду нашему.

И а ф е т.

Родитель

Учил меня творить хвалы лишь богу.

Но, Ана, ты...

А н а.

Что б ни судил Иегова,

Бог Каина и Сифа, я должна

Покорной быть — и покорюсь с терпением.

Но если б, в час его великой мести,

В час гибели всех смертных, я дерзнула

К нему с мольбой прибегнуть, не спасенья

Себе одной из всех мне близких, кровных

Молила б я... Сестра, сестра! Что мир,

Что все миры и сладость всех грядущих

Часов и дней без сладости былого —

Любви твоей, любви отца и всех

Со мной вошедших в жизнь, подобно звездам,

И озарившим кротким светом тьму

Моих скорбей? Аголибама! Если

Есть в небе милосердие, домогайся,

Найди его! Мне смерть страшна — мне страшно,

Что ты умрешь.

А г о л и б а м а.

Как! И мою сестру

Смутил безумец этот, воздвигавший

С отцом своим спасительный ковчег —

Страшилище для всех живущих! Разве

Мы не любимы ангелами? Или

Должны молить о жизни сына Ноя?

О, нет, скорей... Но что я! Это все

Лишь плод его страданий, грез и бдений —

Его любви отвергнутой. Кто в силах

Поколебать громады гор? Кто может

Пересоздать вид облаков и вод,

Остановить их вечный путь?

И а ф е т.

Создавший

Из ничего своим единым словом

Все сущее.

А г о л и б а м а. Кто слышал это слово?

И а ф е т. Вселенная, им вызванная к жизни.

Но ты глядишь насмешливо. Так пусть

Ответят серафимы: если скажут,

Что я не прав, они — не серафимы.

С а м и а з. Чти бога и творца, Аголибама!

А г о л и б а м а. Я бога чту со дня рождения, — бога

Любви, а не печали.

И а ф е т.

Но любовь

И есть печаль. Сам сотворивший землю

В любви своей был скоро опечален.
А г о л и б а м а. Так сказано.
И а ф е т. И праведно.

Входят Н о й и С и м.

Н о й. Иафет!

Тебя ли вижу с чадами порока?
Иль разделить грозящую им участь
Ты не считаешь страшным?

И а ф е т. Я не вижу,
Отец, греха — искать спасенья людям,
Но эти и не грешны: серафимы
В общеньи с ними...

Н о й. Те, что покидают
Трон господа для радостей земли?
Сыны небес, что ищут жен из рода
Братоубийцы?

А з а з и л. Праотец, ты прав.

Н о й. О горе, горе! Горе беззаконным
Союзам вашим! Разве не поставил
Бог грани меж землей и небом?

С а м и а з. • Разве
Не создал бог людей по своему
Подобию и образу? Не любит
Того, что создал? Мы лишь соревнуем
Его любви.

Н о й. Я только человек,
Не призван быть судьей людей,— тем паче
Господних слуг. Но, раз господь изволил
В общеньи быть со мной и открывать мне
Суды свои, я говорю: не может
Быть благом нисхождение серафимов
С высот жилищ предвечных в мир и бранный,
И обреченный гибели.

А з а з и л. Хотя бы
И для его спасения?

Н о й. Не вам,
Во всем величье вашем, быть защитой
Того, что предал каре сотворивший
Величье ваше. Если б повелел
Он вам спасать, то вы должны бы были
Спасать не тех, которые пленяют
Вас красотой, а всех того достойных.
Они прекрасны,— правда, но они
Обречены.

И а ф е т. Отец, не говори так!

Но й. Сын Иафет! Забудь о них: подходит
Их страшный час. Тебе же суждено
Быть семенем иной земли — и лучшей.
И а ф е т. Дай умереть мне с этой!
Но й. Ты бы должен
За этот вопль погибнуть. Но всевышний
Щадит тебя.
С а м и а з. Зачем его, тебя?
Но лишь не ту, чья жизнь ему дороже
Твоей и даже собственной?
Но й. Спроси
Того, кто создал более великим
Тебя, чем нас, но столь же подчиненным
Его веленьям. Се, архангел!

Входит архангел Р а ф а и л.

Р а ф а и л. Духи!
Зачем вы здесь? Служители Иеговы!
Зачем вы на земле, когда она
Должна быть чуждой ангелам? Вернитесь
В небесный клир! Вернитесь петь хвалы
И пламенеть восторгом поколенья
В число семи избранных!
С а м и а з. Рафаил!
Славнейший и прекраснейший меж нами!
Давно ль и кем лишен сей юный мир
Общения с бессмертными? Мир, в коем
Сам бог касаться праха не гнушался?
Он создан им, он им любим и много
Велений божьих внял от серафимов,
Творца в его твореньи обожавших,
Стремившихся юнейший из миров
Хранить достойным господя. Зачем же
Твое чело так строго и угрозой
Звучат слова?
Р а ф а и л. Когда б Азазил
И Самиаз небес не покидали,
Они бы зрели огненные знаки,
Которыми всевышний возвестил
Свой суд земле. Но там, где грех, гордыня,
Там знанья нет. Из ангелов остались
С людьми лишь вы, плененные вам чуждой,
Унизившей вас страстью. Но всевышний
Прощает вас и возвращает к лику
Безгрешных небожителей. Скорей

Летите к ним! Спешите! Иль останьтесь —
И потеряйте вечность...

С а м и а з. Жребий брошен.
А з а з и и л. Аминь.
Р а ф а и л. И ты! Простите же! Отныне
Для господа вы чужды и лишились
Небесных сил.

И а ф е т. Увы! Где им теперь
Найти приют? — Чу! Возрастает тяжкий
Гул в недрах Арарата. Воздух замер,
Но цвет деревьев сыплется, и дрожью
Охвачен каждый листик: грудь земли
Как бы под гнетом стонет.

Н о й. Чу! Зловещий
Крик водных птиц. Они затмили небо
И поднялись до тех вершин, куда
Их белое крыло еще ни разу
Доныне не взлетало. Арарат
Последним скоро будет им приютом,
А там и он исчезнет.

И а ф е т. Солнце! Солнце!
Оно встает и меркнет. Черный круг,
Диск солнца охвативший, возвещает
Конец земли. И уж опять поблек
Цвет облаков, горящих только снизу —
Там, где, бывало, яркий день рождался.

Н о й. Вот! Молния! Предвестница удара!
Гроза близка. Спешим, мой сын! Оставим
Стихиям их добычу! И скорее,
Скорей туда, где наш несокрушимый
Святой ковчег!

И а ф е т. Отец! Не покидай
На жертву волн хоть Ану.

Н о й. Но не всех ли
Бог предал им! Идем!

И а ф е т. Нет, я не в силах.

Н о й. Тогда дели их участь! Как дерзнул,
На знаменья небесные взирая,
Ты мыслить о спасеньи осужденных
На казнь самой вселенной и творцом
В их правосудном гневе?

И а ф е т. Правосудье
Ты сочетаешь с гневом?

Н о й. Богохульник!
Ты ропщешь — и когда же!

Р а ф а и л. Патриарх,

Не хмурь чела. Он сын твой. Он не знает,
Что говорит. Когда угаснут страсти,
Он будет благ, как ты: он не погиб,
Как эти чада Каина и неба.

А г о л и б а м а. Гроза близка. На все, что дышит
жизнью,

Встают земля и небо. Не равна
Борьба меж нашей силой и Предвечной!
С а м и а з. Но с вами — мы. Мы унесем вас с Аной
К иным и мирным звездам. Если там
Ты позабудешь землю, я забуду
Утраченное небо.

А н а. О, родные
Шатры, долины, горы! Что заменит
Мне вас в тоске?

А з а з и и л. Моя любовь. Не бойся:
Мы лишены небес, но есть миры,
Где наша власть незыблема.

Р а ф а и л. Мятежник!
Твои слова преступны, но отныне
Бессилен ты. Меч пламенный, изгнавший
Из рая первородных, не угас
В моей руке.

А з а з и и л. Грози им праху, плоти.
Бессмертным меч не страшен.

Р а ф а и л. Но настанет
Час испытанья,— час, когда тшету
Борьбы с творцом постигнешь ты. Лишь верой
И кротостью пред ним ты был могуч.

Бегут Смертные, ищущие спасенья.

Х о р С м е р т н ы х. Земля смешалась с небом... Боже! Боже!

Спаси твоя рабы!

Чу! Вой зверей сливается в мольбы!

Дракон, в горах покинув ложе,

Мятеж в страхе меж людей,

И смертным воплем воздух режут птицы.

Нет, Ягве, нет! Не простирай десницы

На чад своих! Спаси и пожалей

Не нас, не нас, а все свое творенье!

Р а ф а и л. Прости, земля! Принимаю во смиреньи
Дела творца. Оно есть долг раба.

Уходит.

И а ф е т. Одни из туч летят, как ястреба,
Другие, недвижимые, как скалы.
Лишь знака ждут пролить свои фиалы.

Навеки скрылись солнце, звезды, твердь —
И тусклый жуткий блеск по небосводу
Распростирает Смерть.

А з а з и л. В путь, Ана, в путь! На волю и свободу!
Покинем мир, что, волею творца,
Повергнут в бездну хаоса стихии.
Под грохот их, я, как орел птенца,
Тебя крылом укрою — и в другие
Введу миры: там тьмы и смерти нет.

Унося с собой Ану и Аголибаму, Азализил и Самназ исчезают
в небе.

И а ф е т. Всему конец! Я потерял их след,
Под этот вой, подобный урагану.
И суждено ль им жить, иль умереть,
Уж никогда вовеки Ану
Моим глазам не лицезреть!
Х о р С м е р т н ы х. Будь милосерд, сын Ноя, к братьям!
Как? Неужель ты всех покинешь, всех?
И, внемля стонам, воплям и проклятьям,
Один войдешь в спасительный ковчег?
М а т ь (*подавая Иафету ребенка*).
Возьми, снеси младенца к Ною!
Я в муках жизнь ему дала,
Но мне была
Отрадой мысль — питать его собою.
Чем грешен он?
Зачем рожден?
Что в молоке моем такого,
Что на того, кто им вскормлен,
Идет враждой и яростью Иегова,
Что прах и твердь
Должна была воздвигнуть Смерть
На это кроткое создание
И бездной вод залить его дыханье?
Спаси, Иафет, дитя мое,
Иль проклят будь со всем своим народом!

.....

Воды прибывают, люди бегут в разных направлениях; многих настигают
волны. Хор Смертных, ища спасения, рассеивается по скалам. Иафет
стоит на скале. Вдали виден плывущий к нему ковчег.

ОТРЫВОК

из МЮССЕ

...Когда из школьных стен домой мы возвращались,
Мы находили там безмолвие одно;
Отцы и братья нам не улыбались,
Отцы, за родину погибшие давно...
И хоть не раз горячих впечатлений
Душа недетская в томлении ждала,
Но было пусто все! И только по селенью
Гудели медленно вдали колокола...

Жизнь представлялась нам как бы двумя мирами:
За нами — прошлое с угасшею борьбой,
А новый день, встающий перед нами,
Еще во тьме, чуть тронутой зарей...
И ангел сумрачный для нас стал духом века;
Мы обрели его сидящим на костях,—
В плащ себялюбия закутан он, калека,
Не то живой, не то уж полупрах...

Так в Страсбурге дочь графа Сарвердена
В гробу, под белою венчальною фатой,
Лежит, сохранена, как мумия, от тлена,
Но странен вид ее, ребячески-худой!
Холодною тоской и безотчетным страхом
Томит ее наряд и мертвое лицо:
Еще блестит ее венчальное кольцо,
А голова в цветах рассыпалась прахом!

О, дети будущих, далеких поколений!
Когда вы в летний день, в отчизне дорогой,

На зелени лугов, в часы отдохновений,
У плуга пот с чела сотрете трудовой,
И улыбнется вам под яркими лучами
Земля-кормилица,— подумайте порой,
Что мы свой путь прошли с бессильными слезами,
Что жертвой были мы за будущий покой!

1890

ЛИЛИИ

А. АСНЫК

Золотые кудри в косы
Панночка плетет;
Заплетаючи, в раздумье
Песенку поет:

Темной ночью белых лилий
Сон неясный тих.
Ветерок ночной прохладой
Обвеваet их.

Ночь их чашечки закрыла,
Ночь хранит цветы
В одеянии невинной
Чистой красоты,

И сказала: спите, спите
В этот тихий час!
День настанет — солнца пламень
Сгубит, сгубит вас!

Дня не ждите,— бесконечен
Знойный день, а сон,
Счастья сон недолговечен
И умчится он.

Но, таинственно впивая
Холодок ночной,
К солнцу тянутся, к востоку
Лилии с тоской.

Ждут, чтоб солнце блеском алым
И теплом своим

Нежно белые бокалы
Растворило им.

И напрасно ночь лелеет
Каждый лепесток —
Грезит девушка о милом,
Солнца ждет цветок!

1893

АСТРЫ

А. АСНЫК

Все поблекло... Только астры
Серебристые остались,—
Под холодным, синим небом
Замечались...

Грустно я встречаю осень...
Ах, не так, как в дни былые!
Так же вянут, блекнут листья
Золотые,

Так же месячные ночи
Веют кроткой тишиною,
И шумит в аллеях ветер,
Надо мною...

Но уж нет в душе печальной
Тех восторгов, тех волнений,
Что, как солнце, озаряли
День осенний.

Помню милый, бледный облик,
Локон нежный и волнистый,
В черных косах — венчик астры
Серебристый...

Помню очи... Вижу снова
Эти ласковые очи...
Все воскресло в лунном блеске,—
В блеске ночи!

1893

ЗОЛОТОЙ ДИСК

Л. де ЛИЛЬ

Солнца диск золотой, уходя из лазурной пустыни,
Погружается медленно в тихое лоно зыбей
И, прощаясь с землей, сыплет розовым блеском лучей,
В гребнях гор золотит, зажигает сверкающий иней.

Грустно ветер вздыхает и веет с далеких высот,
Стелет длинные тени в оврагах и влажных долинах,
Тамаринды колышет, и в темных, угрюмых вершинах,
Где гнездились птицы, и сон и покой настает.

И дыханье земли, как священных кадилъниц дыханье,
Средь кофейных деревьев и в чаше густых тростников
Разливаясь, сливается с свежим дыханьем лесов,
С ароматом плантаций в глубоком вечернем молчаньи.

Вот звезда задрожала жемчужной своей белизной,
В синем мраке ночном, как живая, горит величаво —
И пылают в волнах, ослепленных небесною славой,
Мириады светил, мириады огней над землей.

И душа, забываясь в молчании ночи всеисильной,
Созерцая и мир, и величье ее красоты,
Познавая тщету и надежды, и пылкой мечты,
В вечный сон погружается,— в саван могильный.

1895

УСОПШЕМУ ПОЭТУ

Из Л. де ЛИЛЯ

Ты, чей блуждавший взор в последние мгновенья
Пленялся и землей, и горней красотой,
Спи с миром в тишине холодного забвенья!
Запечатлела ночь твой облик гробовой.

Знать, слышать, чувствовать? — Прах, ветра дуновенье!..
Любить? — Но желчь одна, желчь в чаше золотой..
Как бог, свой бранный храм покинувший с тоской,—
Разлейся в беспредельности творенья!..

Почтит ли мир твое немое погребенье,
Иль, выронив слезу пустого сожаленья,
Твой пошлый век тебя забудет навсегда,—

Ты счастлив, ты отжил! Ты больше не страдаешь,
Быть человеком здесь ты ужаса не знаешь
И мыслить горького не ведаешь стыда.

В ТЕМНУЮ НОЧЬ, В ШТИЛЬ, ПОД ЭКВАТОРОМ

<Л. де Лиль>

Le Temps, l'Etendue et le Nombre..
*L. de Lisle*¹.

Время, Пространство, Число
С черных упали небес
В море, где мрак и покой.

Саван молчанья и тьмы
Их поглотил без следа —
Время, Пространство, Число.

Тяжким обломком, немым.
Падает Дух в пустоту,
В море, где мрак и покой.

С ним, погруженным во тьму,
Тонут, зачатые им,
Время, Пространство, Число
В море, где мрак и покой.

27.2.15

ПСАЛОМ ЖИЗНИ

Г. ЛОНГФЕЛЛО

Не тверди в строфах унылых:
«Жизнь есть сон пустой». — В ком спит
Дух живой, — тот духом умер:
В жизни высший смысл сокрыт.

Жизнь не грезы! Жизнь есть подвиг!
И умрет не дух, а плоть.
«Прах еси — и в прах вернешься» —
Не о духе рек господь.

Не печаль и не блаженство
Жизни цель: она зовет

¹ Время, Пространство, Число... Л де Лиль (франц.).

Нас к труду, в котором бодро
Мы должны идти вперед.

Путь далек, а время мчится,—
Не теряй в нем ничего.
Помни, что биенье сердца —
Погребальный марш его.

На житейском бранном поле;
На биваке жизни будь
Не рабом, а будь героем,
Закалившим в битвах грудь.

Не оплакивай Былого,
О Грядущем не мечтай,
Действуй только в Настоящем
И ему лишь доверяй.

Жизнь великих — призывает
Нас к великому идти,
Чтоб в песках времен остался
След и нашего пути,—

След, что выведет, быть может,
На дорогу и других —
Заблудившихся, усталых —
И пробудит бодрость в них.

Встань же смело на работу,
Отдавай все силы ей
И учись в труде упорном
Ждать прихода лучших дней!

1898

СМЕРТЬ ПТИЦ

Ф. КОППЕ

В безмолвье сумерек, мечтая у огня,
Не раз о смерти птиц задумывался я:
Как много гибнет их зимой от бурь жестоких!
Как много птичьих гнезд, пустых и одиноких,
Качается в лесу, среди нагих ветвей,
Под небом пасмурным тоскливых зимних дней!
Но отчего ж весной, когда в лесу мы бродим,
Скелетов маленьких нигде мы не находим?
Нигде среди цветов их не заметит глаз...
Иль птицы смерть свою должны скрывать от нас?

1898

ЗАВЕЩАНИЕ

из шевченко

Как умру, похороните
Вы меня на воле,
На степи в краю родимом,
На кургане в поле!

Чтобы даль вокруг синела,
Чтоб и Днепр, и кручи
Были видны,— было слышно,
Как гремит могучий!..

* * *

из шевченко

Во зеленой, темной роще
Кукушка кукует;
Одинокой сиротою
Деввица тоскует.

А веселые, молодые,
Годы золотые
Уплывают, как на волнах
Цветики степные.

«КРЫМСКИЕ СОНЕТЫ»

А. МИЦКЕВИЧ

Аккерманские степи

Выходим на простор степного океана.
Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод,
Меж заводей цветов, в волнах травы плывет,
Минуя острова багряного бурьяна.

Темнеет. Впереди — ни шляха, ни кургана.
Жду путеводных звезд, гляжу на небосвод...
Вон блещет облако, а в нем звезда встает:
То за стальным Днестром маяк у Аккермана.

Как тихо! Постоим. Далеко в стороне
Я слышу журавлей в незримой вышине,

Внемлю, как мотылек в траве цветы колышет,
Как где-то скользкий уж, шурша, в бурьян ползет.

Так ухо звука ждет, что можно бы услышать
И зов с Литвы... Но в путь! Никто не позовет.

1901

Чатырдаг

Склоняюсь с трепетом к стопам твоей твердыни,
Великий Чатырдаг, могучий хан Яйлы.
О мачта крымских гор! О минарет аллы!
До туч вознесся ты в лазурные пустыни

И там стоишь один, у врат надзвездных стран,
Как грозный Гавриил у врат святого рая.
Зеленый лес — твой плащ, а тучи — твой тюрбан,
И молнии на нем узоры ткут, блистая.

Печет ли солнце нас, плывет ли мгла, как дым,
Летит ли саранча, иль жжет гяур селенья,—
Ты, Чатырдаг, всегда и нем и недвижим.

Бесстрастный драгоман всемирного творенья,
Поправ весь дольний мир подножием своим,
Ты внемлешь лишь творца предвечные веленья!

1901

Алушта ночью

Повеял ветерок, прохладною лаская.
Светильник мира пал с небес на Чатырдаг,
Разбился, расточил багрянец на скалах
И гаснет. Тьма растет, молчанием пугая.

Чернеют гребни гор, в долинах ночь глухая,
Как будто в полусне журчат ручьи впотьмах;
Ночная песнь цветов — дыханье роз в садах —
Беззвучной музыкой плывет, благоухая.

Дремлю под темными крылами тишины.
Вдруг метеор блеснул — и, ослепляя взоры,
Потопом золота залил леса и горы.

Ночь! одалиска ночи! Ты навеваешь сны,
Ты гасишь лаской страсть, но лишь она утихнет —
Твой искрометный взор тотчас же снова вспыхнет!

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ВОСПОМИНАНИЙ

ЧЕХОВ

I

Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года. Мне запомнилось несколько характерных фраз его.

— Вы много пишете? — спросил он меня как-то.

Я ответил, что мало.

— Напрасно,— почти угрюмо сказал он своим низким грудным голосом. — Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... всю жизнь.

И, помолчав, без видимо́й связи прибавил:

— По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем... И короче, как можно короче надо писать.

Потом разговор зашел о стихах, и он вдруг оживился:

— Послушайте, а стихи Алексея Толстого вы любите? Вот, по-моему, актер! Как надел в молодости оперный костюм, так на всю жизнь и остался.

После Москвы мы не виделись до весны девяносто девятого года. Приехав этой весной на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил его на набережной.

— Почему вы не заходите ко мне? — сказал он. — Непременно приходите завтра.

— Когда? — спросил я.

— Утром, часу в восьмом.

И, вероятно, заметив на моем лице удивление, он пояснил:

— Мы встаем рано. А вы?

— Я тоже,— сказал я.

— Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе? Утром надо пить не чай, а кофе. Чудесная вещь.

Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром — кофе, в полдень — бульон.

Потом мы молча прошли на набережную и сели в сквере на скамью:

— Любите вы море? — сказал я.

— Да,— ответил он.— Только уж очень оно пустынно.

— Это-то и хорошо, — сказал я.

— Не знаю,— ответил он, глядя куда-то вдаль и, очевидно, думая о чем-то своем.— По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.

В Москве я видел человека средних лет, высокого, стройного, легкого в движениях; встретил он меня приветливо, но так просто, что я принял его простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице, двигался медленнее, голос его звучал глуше. Но в общем он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко, и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо. На другой день после встречи на набережной я поехал к нему на дачу. Хорошо помню это солнечное утро, которое мы провели в его садике. С тех пор я начал бывать у него все чаще и чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим, конечно, изменилось и отношение его ко мне, стало сердечнее. Но сдержанность осталась; и проявлялась она не только в обращении со мной, но и с людьми самыми близкими ему, хотя означала она, как я убедился потом, вовсе не холодность: только неизменную сдержанность.

Белая каменная дача в Аутке, ее маленький садик, который с такой заботливостью разводил он, всегда любивший цветы, деревья, его кабинет, украшением которого служили только две-три картины Левитана да большое полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину Учан-Су и синий треугольник моря, те часы, дни, иногда даже месяцы, которые я проводил на этой даче, навсегда останутся одним из лучших моих воспоминаний.

Он смеялся своим заразительным смехом чаще всего только тогда, когда кто-нибудь другой рассказывал что-нибудь

смешное; сам говорил самые смешные вещи без малейшей улыбки. Он очень любил шутки, нелепые прозвища, мистификации; даже в последние годы, как только ему хоть немного стало нравиться лучше, он был неистощим на них, никогда, однако, ничего не подчеркивая: только бросит два-три слова, лукаво блеснет глазом поверх пенсне...

Сдержанность его сказывалась во всем. Кто, например, слышал от него жалобы? А причин для жалоб было много. Он начал работать в большой семье, терпевшей в пору его молодости нужду, работал за гроши; долго нуждался и потом. Но никто и никогда не слышал от него сетований на судьбу, и это вытекало вовсе не из ограниченности его потребностей: он ненавидел серую, скудную жизнь. Он пятнадцать лет был болен изнурительной болезнью; но знал ли это читатель, — русский читатель, который слышал столько писательских жалоб? Даже дома, в дни его самых тяжелых страданий часто никто не подозревал о них.

— Тебе нездоровится, Антоша? — спросит его мать или сестра, видя, что он весь день сидит в кресле с закрытыми глазами.

— Мне? — спокойно ответит он, открывая глаза, такие кроткие без пенсне. — Нет, ничего. Голова болит немного.

Говоря о литературе, он восхищался Мопассаном, Толстым. Особенно часто он говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

— Не могу понять, — говорил он, — как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!

Часто говорил:

— Никому не следует читать своих вещей до напечатания. Никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал — пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. В работе надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой господь бог дал.

Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия. Но он действительно радовался всякому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, высшей бранью в его устах. К своим собственным литературным успехам он относился с затаенной горечью.

— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

— Знаю-с я эти юбилеи! Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!

— Читали, Антон Павлович? — скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

Он только покосится поверх пенсне:

— Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «а вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент». И слово-то противное: «пессимист...»

И порою прибавит:

— Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство.

— Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед,— сказал он однажды.

«Публикует «Скорпион» о своей книге неряшливо,— писал он мне после выхода первой книги «Северных цветов». — Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в «Русских ведомостях», поклялся больше уже никогда не водиться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами».

Он дал тогда, по моему настоянию, в альманах «Скорпиона» один из своих юношеских рассказов («В море»). Впоследствии в этом раскаиался:

— Нет, все это новое московское искусство — вздор,— говорил он.— Помню, в Таганроге я видел вывеску: «Заведение искусственных минеральных вод». Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.

Одно из моих последних воспоминаний о нем относится к ранней весне 1903 года. Ялта, гостиница «Россия». Уж поздний вечер. Вдруг зовут к телефону. Подхожу и слышу:

— Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.

— Кататься? Ночью? Что с вами, Антон Павлович?

— Влюблен.

— Это хорошо, но уже десятый час. И потом — вы можете простудиться...

— Молодой человек, не рассуждайте-с!

Через десять минут я был в Аутке. В доме, где он зимою жил только с матерью, была, как всегда, тишина, темнота, тускло горели две свечки в кабинете. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого кабинета, где для него протекло столько одиноких зимних вечеров.

— Чудесная ночь! — сказал он с необычной для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня. — А дома — такая скука! Только и радости, что затрещит телефон, да кто-нибудь спросит, что я делаю, а я отвечаю: мышей ловлю. Поедьте в Орианду.

Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками. Экипаж катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лес с легкими узорами теней, за ним зачернели толпы кипарисов, возносившихся к звездам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, он внезапно сказал, приостанавливаясь:

— Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.

— Почему семь? — спросил я.

— Ну, семь с половиной.

— Вы грустны сегодня, Антон Павлович, — сказал я, глядя на его лицо, бледное от лунного света.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но, когда я сказал, что он грустен, он шутивно покопался на меня.

— Это вы грустны, — ответил он. — И грустны оттого, что потратились на извозчика.

А потом серьезно прибавил:

— Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам...

Тут он особенно ошибся: прожил не шесть лет, а всего год с небольшим.

Одно из его последних писем я получил в январе в Ницце: «Здравствуйте, милый И. А.! С Новым годом, с новым счастьем! Письмо Ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно, нового (кроме Нового года) ничего нет и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдет — неизвестно... Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу... Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в

свое полное удовольствие, утешайтесь, пишите почаще Вашим друзьям... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурых северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую Вас и обнимаю».

II

Однажды он сказал (по своему обыкновению, внезапно):
— Знаете, какая раз была история со мной?

И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать:

— Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного Собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: «Да пойми же ты, что ты теперь первый, первый писатель в России!» — И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он...»

Многим это покажется странным, но это так: он не любил актрис и актеров, говорил о них:

— На семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова...

— Позвольте,— говорил я,— а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти?

— Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что говоришь иногда, чтобы не обижать...

И, помолчав, с новым смехом:

— И про Художественный театр...

В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души):

— Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?

Не раз говорил:

— В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница...

— Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости...

— Когда бездарная актриса ест куропатку, мне жаль куропатку, которая была во сто раз умней и талантливей этой актрисы...

— Савина, как бы там ни восхищались ею, была на сцене то же, что Виктор Крылов среди драматургов...

Иногда говорил:

— Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден! Как восхищался на Давыдову! Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: «Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть пятьдесят рублей авансу». — «Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запроу вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу только тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ».

А иногда говорил совсем другое:

— Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи... Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно — писателю...

Говоря о Толстом, он как-то сказал:

— Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или, лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Отчего хвалит? Оттого, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детские игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана и на Семенова. Вот Шекспир — другое дело. Это уже взрослый, и он уже раздражает его, что пишет не толстовски...

Однажды, читая газеты, он поднял лицо и, не спеша, без интонации, сказал:

— Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов...

Теперь он выделен. Но, думается, и до сих пор не понят как следует: слишком своеобразный, сложный был он человек, душа скрытная, застенчивая.

Замечательная есть строка в его записной книжке:

— Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу один.

В ту же записную книжку он занес такие мысли:

— Как люди охотно обманываются, как любят они пророков, вещателей, какое это стадо!

— На одного умного полагается 1000 глупых, на одно умное слово приходится 1000 глупых, и эта тысяча заглушает.

Его заглушали долго. До «Мужиков», далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нее он был только занятный рассказчик, автор «Винта», «Жалобной книги». Люди «идейные» интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели — помню, как некоторые из них искренно хохотали надо мной, юнцом, когда я осмелился сравнить его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать-то никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чехонте: «Нельзя представить себе, говорили они, чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой». В среде литературной отношение к нему было иное, там его некоторые высоко ставили, но тоже с оговорками.

Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после «Мужиков» заговорили о нем: ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им, а кроме того, это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторилось его имя на афишах, что запомнились «22 несчастья», «глубокоуважаемый шкаф», «человека забыли»... Он часто сам говорил:

— Какие мы драматурги! Единственный, настоящий драматург — Найденов: прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, а на десятый опять такой успех иметь, что только ахнешь!

И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом:

— Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем, и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня», и, поцеловав, вдруг быстро

суется к моему уху и этаким энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!»

Я думал и думаю, что ему не следовало писать про дворян, про помещичьи усадьбы, — он их не знал. Это сказывалось особенно в его пьесах — в «Дяде Ване», в «Вишневом саду». Помещики там очень плохи. Героиня «Вишневого сада», будто бы рожденная в помещичьей среде, ни единой чертой не связана с этой средой, она актриса, написана только для того, чтобы была роль для Книппер. Фирс — верх банальности, а его слова: «человека забыли» — под занавес. Да и где это были помещичьи сады, сплошь состоявшие из вишен? «Вишневый садок» был только при хохлацких хатах. И зачем понадобилось Лопухину рубить этот «вишневый сад»? Чтобы фабрику, что ли, на месте вишневого сада строить?

Долго иначе не называли его, как «хмурым» писателем, «певцом сумеречных настроений», «большим талантом», человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно.

Теперь гнут палку в другую сторону. «Чеховская нежность, грусть, теплота», «чеховская любовь к человеку...» Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою «нежность»! Еще более были бы противны ему «теплота», «грусть».

Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон. Например, Елпатьевский: «Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям... Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами...» Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как «простота и задушевность», приписывает ему «печаль о призраках». Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощаднейшим талантом.

Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко; сам он говорил прекрасно — всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.

К «высоким» словам чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нем: «Однажды я пожаловался Антону Павловичу: «Антон Павлович, что мне делать?»

Меня рефлексия заела!» И Антон Павлович ответил мне: «А вы поменьше водки пейте».

Верно, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами.

— Это стоит всего Урениуса,— сказал он однажды, вспоминая «Парус» Лермонтова.

— Какого Урениуса? — спросил я.

— А разве нет такого поэта?

— Нет.

— Ну, Упрудиуса,— сказал он серьезно.

— Вот умрет Толстой, все к чорту пойдет!— говорил он не раз.

— Литература?

— И литература.

Про московских «декадентов», как называли их, он однажды сказал:

— Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать...

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забитым, лишним. И всех неизменно держал на известном расстоянии от себя.

Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико.

— Боюсь только Толстого. Вы подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте!

— Seriously, я его боюсь,— говорил он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.

И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

— Нет, эти неприлично узки! Подумает: шелкопер!

И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь:

— А эти шириной с Черное море! Подумает: нахал...

Однажды он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил.

Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке:

— Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича, гордость нашей литературы, певца су-меречных настроений...

Побледнев, он встал и вышел. И много раз с негодованием рассказывал об этой истории.

Я подолгу жила в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:

— Приезжайте завтра пораньше.

Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял:

— Ну, убедительнейше вас прошу, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц... Будем говорить о литературе...

Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драм и водевилей». Иногда попадалось кое-что обо мне, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спешил смягчить это:

— Обо мне же еще глупее писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали...

Случалось, что во мне находили «чеховское настроение». Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

— Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали «тургеневскими нотами». Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: «море пахнет арбузом»... Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку — другое дело...

— Про какую курсистку?

— А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд... А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшегося из другого окна...

Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать.

— Что такое вы прочли?

— Самарский купец Бабкин,— хохоча, отвечал он тонким голосом,— завещал все свое состояние на памятник Гегелю.

— Вы шутите?

— Ей богу, нет. Гегелю.

А то, опуская газету, внезапно спрашивал:

— Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?

— Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.

— Да вы мне в дети годитесь.

— Все равно. В вас народная кровь.

— А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть «Три года». А потом вы же здоровеннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его от геморроя вылечил. А в воспоминаниях обо мне не пишите, что я был «симпатичный талант и кристальной чистоты человек».

— Это про меня писали,— говорил я,— писали, будто я симпатичное дарование.

Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

— Пойдите, а как это про вас Короленко написал?

— Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ «сделал бы честь и более крупному таланту».

Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил:

— Все-таки это лучше, чем про меня писали. Нас, как в бурсе, критики каждую субботу драли. И поделом. Я начал писать, как последний сукин сын. Я ведь пролетарий. В детстве, в нашей таганрогской лавочке, я сальными свечами торговал. Ах, какой там проклятый холод был! А я все-таки с наслаждением заворачивал эту ледяную свечку в обрывок хлопчатой бумаги. А нужник у нас был на пустыре, за версту от дома. Бывало, прибежишь туда ночью, а там жулик ночует. Испугаемся друг друга ужасно! — Только вот вам мой совет,— вдруг прибавлял он:— перестаньте быть дилетантом, сделайте хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать — из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновения.

Потом, помолчав:

— А Короленко надо жене изменить, обязательно,— чтобы начать получше писать. А то он чересчур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, как он до слез восхищался однажды стихами в «Русском богатстве» какого-то Вербова или Веткова, где описывались «волки реакции», обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную метель, и то, как он так звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхе разбежались? Это вы правду рассказывали?

— Честное слово, правду.

— А кстати: вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова?

— Вы не любите Добролюбова?

— Нет, люблю. Это же порядочные были люди. Не то, что Скабичевский, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня «искры божьей нет».

— Вы знаете,— говорил я,— мне Скабичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал.

— Ну, вот, вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал... Да, страшно вспомнить, что обо мне писали! И кровь-то у меня холодная,— помните у меня рассказ «Холодная кровь»? — и изображать-то мне решительно все равно что именно — собаку или утопленника, поезд или первую любовь... Меня еще спасали «Хмурые люди», — находили, что это рассказы все-таки стоящие, потому что там будто бы изображена реакция восьмидесятых годов. Да еще рассказ «Припадок» — там «честный» студент с ума сходит при мысли о проституции. А я русских студентов терпеть не могу — они же лодыри...

Раз, когда он опять как-то стал шутя приставать ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях, я ответил:

— Я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в девяносто пятом году, в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. Но вот, сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском, пьем красное вино, слушаем машину, а поэт все читает свои стихи, все больше и больше восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так, читая, он стал и свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно: «Позвольте, господин, я сам найду...». Поэт на него зверем: «Молчать, не мешай!» — «Но, позвольте, господин, это не ваше пальто...» — «Как, негодяй? Значит, я чужое пальто беру?» — «Так точно, чужое-с». — «Молчать, негодяй, это мое пальто!» — «Да нет же, госпо-

дин, это не ваше пальто!» — «Тогда говори же сию минуту, чье?» — «Антон Павлович Чехова». — «Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!» — «Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова». — «Так, значит, он здесь?» — «Всегда у нас останавливаются...» И вот, мы чуть не кинулись к вам знакомиться, в три часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали — видели только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало «Бабьего царства».

Он помирал со смеху и спрашивал:

— Кто этот поэт, догадываюсь. Милейший человек! А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?

— Простите, дорогой, не удержались.

— А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо — закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны.

Необыкновенно хохотал он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то, на именинах моего отца, фунта два икры. Этой историей он начал рассказ «В овраге».

Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.

Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе:

— Ровно сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам, молодым, чета! Работник! Хотите, парочку продам?

Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу, — за последние дни много смочил платков кровью, — молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:

— А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!

Я останавливаюсь от изумления, а он с радостными глазами быстро шепчет:

— Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина!

Один писатель жаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!»

— Ах, что вы, что вы! — воскликнул он.— Это же чудесно — плохо начать! Поймите же, что, если у начинающего писателя сразу выходит все — честь честью, ему крышка, пиши пропало!

И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди *способные*, то есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишённые, потому что способность равняется умению приспособляться и «живет она легко», а талант мучится, ища проявления себя.

По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый и честный народ.

Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.

Руки у него были большие, сухие, приятные.

Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил.

Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не «грусть», не «теплоту».

Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки.

Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшкуну... Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора...

Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нет.

«Любовь,— писал он в своей записной книжке,— это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь».

Что думал он о смерти?

Много раз старательно-твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор:

— Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие — вздор.

Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:

— Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам это...

Последнее время часто мечтал вслух:

— Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот...

Его «Архиерей» прошел незамеченным — не то что «Вишневый сад» с большими бумажными цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь «Винта», «Мужиков», Художественного театра!

«Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне

с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят... И ей в самом деле не все верили...»

Последнее письмо я получил от него в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японию, «чудесную страну», которую, конечно, разобьет и раздавит Россия. Четвертого июля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы,— и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу...

Смерть его ускорила простуда. Перед отъездом из Москвы за границу он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости...

Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому («Как живет и работает Толстой») и которого Чехов, за его худобу и длинный рост, называл так:

— Погребальные дроги стоймя.

<1904—1914>

ТОЛСТОЙ

Я чуть не с детства жил в восхищении им.

Мальчиком я уже имел некоторое представление о нем, но не из чтения его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и мир» наши некоторые соседи помещики: один читает только «Войну», а другой только «Мир», то есть один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой — наоборот. И чувства к Толстому были у меня тогда уже не простые. Отец говорил:

— Я его немного знал. Во время севастопольской кампании встречал...

И, помню, я на него смотрел с восторженным удивлением: живого Толстого видел!

Откуда были у меня такие чувства к человеку, которого я еще ни строчки не прочел? Но с меня было довольно уже того, что он писатель. С самого детства писатели были для меня существами какого-то совсем особого рода, к которым я испытывал какое-то непередаваемое чувство, которого я и до сих пор не умею определить, как не умею сказать, как, когда и почему я сам стал писателем. Ответить на это для меня так же невозможно, как на то, с каких пор и как вообще я стал тем, что я есть. Когда же (как-то само собою) решилось, что мне надлежит быть только писателем, моей второй жизнью стала жизнь в том мире, где поэты, писатели. Но опять не помню, когда именно начал я читать Толстого и как случилось, что я выделил его из прочих. Бывает, что человек открывает что-нибудь прекрасное и дорогое для него внезапно, с изумлением. Этого со мной по отношению к Толстому не было, такой минуты я не помню. Вообще то прекрасное, что я встречал в детстве, отро-

честве, молодости, кажется, никогда не удивляло меня,— напротив, у меня было такое чувство, точно я знал его уже давно, так что мне оставалось только радоваться встрече с ним.

А затем долгие годы я был по-настоящему влюблен в него, в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? Раз я не выдержал: в один прекрасный летний день внезапно оседлал своего верхового киргиза и закатился на Ефремов, в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не больше ста верст. Но, доскакав до Ефремова, струсил, решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове — и всю ночь не мог заснуть от волнения, от поминутной смены решений, ехать или не ехать, скитался всю ночь по городу и так устал, что, зайдя на рассвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись, и совсем протрезвился, подумал еще немного — и поскакал назад, домой, где работники сказали мне:

— Эх, барчук, барчук, и как только ухитрились вы так обработать киргиза за одни сутки! За кем это вы гонялись?

После того я напрасно «гонялся» за Толстым еще несколько лет.

В молодости, плененный мечтами о чистой, здоровой и доброй жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, в братской дружбе не только со всеми бедными и угнетенными людьми, но и со всем растительным и животным миром, главное же опять-таки от влюбленности в Толстого, как художника, я стал толстовцем,— конечно, не без тайной надежды, что это даст мне наконец уже как бы несколько законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот, началось мое толстовское «послушание».

Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. В общем это был совершенно несносный народ; но я терпел. Первый, кого я узнал, был некто Клопский, человек довольно известный в то время в некоторых кругах и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Каронина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями и вообще всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. Среди полтавских толстовцев был доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхождению и по натуре большой барин, кое в чем похо-

дивший на Стиву Облонского. И вот, явившись в Полтаву, Клопский первым делом отправляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавские салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьезную фигуру, и где Клопский говорит, например, такие вещи:

— Да, да, вижу, как вы тут живете: лжете, да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которые уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мир? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова: приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «ваш билет». Я его спрашиваю: а что это значит, какой, собственно, билет? Отвечает: но билет, по которому вы едете? А я ему опять свое: позвольте, я не по билету, а по рельсам еду.— Значит, говорит, у вас билета нету? — Конечно, говорю, нету.— В таком случае мы вас на следующей станции высадим.— Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать. На следующей станции, действительно, являются: пожалуйста выходить. Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо.— Значит, вы выходить не желаете? — Разумеется, нет.— Тогда мы вас выведем.— Выведете? Но я не пойду.— Тогда вытащим, вынесем.— Что же, выносите, это ваше дело.— И вот меня, действительно, ташут: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать.

Таков был этот в некотором роде знаменитый Клопский. Прочие были не знамениты, но тоже хороши. Это были братья Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленький молодой человек болезненной, но редкой красоты, бывший паж, тоже мучивший себя мужицким трудом и тоже лгавший и себе, и другим, что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, ставший впоследствии известным под именем Тенеромо, человек, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник как в «учении», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидеть его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся братия смотрела на меня

уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом конце девяносто третьего года — вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, — принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, — а затем в Москву, к самому Толстому.

Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «беззубойное», то есть чорт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:

— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими: я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем...

Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а кроме того пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общение с ними и «укрепить» и себя и их этим общением на путях «добррой» жизни. Мы так и сделали — пожили у хилковских мужиков, какется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопения, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоедские споры о Писании истинно всеми силами души. Наконец, первого января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — новый год, понимаю ли я, какую старую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущий вздор, — завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого... И так оно и случилось.

Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: — «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу» — и убежал. А вернулся домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» — причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил еще и шамбертена, затем, очевидно, чтобы доказать, что он не раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это

мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники.

Как рассказать все последующее?

Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он, Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и убежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохеньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, со множеством шуб на вешалках, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

— Как прикажете доложить?

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

— Пожалуйте обождать наверх, в залу...

А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине его, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка и из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, — ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, — кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, — меж тем, как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке есть какое-то сходство с моим отцом, — быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает боль-

шую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычайно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть...

— Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь, пожалуйста, и расскажите мне о себе...

Он и заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей полной потерянности, и торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня. Что он еще говорил? Все расспрашивал:

— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте себе мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только очень мягкую серую материю его блузы да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос с характерным звуком несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: — из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, чудесно убранными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама.

— Léon,— сказала она,— ты забыл, что тебя ждут.

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы чуть виноватой улыбкой, с поднятыми бровями, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

— Ну, до свидания, до свидания, дай вам бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь, у вас не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...

И я ушел, убежал, совершенно вне себя, и провел вполне

сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с такой разительной яркостью и в такой дикой путанице, что и теперь вспомнить жутко, захватывал себя, просыпаясь, на том, что я что-то бормочу, брежу...

Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», незаконно, без должного разрешения продавать их на базарах, на ярмарках, за что и был судим и приговорен сидеть в тюрьме,— от которой меня спас, к моему тогдашнему большому горю, царский манифест,— затем завел книжную лавку, полтавское отделение «Посредника», и так запутал счеты, что порою примеривался повеситься. В конце концов я эту лавку просто бросил, уехал в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей этого «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчет «добрый» жизни. Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил страшно легко и быстро) по вечерам и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный братией, серьезно делавшей ему порою такие вопросы: «Лев Николаевич, но что же я должен был бы сделать, если бы на меня напал, например, тигр?» Он в таких случаях только смущенно улыбался и говорил: — Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра...

Вспоминаю еще, как однажды сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:

— Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости.

Он слегка нахмурился:

— Какие общества?

— Общества трезвости...

— То есть, это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его...

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

— Войдите,— ответил старческий альтовый голос.

И я вошел и увидел низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот

подсвечник, а потом и его самого, с книжкой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, верно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, — «Хозяин и работник». Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое, точно из бронзы литое. Он очень страдал в те дни — незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас же заговорил о нем:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному, белому Девичью Полю, он прыгал через канавы, так что я едва успевал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго, резко:

— Смерти нету, смерти нету!

В последний раз я видел его лет через десять после того. В страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной, подпрыгивающей походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он тоже приостановился и сразу узнал меня:

— Ах, это вы! Здравствуйте, надевайте, пожалуйста, надевайте шапку... Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и нежно несколько раз пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями.

— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

Париж, 1927

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕРЕВОДЫ

Песнь о Гайавате. Г. Лонгфелло (стр. 5).— Напечатано в газете «Орловский вестник», 1896, №№ 114, 116, 120, 128, 132, 133, 163, 168, 175, 180, 198, 200, 201, 202, 208, 210, 213, 217, 220, 226, 229, 236, 243, 248, 249, 252, 2 мая — 24 сентября. В конце 1896 года типография газеты «Орловский вестник» напечатала «Песнь о Гайавате» отдельной книгой

Второе издание «Песни о Гайавате» вышло в 1898 году приложением к январскому номеру петербургского журнала «Всходы».

В предисловии к этому изданию Бунин писал:

«Песнь о Гайавате» принадлежит к числу лучших произведений знаменитого американского поэта Лонгфелло. Лонгфелло считается не только первым поэтом Америки, но имеет право занять видное место и во всемирной литературе. «Добро и красота незримо разлиты в мире». — говорил он и стремился отыскивать их всюду, как в природе, так и в душе человека. Все произведения его проникнуты горячим чувством любви к людям, верой в добро, в необходимость дружной работы на пользу ближнего.

Лонгфелло (род. в 1807 г., умер в 1882 г.) жил во времена самого сильного расцвета рабства в Соединенных Штатах и во времена ожесточенного истребления туземных индейцев европейскими переселенцами.

Оба эти явления болезненно отозвались в чуткой душе поэта. В своих «Песнях о невольничестве» он в ярких, трогательных картинах изображает злосчастную судьбу рабов, в «Гайавате» он дает поэтический образ легендарного героя североамериканских индейцев.

Предание об этом герое повторяется в сказаниях различных племен индейцев: везде он является человеком сверхъестественного происхождения, который был послан божеством, чтобы расчистить реки и леса, научить людей земледелию и мирным искусствам.

В это предание Лонгфелло вплел другие индейские легенды, объясняющие разные явления природы. Действие поэмы происходит в стране племени оджибуэв, на южном берегу Верхнего Озера, между Живописными Скалами и Великими Песками. По выходе в свет (в 1855 г.) «Песнь о Гайавате» сразу приобрела громадную известность: она выдержала в полгода 30 изданий и переведена почти на все европейские языки».

Первый вариант перевода, напечатанный в «Орловском вестнике» и вышедший отдельным изданием в 1896 году, для следующих изданий просматривался и правился Буниным самым тщательным образом. Наи-

большее количество поправок было сделано для издания 1898 года. Переиздавая «Песнь о Гайавате» в 1899 году («Книжное дело») и в 1903 году («Знание»), Бунин продолжал вносить в текст перевода все новые и новые изменения и в собрании сочинений 1915 года достиг его полного совершенства.

Ниже приводятся варианты перевода, раскрывающие работу Бунина над его текстом

В «Орловском вестнике» первая строфа «Пролога» читалась:

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды,
От которых пахнет лесом,
Веет свежестью долины
И дымком лесных вигвамов;
Эти песни и сказанья,
Что доносят издалека
Гул великих водопадов,
Грохот дикий и стозвучный,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу...

В издании 1899 года эта строфа исправлена так:

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу...

В следующих изданиях приведенные строки уже не исправлялись
Вторая строфа в газете читалась:

Из лесов, с озер великих,
Из лугов страны полночной,
Из земли Оджибуэв,
Из земли Дакотов диких;
С гор и тундр, с болотных топей,
Где Шух-шух-га, цапля, бродит,
В камышах ища добычи.
Я их только повторяю
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги.

В издании 1898 года исправлено:

От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэв,
Из страны Дакотов диких;
С гор и тундр, с болотных топей,
Где Шух-шух-га за добычей
В кэмышях, в осоке бродит.
Повторяю эти сказки,
Эти были и преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги.

Исправление не удовлетворило Бунина. В последней редакции эта строфа читается:

От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэв,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадага.

Третья строфа в газете:

Если спросите — откуда
Добывал их Навадага,
Где нашел он эти сказки,
Эти старые преданья,—
Я скажу вам, я отвечу:
«В птичьих гнездах, в чаще леса,
На реках в норах бобровых,
На следах бизонов диких,
На горах в орлиных гнездах.

Она же в издании 1898 года:

Если спросите, где слышал,
Где нашел их Навадага,—
Я скажу вам, я отвечу:
«В птичьих гнездах, в чаще леса,
На прудах — в норах бобровых,
На лугах — в следах бизонов,
На скалах — в орлиных гнездах.

В этой же редакции строфа вошла и в окончательный текст с изменением, сделанным только в четвертой строке: «В гнездах певчих птиц, по рошам».

Больше исправлений потребовалось сделать в четвертой строфе. В газете было:

Эти песни пели птицы
На печальных диких тундрах,
На болотах и равнинах:
Читовейк, зук, Шух-шух-га,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
И угрюмый Мушкодаза.

В издании 1898 года Бунин снимает в тексте объяснения индейских слов:

Эти песни пели птицы
На болотах и на топиях,
В тундрах севера печальных:
Читовейк их пел, Шух-шух-га,
Вава, Манг и Мушкодаза —

и дает перевод их в примечаниях.

В издании 1899 года в этой строфе перевод индейских слов был дан в самом тексте:

Эти песни пели птицы
На болотах и на топиях,

В тундрах севера печальных:
Читовейк, зук, там пел их,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
Цапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза.

В издании 1903 года вместо «Эти песни пели птицы» напечатано: «Эти песни раздавались».

Пятая строфа в газете читалась:

Кто же, спросите вы снова,
Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу!
Хорошо, я расскажу вам,
Я отвечу и на это...

Исправление, сделанное для издания 1898 года, стало окончательным:

Если б дальше вы спросили:
«Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу!» —
Я сейчас бы вам ответил
На вопрос такую речью...

Дважды правилась шестая строфа. В «Орловском вестнике» она читалась:

Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
Где веселые потоки
Разливались светлой влагой,
Жил в индейской деревушке
Сладкозвучный Навадага.
За деревнею шли нивы,
А за ними — лес сосновый,
Рощи старых, звонких сосен,
Летом — темных и зеленых,
А зимою — белоснежных.

Она же в издании 1898 года:

Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы всюду,
А вдали шумели сосны,
Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в дни зимы холодной,
Полный вздохов, полный песен.

В 1903 году в этой строфе были еще раз исправлены шестая — девятая строки:

Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы, доли,
А вдали стояли сосны,

Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен.

Восьмая строфа получила окончательную редакцию в четвертом издании 1903 года. В газете две последние строки читались:

Чтоб счастливы были люди,
Чтоб народ его шел к благу.

В изданиях 1898 и 1899 годов:

Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб вести его ко благу.

В издании 1903 года еще раз была исправлена последняя строка:

Чтоб он шел к добру и правде.

Интересны варианты девятой строфы.

Газетный текст:

Вы, кто любите природу,
Сумрак леса, шопот листьев,
И долину в блеске солнца;
Вы, кто любите метели,
Вьюги снежные и ливни
И стремленье рек великих
По лесным угрюмым дебрям,
И в горах раскаты грома,
Повторяемые эхом,
Словно хлопанье орлиных
Тяжких крыльев в горных гнездах,—
Вы послушайте и эту
Песню девственной природы,
Песнь о мудром Гайавате!

Иначе выглядит эта строфа в изданиях 1898 и 1899 годов:

Вы, кто любите природу —
Сумрак леса, шопот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что, как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев, раздаются,—
Вы послушайте и эту
Песню девственной природы,
Песнь о мудром Гайавате!

Работа над этой строфой закончилась в 1903 году, когда была вычеркнута третья строка снизу, а две последние стали читаться:

Вам принес я эти саги,
Эту песнь о Гайавате!

Так же, как и «Пролог», правилась все главы «Песни о Гайавате». Исключительной требовательностью к себе, ценой огромного труда Бунин достиг того, что его перевод получил самую высокую оценку и всеобщее признание:

«Академия присудила Бунину премию Пушкина за перевод «Гайава-

ты», — сообщал А. М. Горький 8 октября 1903 года Е. П. Пешковой (А. М. Горький. Письма к Е. П. Пешковой. Государственное издательство художественной литературы, 1955);

«Во всемирной литературе немного есть эпических произведений, которые по художественной красоте превосходили бы «Песнь о Гайавате». Перевод исполнен прекрасно во всех отношениях», — писала газета «Русские ведомости»;

«Лонгфелло занимает место в ряду величайших поэтов... Лучшая поэма его — «Песнь о Гайавате». Переводчик вполне успешно справился со своей нелегкой задачей, сумел сохранить необыкновенную красоту стиля подлинника, не ослабив его могучей образности...» («Мир божий»);

«Песнь о Гайавате» — одно из замечательнейших произведений знаменитого американского поэта... Незаурядный перевод г. Бунина сделан с величайшей тщательностью, стих его легок и музыкален, образы поэтичны, тон выдержан прекрасно и как нельзя лучше передает то величественное впечатление, какое и должна производить «Песнь о Гайавате...» («Сын отечества»);

«Песнь о Гайавате» — одна из тех редких книг, которые с первых же страниц захватывают высокой и светлой поэзией. Г. Бунин дал больше, чем хороший перевод: он дал произведение, отличающееся всею прелестью оригинала» («Вестник воспитания»).

Аналогичны были отзывы и других журналов и газет.

Успех «Песни о Гайавате» требовал все новых и новых изданий. После 1903 года поэма печатается в собрании сочинений Бунина, вышедшем приложением к журналу «Нива»; в 1916 и 1918 годах ее дважды перепечатывает издательство М. и С. Сабашниковых. «Посылаю Вам, — писал Бунин М. В. Сабашникову, — то издание «Нивы», с которого надо набирать» (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина). В подготовленном для набора «нивском» издании Бунин изменил всего лишь несколько слов.

В нашем собрании сочинений «Песнь о Гайавате» печатается по изданию М. и С. Сабашниковых, вышедшему в 1918 году в серии «Памятники мировой литературы».

Годива. Поэма А. Теннисона (стр. 143). — Напечатано в четырнадцатом сборнике «Знание», 1906.

Перевод «Годивы» Бунин послал для сборника «Знание» К. П. Пятницкому, который 30 ноября 1906 года писал ему: «Вы настаивали, чтобы Ваши стихи шли вместе с последней крупной вещью Горького — его пьесой («Враги». — П. В.). Так и сделано... Рядом с нею — пять доставленных Вами стихотворений, в том числе «Дж. Бруно» и «Годива». Лучшего места не найти» (ЦГАЛИ).

Печатается по третьему тому собрания сочинений, 1915.

Теннисон Альфред (1809—1892) — английский поэт.

Каин. Мистерия Байрона (стр. 146). — Напечатано в журнале «Правда», 1905, №№ 2, 3, 4.

Над переводом «Каина» Бунин работал, как это видно из письма Горького к Пятницкому, в конце 1903 — начале 1904 года. В декабре 1903 года Горький писал Пятницкому: «Говорил с ним (Буниным. — П. В.) о переводе Байрона — это ему улыбается, особенно «Дон-Жуан». В январе, кончив «Каина», он будет в Питере» (А. М. Горький. Письма к К. П. Пятницкому. Государственное издательство художественной литературы, 1954).

Перевод «Каина» — полностью или в отрывках — Бунин предполагал напечатать в одном из сборников «Знание». 14 ноября 1904 года он писал А. М. Горькому из Киева: «Если решили «Каина» пока не печатать, то

не хотите ли одну сцену из него — напр[имер], «В пространстве» напечатать в сборнике памяти Чехова» («М. Горький. Материалы и исследования», сборник II. Издательство Академии наук СССР. М.-Л. 1936).

В третьем сборнике «Знание», посвященном памяти Чехова, эта сцена не печаталась. Передав «Канна» журналу «Правда», Бунин в начале февраля 1905 года правил в гранках первый акт мистерии, а затем и два следующих (Письма редактора журнала «Правда» В. Кожевникова к Бунину. ЦГАЛИ).

Печатается по книге: Байрон. Мистерии. Перевод И. А. Бунина. Книгоиздательство «Слово», Берлин, 1921.

Манфред. Драматическая поэма Байрона (стр. 197).— Отдельным изданием напечатано товариществом «Знание», 1904.

16 декабря 1902 года А. М. Горький писал К. П. Пятницкому:

«...Бунин задержал «Манфреда», которого Фед. Иван. (Федор Иванович Шалапин.— П. В.) читал первый раз хорошо, а второй — изумительно.

Ну, что же? Простим Бунину» (А. М. Горький. Письма к К. П. Пятницкому. Государственное издательство художественной литературы, 1954).

Выход поэмы в свет задержался почти на год. Книга была напечатана «Знанием» в конце 1903 года (цензурное разрешение от 30 сентября), на обложке указано: 1904

Печатается по книге: Байрон. Мистерии. Перевод И. А. Бунина, 1921.

Небо и Земля. Мистерия Байрона (стр. 232).— Напечатано во втором сборнике «Земля», «Московское книгоиздательство», 1909.

Печатается по книге: Байрон. Мистерии. Перевод И. А. Бунина. 1921.

Отрывок. Из Мюссе (стр. 255).— Печатается по первому тому собрания сочинений, 1915.

Мюссе Альфред де (1810—1857) — французский поэт.

Лилии. А. Аснык (стр. 256).— Печатается по первому тому собрания сочинений, 1915.

Аснык Адам (1838—1897) — польский поэт.

Астры. А. Аснык (стр. 257).— Печатается по первому тому собрания сочинений, 1915.

Золотой диск. Л. де Лиль (стр. 258).— Печатается по первому тому собрания сочинений, 1915.

Леконт де Лиль, Шарль-Мари (1818—1894) — французский поэт.

Усопшему поэту. Из Л. де Лилия (стр. 258).— В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту журнала «Всемирная иллюстрация», 1896, № 3, 13 января.

В темную ночь, в штиль, под экватором... <Л. де Лиль> (стр. 259).— Печатается по шестому тому собрания сочинений, 1915.

Эти стихи, печатавшиеся в издании 1915 года как оригинальное произведение Бунина, являются предельно точным переводом стихотворения Леконта де Лилия, и в нашем издании они включены в раздел переводов.

Псалом жизни. Г. Лонгфелло (стр. 259).— Печатается по первому тому собрания сочинений, 1915.

Смерть птиц. Ф. Коппе (стр. 260).— Печатается по первому тому собрания сочинений, 1915.

Коппе Франсуа (1842—1908) — французский поэт и драматург.

Завещание. Из Шевченко (стр. 261).— В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Журнала для всех», 1900, № 12, декабрь.

Бунин перевел только первые строки стихотворения Т. Г. Шевченко «Заповіт».

«Во зеленой темной роще...» Из Шевченко (стр. 261).— В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Журнала для всех», 1900, № 12, декабрь.

Бунин перевел только первые строки стихотворения Т. Г. Шевченко «Закувала зозулинька...».

В 1906 году перевод И. А. Бунина был перепечатан в сборнике: Т. Шевченко. «Кобзарь». Издание товарищества «Знание».

«...Шевченко — совершенно гениальный поэт», — писал Бунин в «Лице», вспоминая строки из одного его стихотворения.

Юношей, в 1890-х годах, на «барже с дровами», называвшейся «Чайкой», Бунин отправился в путешествие по Днепру и посетил могилу Шевченко, творчество которого горячо любил и ценил. Спустя несколько лет в иллюстрированном журнале для детей школьного возраста «Всходы» (1898, № 21, 1 ноября) появился его очерк об этом путешествии — «На «Чайке». В дальнейшем он не переиздавался.

Ниже печатаются отрывки из этого очерка.

Навсегда останется памятной для меня эта поездка на «Чайке»! То было мое первое юношеское путешествие. Позднее мне много пришлось помыкаться по белу свету, но, кажется, ни одно мое путешествие не запечатлелось так в моей душе, как эти недолгие скитания по югу России... Я видел шумные торговые пристани, которые кипели народом в живописных малорусских нарядах; видел старинные большие села, которых так много под Киевом, — эти сотни белых хат, утонувших в зеленых садах, и сверкающие над ними кресты сельских храмов; знал, наконец, что и там, по левую сторону Днепра, на его притоках и на степях, также тонут в садах веселые и многолюдные деревни, и ждал увидеть вечное пристанище того, кто так горячо любил все это, кто воплотил в своих песнях всю красоту своей родины вместе с горестями своей страдальческой жизни, и чье простое крестьянское имя — Тарас Шевченко — навсегда останется украшением русской литературы.

Впоследствии я бывал на могилах многих великих людей, но ни одна из них не произвела на меня такого трогательного впечатления, как могила украинского «кобзаря». И в самом деле, — чья могила скромнее и в то же время величественнее и поэтичнее? Вблизи ее — древний Канев, «место крови», по старинному турецкому наименованию, где почивают на древних монастырских кладбищах герои и защитники старинного казачества — Самийло Кишка, Шах и Иван Пидкова. Сама она — на высоких, живописных горах, далеко озирающих и Днепр, и синие долины, и сотни селений, — все, что только дорого было усопшему поэту. И в то же время как проста она! Небольшой холм, а на нем — белый крест с скромной надписью... вот и все! Когда-то тот, кто лежит теперь под ним, лелеял мечты о родной хате, которую ему хотелось поставить над Днепром, «принести и положить на днiproвых горах сердце замучено, источено горем». Он даже побывал перед смертью на этих горах и трогательно делился своими заветными мечтами с горячо любимую сестрою Но увы! Чем могла помочь она своему усталому грустному брату, великому человеку, которому, однако, нигде

было преклонить головы? Она сама была несчастная, замученная горем раба,— крепостная... А сам поэт... В детстве он, говорят, ушел раз в степь искать «конец света», и его нашли и привезли домой только случайно... Где же ему было нажить свой угол? Кто в детстве уходит искать «конец света», тот уж никогда не сумеет найти дорогу к благам жизни. И Тарас до могилы остался одиноким бедняком. Уезжая в Петербург после встречи с сестрою, он мог оставить ей,— может быть, с наворачившимися слезами,— только рублевую бумажку... И покой и приют от скитаний и горестей ему суждено было найти лишь в могиле...

Беленькая хатка, окруженная мальвами, маком и подсолнечниками, стоит теперь возле его надгробного креста. Чисто и уютно в ней, но хозяин ее никогда не переступит ее порога. Грустно смотрит его портрет со стены хатки на «Кобзарь», лежащий на столе, и как бы с укором говорит посетителю: «Что вы сделали со мною, люди? За что так грустно и одиноко протекла моя жизнь? Зачем положили вы меня в могилу, когда я так любил божий мир и свою родину?..»

Взволнованный, я часто возвращался мыслями в эту беленькую хату. С невыразимой грустью смотрел я на удаляющиеся от нас Каневские горы. И еще прекраснее и милее казалась мне теперь фодина великого народного поэта.

Был один из тех вечеров, которые так любят ласточки, вечер, когда им так привольно уноситься в ясное небо или скользить над зеркальной водою, быстро задевая ее острым крылышком, и снова с безотчетно-радостным щебетанием тонуть в чистом воздухе,— вечер, полный идеальной, гармоничной красоты.

Все самые нежные краски — от пепельно-розовой до пурпурно-золотистой,— все самые легкие отражения вечерней зари воспринимала неподвижная, широкая, как озеро, поверхность Днепра; даже странно было чувствовать, что мы плывем по ней,— так картинна и спокойна была она... А плыли мы уже под Секлярной, в тех местах, где правый берег после гор на несколько верст в ширину и длину расстилается в широкую низменную равнину. То были луга, заливные луга, не наши великорусские, от которых веет всегда пустынною, а украинские живописные луга, по которым то зеленеют роши, то одиноко идут среди сенокосов кудрявые деревья, красивые и картинно сокращенные далью, как на рисованных пейзажах. Может быть, летний вечер и мое настроение опозитизировали эти места; но только мне казалось, что именно эти места — настоящие украинские, такие, какими я рисовал себе их с детства, со всей поэзией и мечтательной красотой южной природы.

И я глядел в вечернюю даль этих заливных лугов, представлял себе зеленую сельскую улицу и почти слышал звонкие девичьи голоса около белых хат, далеко разливающиеся по тихой заре и поющие о том же, о чем пел и великий украинский поэт. Я опять вспоминал те могилообразные горы, от которых пахнуло на меня старыми преданьями, и невольно переплетал свои мысли с мыслями о жизни Тараса, не спуская глаз с его могилы.

И далекие Каневские горы долго рисовались позади нас, как смутно-лиловая тучка, на золотистом фоне запада. И всю зарю маячили их очертания за безбрежным зеркалом Днепра...

Крымские сонеты. А. Мицкевич. Аккерманские степи (стр. 261).— Печатается по первому тому собрания сочинений, 1915. Чатырдаг (стр. 262).— Печатается по первому тому собрания сочинений, 1915. Алушта ночью (стр. 262).— Печатается по третьему тому собрания сочинений, 1915.

Мицкевич Адам (1798—1855) — польский поэт.

В «Автобиографической заметке» (собрание сочинений, 1915, том первый) Бунин писал, что он еще в юношеские годы увлекался «некоторыми вещами Мицкевича, особенно его крымскими сонетами, балладами, стра-

ницами из «Пана Тадеуша». «Ради Мицкевича,— вспоминал он,— я даже учился по-польски».

В юности Бунин перевел стихотворение А. Мицкевича «Новый год». Под названием «На мотив Мицкевича» перевод был напечатан в 1892 году в газете «Орловский вестник», № 125, 14 мая.

Как новый феникс крылья распускает,
Из пепла старого уж новый год встает,
И целый мир его с надеждами встречает,
С мечтами радужными ждет...

Но что же мне судьба с ним посылает?
Мне пожелать чего на новый год?

Минут веселия, быть может?.. О, я знаю,
Я видел молнии радости земной;
Отверзши небеса и землю озаряя,
Они влекут всегда к ним воспарить душой...

Но тухнут молнии... и снова ночь немая
Закроет очи нам холодной темнотой...

Любви?.. И счастье, и райские виденья
Рисует нам она, горячка юных дней;
Мы в платоническом и гордом упоеньи
Становимся тогда бодрее и сильней...

Но время все берет... с небес без сожаленья
Свергает в юдоль печали и скорбей...

Я жил, любил, мечтами увлекался,
Далеко от земли меня мой сон унес.
На розы райские во сне я любовался,
Но лишь шипы достались мне от роз...

И больно мне, и сон мой миновался..
Нет, не хочу любви и не хочу я грез!..

Но, может, дружбы? — Сердце молодое
Богинь прекрасных много создает,
Но самой юной, чистой красотой
Богиня Дружбы на земле влечет;

Друзья счастливые живут одной душою,
Как жизньню одной все дерево живет.

Но если гром ударит над землею
И гнется дерево от бури каждый миг,
Как ветка каждая под темную грозою
Трепещет за себя и за других!..

Нет, к дружбе я остыл, я снова не открою
В душе родник для чувств ее святых!

Чего ж мне пожелать? Что радостью спокойной
Все примирит в душе измученной моей?

— Дубовая постель, приют уединенный
В земле сырой, далеко от людей,—

Где не тревожит день, сияющий и знойный,
Ни смех врагов, ни клевета друзей!
И до поры, пока дни счастья и невзгоды
Проходят над землей в лазурной вышине,
Как промечтал я молодые годы,
Хотел бы я мечтать в глубоком вечном сне —

Любить весь мир, всю красоту природы.
Но от людей вдали в могильной тишине..

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИИ

Чехов (стр. 265).— Первая часть воспоминаний о Чехове напечатана в третьем сборнике «Знание» за 1904 год, под названием «Памяти Чехова», вторая — в газете «Русское слово», 1914, № 151, 2 июля, под названием «О Чехове. Из записной книжки».

В 1890-х годах И. А. Бунин работал в редакции газеты «Орловский вестник». «К полудню приходила почта,— пишет он в «Лице».—...Я выбрал из почты новую книжку столичного журнала, торопливо разрезал ее... Новый рассказ Чехова! В одном виде этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на рассказ,— даже начала не мог прочесть от завистливой боли того наслаждения, которое предчувствовалось».

В январе 1891 года Бунин написал письмо Чехову:

«Многоуважаемый Антон Павлович!

Начинающие «писатели» имеют обыкновение ужасно надоедать различным редакторам, поэтам, беллетристам, более или менее известным, и очень многим другим с просьбами прочесть их произведения, сказать «беспристрастное» мнение и т. д. и т. д.— я принадлежу к этим господам, сознаю, что подобные просьбы иногда просто даже нетактичны и невежливы и... все-таки предлагаю их К гг. редакторам обращаться считаю, впрочем, излишним, почему — понятно. Обратиться поэтому решился к какому-либо писателю. Так как Вы самый любимый мной из современ[ных] писателей и так как я слышал от некоторых моих знакомых (харьковских), знающих Вас, что Вы простой и хороший человек,— то «выбор» мой «пал» на Вас. К Вам я решился обратиться с следующей просьбой: если у Вас есть свободное время для того, чтобы хоть раз обратить внимание на произведения такого господина, как я,— обратите, пожалуйста. Ответьте мне ради бога, могу ли я когда-нибудь прислать Вам два или три моих (печатных) рассказа и прочтете ли Вы их когда-нибудь от нечего делать, чтобы сообщить мне несколько Ваших заключений. Простите меня за назойливость, глубокоуважаемый Антон Павлович, и будьте снисходительны к просьбе

искренно уважающего Вас

Ив. Бунина.

Адрес: Елец, Орловской губ. Ивану Алексеевичу Бунину.

P. S. Стихи я печатал в «Неделе», «Север[ном] вест[нике]» и еще кое-где, а рассказы в местной газете, в «Орл[овском] вест[нике]» (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Письмо без даты. Датируется январем 1891 года по ответному письму Чехова к Бунину).

Чехов ответил Бунину 30 января 1891 года:

«Милостивый государь Иван Алексеевич!

Простите, что я так долго не отвечал на Ваше письмо. Я был в Петербурге и только сегодня вернулся в Москву.

Очень рад служить Вам, хотя, предупреждаю, я плохой критик и всегда ошибался, особенно, когда мне приходилось быть судьей начинающих авторов. Присылайте мне Ваши рассказы, но только не те, которые уже были напечатаны.

Готовый к услугам

А. Чехов.

Москва. М. Дмитровка, д. Фирганг» (А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, том XIX. Государственное издательство художественной литературы, 1950).

Так началась переписка Бунина с Чеховым. В 1895 году состоялось их личное знакомство, и с каждой встречей отношения их становились все более дружескими. Весной 1899 года в Ялте Чехов познакомил Бунина с Горьким. В 1900-е годы Бунин подолгу гостил на ялтинской даче у Чехова, работая над новыми произведениями. «Я, конечно, у Чеховых, очень хорошо принят и живу прекрасно, причем, ей богу, упорно пишу стихи», — сообщает Бунин брату Юлию 31 декабря 1900 года (ЦГАЛИ). «Очень радуюсь тому, что Бунин гостит у нас, жалею, что меня нет дома», — пишет Чехов из Ниццы матери 8 января 1901 года (А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, том XIX. Государственное издательство художественной литературы, 1950).

Чехов высоко ценил талант Бунина. Летом 1904 года он, уезжая за границу и прощаясь с Н. Д. Телешовым, сказал ему: «А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте» (Н. Д. Телешов «А. П. Чехов». Сборник «Чехов в воспоминаниях современников». Государственное издательство художественной литературы, 1954).

В июле 1904 года А. М. Горький, готовя к печати третий сборник «Знание», посвященный памяти А. П. Чехова, обращается к Бунину с просьбой принять участие в этом сборнике: «... пишите, я знаю, что у Вас выйдет хорошо: Вы любили, Вы знали Ан[тона] Павл[овича]. Дайте стихов и прозы и воспоминаний» (М. Горький. Собрание сочинений, том 28. Государственное издательство художественной литературы, 1954).

14 ноября 1904 года Бунин уведомляет Горького: «...рукопись о Чехове высылаю Вам завтра...» («М. Горький. Материалы и исследования», сборник II. Издательство Академии наук СССР. М.-Л. 1936).

После сборника «Знание» воспоминания Бунина о Чехове вместе с дополняющими их заметками «Из записной книжки», написанными в 1914 году к десятилетию со дня смерти Чехова, были напечатаны в шестом томе собрания сочинений, 1915.

В собрании сочинений, издательство «Петрополис», том десятый, 1935, эти воспоминания и заметки, переработанные и сокращенные, помещены под общим заглавием: «Чехов».

В настоящем собрании сочинений воспоминания о Чехове печатаются по этому тексту.

Ниже приводится один из наиболее интересных отрывков, исключенных из воспоминаний при переработке их для издания «Петрополис».

В собрании сочинений 1915 года после слов: «Море было большое». И только. По-моему, чудесно печаталось:

Может быть, это покажется кому-нибудь манерностью. Но — Чехов и манерность! «Скажу прямо, — говорит один из хорошо знавших Чехова, — я встречал людей, не менее искренних, чем Чехов, но людей до такой степени простых, чуждых всякой фразы и аффектировки, я не помню». Да,

он любил только искреннее, жизненное, органическое,— если только оно не было грубо и косно,— и положительно не выносил фразеров, книжников и фарисеев, особенно тех из них, которые настолько вошли в свои роли, что роли стали их вторыми натурами. В своих работах он почти никогда не говорил о себе, о своих вкусах, о своих взглядах, что и повело, кстати сказать, к тому, что его долго считали человеком беспринципным, необщественным. В жизни он также очень редко говорил о своих симпатиях и антипатиях: «я люблю то-то», «я не выношу того-то» — это не чеховские фразы. Но симпатии и антипатии его были чрезвычайно устойчивы и определены, и среди его симпатий одно из первых мест занимала именно естественность. «Море было большое...» Ему, с его постоянной жаждой наивысшей простоты, с его обращением ко всему вычурному, напряженному, казалось это «чудесным». А в его словах об офицере и музыке сказалась другая его особенность: сдержанность. Неожиданный переход от моря к офицеру, несомненно, вызван был его затаенной грустью о молодости, о здоровье. Море пустынно... А он любил жизнь, радость, и за последние годы эта жажда радости, хотя бы самой простой, самой обыденной, особенно часто сказывалась в его разговоре. Но именно только сказывалась.

Слова за последнее время стали очень дешевы. И хорошие и дурные слова произносятся теперь с удивительной легкостью и лживостью. Но, кажется, чаще всего так говорят об умерших. Очень много легкости, неточностей, а порой просто скудоумия можно встретить и в воспоминаниях о Чехове. Пишут, например, что Чехов поехал на Сахалин затем, чтобы поддержать репутацию «серьезного» человека, и в дороге так простудился, что нажил чахотку... Пишут, что смерть Чехова была ускорена постановкой «Вишневого сада»: накануне спектакля Чехов будто бы так волновался, так боялся, что его пьеса не понравится, что всю ночь бредил... Все это сущий вадор. На Сахалин Чехов поехал потому, что его интересовал Сахалин, и еще потому, что в путешествии он хотел встряхнуться после смерти брата Николая, талантливого художника. И чахотку он нажил не в Сибири,— о том, что его легкие «хрипят», он упоминал в письмах к сестре еще в восьмидесяти седьмом году,— хотя несомненно, что ездить ему не следовало: взять хотя бы этот страшно тяжелый двухмесячный путь на перекладных, ранней весной, в дождь и в холод, почти без сна и положительно на пище св. Антония благодаря дикости сибирских трактов! А что до волнений о «Вишневом саде»... Пишущие, конечно, очень чувствительны к тому, что говорят о них, и много, много в пишущих чувствительности жалкой, мелкой, неврастенической. Но как все это далеко от такого большого и сильного человека, как Чехов! Ибо кто с таким мужеством следовал велениям своего сердца, а не велениям толпы, как он? Кто умел так, как он, скрывать ту острую боль, которую причиняет человеческому уму человеческая глупость? Известен только один вечер, когда Чехов был явно потрясен неудачей, — вечер постановки «Чайки» в Петербурге. Но с тех пор много воды утекло... Да и кто мог знать, волнуется он или нет? Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие ему люди.

Мальчиком Чехов был, по словам его школьного товарища Сергеевко, «вядлым увальнем с лунообразным лицом». Я, судя по портретам и по рассказам родных Чехова, представляю его себе иначе. Слово «увальень» совсем не подходит к хорошо сложенному, выше среднего роста мальчику. И лицо у него было не «лунообразное», а просто большое, очень умное и очень спокойное. Вот это-то спокойствие и дало, вероятно, повод считать мальчика Чехова «увальнем», — спокойствие, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было — даже в последние годы. Но и спокойствие это было, мне кажется, особенное — спокойствие мальчика, в котором зрели большие силы, редкая наблюдательность и редкий юмор. Да и как, в про-

тивном случае, согласовать слова Сергеевко с рассказами матери и братьев Чехова о том, что в детстве «Антоша» был неистовым на выдумки, которые заставляли хохотать до слез даже сурового в ту пору Павла Егоровича (отец Чехова.— П. В.)! В юности — в те счастливые дни, когда ему доставляло наслаждение проецировать такие произведения, как «Искусственное разведение ежей — руководство для сельских хозяев»¹, — это спокойствие тонуло в пышном расцвете прирожденной Чехову жизнерадостности: все, кто знали его в эту пору, говорят о неотразимом очаровании его веселости, красоты его открытого, простого лица и его лучистых глаз. Но годы шли, дух и мысль становились глубже и прозорливее. Смело отдав дань молодости, первым непосредственным проявлениям своей богатой натуры, он приступил к суровому в своей художественной неподкупности изображению действительности.

В последние месяцы жизни И. А. Бунин, как сообщало издательство имени Чехова в предисловии к его книге «Петлистые уши и другие рассказы» (Нью-Йорк, 1953), работал над литературным портретом Чехова. Эта работа Бунина осталась незаконченной.

Стр. 270. *Южин* (Сумбатов) Александр Иванович (1857—1927) — народный артист РСФСР.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — писатель.

Соловцов (Федоров) Николай Николаевич (1856—1902) — драматический актер.

Стр. 271. *Савина* Мария Гавриловна (1854—1915) — артистка Александринского театра, исполнявшая в чеховских пьесах роли Саши в «Иванове» и Аркадиной в «Чайке».

Крылов Виктор Александрович (1838—1906) — драматург, театральный фельетонист, начальник репертуарной части петербургских театров; в русской драматургии термин «крыловщина» был нарицательным для обозначения поверхностных пьес.

Давыдова Александра Аркадьевна (1848—1902) — издательница журнала «Мир божий».

Семенов Сергей Терентьевич (1868—1922) — крестьянский писатель.

Стр. 272. *Найденов* Сергей Александрович (1869—1922) — драматург, автор пьес «Дети Ванюшина», «Богатый человек» и др.

Стр. 273. *Книппер* Ольга Леонардовна (род. в 1870 году) — жена А. П. Чехова. Артистка Московского Художественного театра, народная артистка СССР.

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933) — писатель,

Шестов (псевдоним Л. И. Шварцмана) (1866—1938) — литератор и критик.

Стр. 275. «*Посидите с Машей...*» — Маша — Чехова Марья Павловна (род. в 1863 году), сестра А. П. Чехова.

Стр. 276. *Кондаков* Никодим Павлович (1844—1925) — историк искусства, византист, академик.

Златовратский Николай Николаевич (1845—1911) — писатель.

Стр. 277. *Скабичевский* Александр Михайлович (1838—1910) — критик. Здесь имеется в виду его рецензия на книгу Чехова «Пестрые рассказы», напечатанная в журнале «Северный вестник», 1886, кн. VI.

Стр. 279. «... из комнаты *Евгении Яковлевны*» — Чехова Евгения Яковлевна (1835—1919) — мать А. П. Чехова.

¹ Имеется в виду юмористическая «Библиография», напечатанная Чеховым в журнале «Мирской толк», 1883, № 2, под псевдонимом «Гайка № 9».

Стр. 281. *Сергеенко* Петр Алексеевич (1854—1930) — литератор, учился одновременно с Чеховым в таганрогской гимназии. Его воспоминания о Чехове опубликованы в «Ежемесячных приложениях к «Ниве», 1904, кн. 10.

Толстой (стр. 282).— Напечатано в книге «Божье древо», Париж, 1931. Подготавливая воспоминания для десятого тома собрания сочинений, издательство «Петрополис», Бунин стилистически выправил их и сократил.

В 1955 году они были перепечатаны в журнале «Новый мир» № 6.

«Просто благоговение какое-то чувствую к Толстому!» — писал Бунин брату Юлию 22 июля 1890 года, сообщая при этом, что читает сейчас «Войну и мир» (ЦГАЛИ). Позднее, в 1892—1894 годах, работая в полтавской земской управе, он, «увлеченный толстовской проповедью, стал навещать «братьев», живших под Полтавой и в Сумском уезде, прилаживаться к бондарному ремеслу, торговать изданиями «Посредника» («Автобиографическая заметка». Собрание сочинений, 1915).

«Совершенно забыл, никогда не вспоминал — и вот вдруг вспомнил: давным-давно, бесконечно давно была в Полтаве лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками толстовского «Посредника», а над входом висела небольшая вывеска с моим именем: книжный магазин такого-то... Очень странно, но так: у меня был когда-то книжный магазин. Я считал себя тогда толстовцем...» («Автобиографические заметки». Собрание сочинений, издательство «Петрополис», том первый, 1936).

Встреча с Толстым, о которой Бунин пишет в воспоминаниях, состоялась в январе 1894 года. И «сам же Толстой..., созерцание которого произвело на меня истинно-потрясающее впечатление, — вспоминает Бунин, — и отклонил меня опрощаться до конца» («Автобиографическая заметка». Собрание сочинений, 1915).

О своем увлечении «толстовством» он писал также в рассказах «На даче» (1895), «В августе» (1901) и в «Лике» (1933).

Воспоминания о Толстом печатаются по десятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Стр. 283. *Клопский* — Клобский Иван Михайлович (1852—1898) — одна из незначительных фигур в среде толстовцев; производил впечатление душевно больного.

Волкештейн Александр Александрович (1852—1925) — земский врач.

Стр. 284. *Леонтьев* Борис Николаевич (1866—1909) — бывший паж, живя в Полтаве, занимался столярным ремеслом.

Тенеромо (псевдоним И. Б. Файнермана) (1863—1925) — учитель, впоследствии журналист. В 1890-х годах жил в Полтаве, занимаясь столярным ремеслом.

Стр. 288. «*Посредник*» — издательство московских толстовцев, выпускавшее дешевые книги для народа — художественные произведения и популярную научную литературу.

П. ВЯЧЕСЛАВОВ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
К I—V ТОМАМ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И. А. БУНИНА

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ВОСПОМИНАНИЯ

	Том	Стр.
Алексей Алексееч	IV	156
Алупка	IV	397
Антоновские яблоки	I	184
Архивное дело	III	201
Без роду-племени	I	169
Белая лошадь	I	296
Бернар	IV	420
Благосклонное участие	IV	187
Божье древо	IV	141
Брань	III	307
Братья	III	175
Будни	III	77
В августе	IV	235
Велга	I	161
Веселый двор	II	225
Весенний вечер	III	165
Вести с родины	I	59
В ночном море	IV	15
В одной знакомой улице	IV	370
Возвращаясь в Рим	IV	418
Волки	IV	336
Ворон	IV	385
В Париже	IV	338
В поле	I	106
В саду	IV	136
Всходы новые	III	11
Господин из Сан-Франциско	III	217
Грамматика любви	III	209
Грибок	IV	191

Далекое (1903—1926)	I	273
Далекое (1922)	IV	8
Дедушка	IV	209
Дело корнета Елагина	IV	106
Деревня	II	9
До победного конца	IV	217
Древний человек	II	163
«Дубки»	IV	372
Дурочка	IV	334
Ермил	III	49
Жертва	III	22
Журавли	IV	204
Забота	III	73
Заря всю ночь	I	268
Захар Воробьев	II	276
Золотое дно	I	262
Игнат	II	253
Ида	IV	95
Иоанн Рыдалец	III	17
История с чемоданом	IV	219
Исход	III	311
Кавказ	IV	309
Казимир Станиславович	III	264
Канун	IV	214
Капитал	IV	205
Кастрюк	I	45
Качели	IV	390
Клаша	III	195
Книга	IV	87
Князь во князьях	III	59
Комета	IV	206
Копье господне	III	90
Костер	I	232
Красавица	IV	332
Крик	II	155
К роду отцов своих	IV	174
Ландо	IV	179
Лапти	IV	83
Легкое дыхание	III	243
Летний день	IV	208
Лица	IV	228
Лирник Родион	III	43
Личарда	III	84
Ловчий	IV	400
Маленький роман	I	303
Маска	IV	215
Мелитон	I	221
Митина любовь	IV	28
Молодость	IV	185
Молодость и старость	IV	415

Мордовский сарафан	IV	102
Муза	IV	318
Муравский шлях	IV	200
На даче	I	129
Над городом	I	200
«Надежда»	I	253
На Донце	I	119
На край света	I	71
Натали	IV	346
На хуторе	I	54
На чужой стороне	I	66
Небо над стеной	IV	197
Новая дорога	I	204
Новый год	I	243
Ночной разговор	II	208
Огонь пожирающий	IV	22
Осенью	I	238
«Остров сирен»	IV	406
Отто Штейн	III	238
Памятный бал	IV	393
Пароход «Саратов»	IV	380
Первая любовь	IV	195
Первый класс	IV	213
Перевал	I	33
Петлистые уши	III	271
Петухи	IV	199
Письмо	IV	218
Подснежник	IV	164
Подторжье	II	5
Пожар	IV	203
Поздней ночью	I	181
Последнее свидание	III	5
Последний день	III	67
Последняя весна	III	294
Последняя осень	III	303
Постоялец	IV	210
Прекраснейшая солнца	IV	224
При дороге	III	127
Птицы небесные	I	311
Пыль	III	95
Роман горбуна	IV	184
Русак	IV	85
Руся	IV	324
Сверчок	II	199
Свидание	IV	198
Святые	III	156
Сила	II	171
Сказка	III	99
Скараabei	IV	74
Слон	IV	181
Снежный бык	II	160
Сны	I	256

Сны Чанга	III	281
Солнечный удар	IV	89
Соотечественник	III	258
Сосед	IV	76
Сосны	I	212
Старуха	III	235
Старый порт	IV	170
Степа	IV	313
Стропила	IV	207
Суета сует	IV	167
Суходол	II	110
Сын	III	248
Танька	I	36
Телячья головка	IV	183
Темир-Аксак-Хан	IV	5
Темные аллеи	IV	305
Тншина	I	249
Толстой	V	282
Третий класс	IV	412
Туман	I	227
Убийца	IV	180
Ужас	IV	201
У истока дней	I	286
Учитель	I	76
Ущелье	IV	194
Холодная осень	IV	376
Хорошая жизнь	II	180
Хороших кровей	III	104
Худая трава	III	26
Цифры	I	278
Часовня	IV	392
Чаша жизни	III	110
Чехов	V	265
Эпитафия	I	196
Я все молчу	III	147

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Ай, тяжела турецкая шарманка!..» (С обезьяной)	II	363
Айя-София («Светильники горели, непонятный...»)	II	340
Аленушка («Аленушка в лесу жила...»)	III	357
«Аленушка в лесу жила...» (Аленушка)	III	357
Алисафия («На песок у моря синего...»)	III	323
«Английские солдаты из цитадели...» (Каир)	II	366
Апрель («Туманный серп, неясный полумрак...»)	II	315
«Архангел в сияющих латах...» (Михаил)	IV	446
Атлант («...И долго, долго шли мы плоскогорьем...»)	II	337
«Багряная печальная луна...»	I	414
Балагула («Балагула убегает и трясет меня...»)	II	360
«Балагула убегает и трясет меня...» (Балагула)	II	360

Бальдер («Хаду — слепец, он жалок. Мрак глубокий...»)	II	301
«Бегут, бегут листы раскрытой книги...»	II	387
Бедуин («За Мертвым морем — пепельные грани...»)	II	377
Без имени («Курган разрыт. В тяжелом саркофаге...»)	II	386
Безнадежность («На севере есть розовые мхи...»)	II	356
«Белые круглятся облака...»	IV	429
«Белый голубь летит через море...» (Голубь)	IV	448
Белый олень («Едет стрелок в зеленые луга...»)	III	323
«Белый полдень, жар несносный...» (Поморье)	II	317
Берег («За окном весна сияет новая...»)	II	391
Березка («На перевале дальнем, на краю...»)	II	400
«Беру твою руку и долго смотрю на нее...»	I	367
«Бледна приморская страна...» (Разлука)	IV	439
«Бледнеет ночь... Туманов пелена...»	I	328
«Бледнозеленые грустные звезды...» (В горной долине)	II	332
«Блистая, облака лепились...» (Розы)	II	319
«Бог для ночных паломников в Могребе...» (Путеводные знаки)	II	341
Богиня («Навес кумирни, жертвенник в жасмине...»)	III	362
Богом разлученные («В ризы черные одели...»)	III	347
Бог полдня («Я черных коз пасла с меньшей сестрой...»)	II	374
«Болото тихой северной страны...» (Трясина)	II	356
«Большая муфта, бледная щека...» (Поэтесса)	IV	447
«Брат, в запыленных сапогах...» (Донник)	II	318
«Брат, как пасмурно в келье...» (Послушник)	II	338
Бред («Стоит, трепещет Стрекоза...»)	IV	442
Бродяги («На позабытом тракте к Оренбургу...»)	I	411
«Бушует полая вода...»	I	341
«Был ослеплен Самсон, был господом обижен...» (Самсон)	II	333
«Был поздний час — и вдруг над темнотою...»	I	389
Вальс («Похолодели лепестки...»)	II	382
«В апрельский жаркий полдень, по кремнистой...» (Воскре- сение)	II	380
В Архипелаге («Осенний день в лиловой крупной зыби...»)	II	370
«В белом песке золотое блеснуло кольцо...» (Кольцо)	II	306
«В березовсм лесу, где распевают птицы...» (Лесная дорога)	I	407
«В блеске огней, за зеркальными стеклами...» (Полевые цветы)	I	323
«В вечерний час тепло во мраке леса...» (Ночлег)	II	400
«В воскресенье, раньше литургии...» (О Петре-разбойнике)	II	396
«В гелиотроповом свете молний летучих...»	IV	433
«В глубоких колодцах вода холодна...» (Поэту)	III	337
«В глуши лесной, в глуши зеленой...» (Родник)	I	383
«В голых рощах веял холод...» (Ландыш)	IV	445
В горах («Катится диском золотым...»)	II	325
«В горах, от снега побелевших...» (Миньона)	III	354
В горах («Поэзия темна, в словах не вырази...»)	III	354
«В горах Сицилии, в монастыре забытом...» (Кадильница)	III	347
В горной долине («Бледнозеленые грустные звезды...»)	II	332
«В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины...»	II	297
«Вдали еще гремит, но тучи уж свалились...»	I	381
«Вдали темно и чащи строги...» (Псковский бор)	III	319
«В деревне капали капли...» (Небо)	II	327
Вдовец («Железный крюк скрипит над колыбелью...»)	II	385
«Вдоль этих плоских знойных берегов...»	II	359
«Вдыхая тонкий запах четок...» (Закат)	II	311

«Веет утро прохладой степною...» (На проселке)	I	354
Венеция («Восемь лет в Венеции я не был...»)	III	331
Венеция («Колоколов средневековый...»)	IV	432
Вершина («Леса, скалистые теснины...»)	II	304
Весеннее («Тает снег — и солнце ярко...»)	I	345
«Весна! Темнеет над аулом...» (Новоселье)	II	338
Веснянка («Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью...»)	I	397
«Весь день метель. За дверью у соседа...» (Кружево)	II	390
«Ветви кедра — вышивки зеленым...» (Из окна)	II	315
«Ветер осенний в лесах подымается...»	I	330
«Вечернее зимнее солнце...» (Диза)	II	301
Вечерний жук («На лиловом небе...»)	III	363
«Вечерний час. В долину тень сползла...» (Горный лес)	II	370
«Вечерних туч над морем шла гряда...» (Памяти друга)	III	370
Вечер («О счастье мы всегда лишь вспоминаем...»)	II	378
«В жарком золоте заката Пирамиды...»	III	340
«Взвевая легкие гардины...» (Сполохи)	II	398
«Видел сон Мушкет...» (Мушкет)	III	330
«Вид на залив из садика таверны...»	IV	426
Вино («— На Яйле зазеленели буки...»)	II	381
Вирь («Где ельник сумрачный стоит...»)	I	376
В кипящей пене валуны...» (Отлив)	III	362
В крымских степях («Синеет снеговой простор...»)	II	340
«В лесах кричит павлин, шумят и плещут ливни...» (Цейлон)	III	338
«В мелколесье пело глухо, строго...»	II	392
В Москве («Здесь, в старых переулках за Арбатом...»)	II	386
«Вода за холодные, серые дни в октябре...» (Рыбалка)	II	352
«Во имя бога, вечно всеблагого!...» (Закон)	II	362
Война («От кипарисовых гробниц...»)	III	339
«В окно я вижу груды облаков...» (Отрывок)	I	403
«В окошко из темной каюты...»	I	358
«Вокруг пещеры гул. Над нами мрак. Во мраке...» (Прометей в пещере)	II	369
«Волна ушла — блестят, как золотые...» (Золотой невод)	II	337
«Волна, хрустальная, тяжелая, лизала...» (Грот)	IV	449
В орде («За степью, в приволжских песках...»)	III	357
«Ворох листьев сухих все сильней, веселей разгорается...» (Костер)	I	353
«Восемь лет в Венеции я не был...» (Венеция)	III	331
Воскресение («В апрельский жаркий полдень, по кремнистой...»)	II	380
Воспоминание («Золотыми цветут острями...»)	IV	427
Восход луны («В чаше шорох потаенный...»)	IV	447
«Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны...»	IV	426
«Вот и скрылись, позабылись снежных гор чалмы...» (К востоку)	II	341
«Воткнув копье, он сбросил шлем и лег...» (После битвы)	II	295
В открытом море («В открытом море — только небо...»)	II	315
«В открытом море — только небо...» (В открытом море)	II	315
«Вот он идет проселочной дорогой...» (Слепой)	II	351
«Вот он снова, этот белый...»	IV	444
В отъезде поле («Сумрак ючи к западу уходит...»)	I	378
«Вот этот дом, сто лет тому назад...» (Дедушка в молодости)	III	367
В первый раз («Ночью лампа на окне стояла...»)	II	399
«Впереди большак, подвода...» (Цыганка)	I	336
В поезде («Все шире вольные поля...»)	I	347
«В поздний час мы были с нею в поле...»	I	394
«В полдневный зной, когда на щебень...» (Океаниды)	II	330
«В полночь выхожу один из дома...»	I	331

«В полях, далеко от усадьбы...» (Сапсан)	II	291
«В полях сухие стебли кукурузы...»	II	359
«В пустой маяк, в лазурь оконных впадин...» (На маяке)	II	322
«В пустом, сквозном чертоге сада...»	IV	447
«В пустынной вышине...»	I	366
«Враждебных полон тайн на взгорье спящий лес...»	I	370
«В ризы черные одели...» (Богом разлученные)	III	347
«Все лес и лес. А день темнеет...»	I	368
«Все море — как жемчужное зеркало...»	II	329
«Все снится: дочь есть у меня...» (Дочь)	IV	435
«Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...»	I	379
«Все — точно в полусне. Над серою водой...» (Сумерки)	I	384
«Все шире вольные поля...» (В поезде)	I	347
В Сицилии («Монастыри в предгорьях глухих...»)	III	322
«В старой, темной девичьей...» (Няня)	II	383
В старом городе («С темной башни колокол уныло...»)	I	391
В степи («Вчера в степи я слышал отдаленный...»)	I	334
«В степи, с обрыва на сто миль...» (Обвал)	II	358
«В столетнем мраке черной ели...»	II	389
«В стороне далекой от родного края...»	I	345
«В стороне от дороги, под дубом...» (Деревенский нищий)	I	320
Встреча («Ты на плече, рукою обнаженной...»)	IV	433
«В сумраке утра проносится призрак Одина...»	II	300
«В сухом лесу стреляет длинный кнут...» (Молодость)	III	356
«В сырой избушке шорника Лукьяна...» (Лимонное зерно)	II	393
«Вся в снегу, кудрявом, благовоном...» (Старая яблоня)	IV	449
«В темнеющих полях, как в безграничном море...»	I	327
«В угольной — солнце, запах кипариса...» (Наследство)	II	351
«В холодный зал, луною освещенный...» (Мистифику)	II	332
В цирке («С застывшими в блеске зрачками...»)	IV	443
«В час полуденный, зыбко сливаясь по Древу...» (Искушение)	III	348
«В чаще шорох потаенный...» (Восход луны)	IV	447
«Вчера в степи я слышал отдаленный...» (В степи)	I	334
«В чистом поле, у камня Алатыря...» (Конь Святогора)	III	328
«Высокий белый зал, где черная рояль...»	IV	440
«Высоко в небе месяц ясный...» (Тень)	II	313
«Высоко в просторе неба...»	I	388
«Высоко наш флаг трепещет...»	I	396
«Высоко поднялся и белеет...» (Рассвет)	I	383
«Высоко полный месяц стоит...»	I	325
«Высоко стоит луна...» (Терем)	II	319
«Вьется путь в снегах, в степи широкой...»	I	359
Гаданье («Гадать? Ну что же, я послушна...»)	IV	446
«Гадать? Ну что же, я послушна...» (Гаданье)	IV	446
Газелла («Холодный ветер дует с Мензалэ...»)	IV	441
Гальциона («Когда в волне мелькнул он мертвым ликом...»)	II	375
«Гаснет вечер, даль синее...»	I	344
«Где ельник сумрачный стоит...» (Вирь)	I	376
«Где ты, звезда моя заветная...» (Сириус)	IV	432
«Геймдалль искал родник божественный...»	II	355
«Герой — как вихрь, срывающий палатки...» (Мудрым)	II	344
«Глаза козюли, медленно ползущей...» (Ночная змея)	III	321
«Глубокая гробница из порфира...» (Гробница)	III	327
Голуби («Раскрыт балкон, сожжен цветник морозом...»)	II	322
Голубь («Белый голубь летит через море...»)	IV	448
Горе («Меркнет свет в небесах...»)	II	323

«Горит хрусталь, горит рубин в вине...» (Полдень)	II	373
«Горный клоч по скатам и оврагам...» (Гробница Сафии)	II	345
Горный лес («Вечерний час. В долину тень сползла...»)	II	370
«Гор сиреневых кручи встают...»	IV	438
«Горячо сухой песок сверкает...» (Зной)	I	384
«Гранитный крест меж сосен, на песчаном...» (Руслан)	III	364
Гробница («Глубокая гробница из порфира...»)	III	327
Гробница Рахили («И умерла, и схоронил Иаков...»)	II	378
Гробница Сафии («Горный клоч по скатам и оврагам»)	II	345
«Гроза прошла над лесом стороною...»	I	390
«Громады гор, зазубренные скалы...» (Кондор)	I	414
Грот («Волна, хрустальная, тяжелая, лизала...»)	IV	449
«Густой зеленый ельник у дороги...»	II	326
Дагестан («Насторожись, стань крепче в стремена...»)	II	338
«— Дай мне звезду,— твердит ребенок сонный...» (Летняя ночь)	III	322
«Далеко за морем...»	I	331
«Далеко на севере Капелла...»	II	306
Два голоса («— Ночь, сынок, непроглядная...»)	III	319
Две радуги («Две радуги — и золотистый, редкий...»)	II	311
«Две радуги — и золотистый, редкий...» (Две радуги).	II	311
Дворецкий («Ночник горит в холодном и угрюмом...»)	II	394
«Девочки-русалочки» (Петров день)	II	348
Дедушка в молодости («Вот этот дом, сто лет тому назад...»)	III	367
Дедушка («Дедушка ест грушу на лежанке...»)	III	329
«Дедушка ест грушу на лежанке...» (Дедушка)	III	329
«День распогодился с закатом...» (Келья)	II	320
Деревенский нищий («В стороне от дороги, под дубом...»)	I	320
Детская («От пихт и елей в горнице темней...»)	II	309
Детство («Чем жарче день, тем сладостней в бору...»)	II	316
Джордано Бруно («Ковчег под предводительством осла...»)	II	367
Диза («Вечернее зимнее солнце...»)	II	301
Дикарь («Над стремью скал — чернеющий орел...»)	II	357
«Дикий лавр, и плющ, и розы...» (У гробницы Виргилия)	III	350
Дня («Штиль в безгранично-светлом Ак-Денизе...»)	II	361
«Для жизни жизни! Вон пенные буруны...» (С корабля)	II	357
«Дни близ Неаполя в апреле...» (Nel mezzo del camin di nostra vita)	IV	450
«Догорел апрельский светлый вечер...»	I	342
«Долог был во мраке ночи...»	I	355
«Домой я шел по скату вдоль Оки...» (Запустение)	II	307
Донник («Брат, в запыленных сапогах...»)	II	318
Дочь («Все снится: дочь есть у меня...»)	IV	435
«Древнюю чашу нашел он у шумного синего моря...» (Надпись на чаше).	II	302
«Дул теплый ветер. Точно сея...» (Колизей)	III	356
Дурман («Дурману девочка наелась...»)	III	348
«Дурману девочка наелась...» (Дурман)	III	348
«Духи над пустыней пролетали...» (Магомет в изгнании)	II	365
«Дымится поле, рассвет белеет...»	I	390
Дюны («За сизыми дюнами — северный тусклый туман...»)	II	331
Дядька («За окнами — снега, степная гладь и ширь...»)	II	354
«Едем бором, черными лесами...»	III	374
«Едет стрелок в зеленые луга...» (Белый олень)	III	323
«Ельничком, березничком — где душа захочет...» (Мужичок)	II	394
«Если б вы и сошлись, если б вы и смирились...»	I	410

«Если б только можно было...»	I	352
«Еще и холоден и сыр...»	I	388
«Еще от дома на дворе...»	I	344
«Еще утро не скоро, не скоро...»	I	381
Жасмин («Цветет жасмин. Зеленой чашей...»)	II	291
«Железный крюк скрипит над колыбелью» (Вдовец)	II	385
Жена Азиса («Уличив меня в измене...»)	II	342
«Жесткой, черной листвою шелестит и трепещет кустарник...» (Кустарник)	I	405
«Жизнь впереди, до старости далеко...» (Судра)	II	321
«Забил буграми жемчуг, залюбился...» (Проводы)	II	347
Забывтый фонтан («Рассыпался чертог из янтаря...»)	I	412
«За днями серыми и темными ночами...» (Затишье)	I	325
Зазимок («Сивером на холоде...»)	III	342
Закат («Вдыхая тонкий запах четок...»)	II	311
Закон («Во имя бога, вечно всеблагото!...»)	II	362
«За Мертвым морем — пепельные грани...» (Бедуин)	II	377
«За мирным Днепром, за горами...» (На Днепре)	I	357
«За окнами — снега, степная гладь и ширь...» (Дядька)	II	354
«За окном весна сияет новая...» (Берег)	II	391
«Запели жрецы, распахнулись врата — восхищенный...» (Конь Афины-Паллады)	III	369
«Заплакали чибисы, тонко и ярко...» (Чибисы)	II	388
«За погостом Скутари, за черным...» (Напутствие)	II	362
Запустение («Домой я шел по скату вдоль Оки...»)	II	307
«За рекой луга зазеленели...»	I	346
«Зарницы лик, как сновиденье...»	I	396
«За сизыми дюнами — северный тусклый туман...» (Дюны)	II	331
«Засинели, темнеют равнины...» (По вечерней заре)	I	382
«За степью, в приволжских песках...» (В орде)	III	357
Затишье («За днями серыми и темными ночами...»)	I	325
«Затрепегали звезды в небе...»	I	370
«Зацвела на воле...» (Песня)	II	396
«...Зачем и о чем говорить?...»	I	337
«Зашелестела тонкая трава...» (Змея)	IV	425
«Звезда, воспламеняющая твердь...»	IV	437
«Звезды ночи осенней, холодные звезды!...»	I	402
«Звезды ночью весенней нежнее...»	I	362
«Звон на верблюдах, ровный, полусонный...» (Караван)	II	376
«Здесь, в старых переулках за Арбатом...» (В Москве)	II	386
«Здесь царство Амазонок. Были дики...» (У берегов Малой Азии)	II	334
«Здесь царство снов. На сотни верст безлюдны...» (Ковсери)	II	343
Зейнаб («Зейнаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин...»)	II	344
«Зейнаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин...» (Зейнаб)	II	344
«Зеленоватый свет пустынной лунной ночи...»	I	369
«Зеленый цвет морской воды...»	I	394
«Земной, чужой душе закат!...»	IV	437
Зеркало («Темнеет зимний день, спокойствие и мрак...»)	III	353
Зимний день в Оберланде («Лазурным пламенем сияют не- беса...»)	I	413
Зимняя вилла («Мистраль качает ставни. Целый день...»)	II	397
Змея («Зашелестела тонкая трава...»)	IV	425
Змея («Покуда март гудит в лесу по голым...»)	II	327
Зной («Горячо сухой песок сверкает...»)	I	384

Зов («Как старым морякам, живущим на покое...»)	II	401
Золотой невод («Волна ушла — блестят, как золотые...»)	II	337
«Золотыми цветут остриями...» (Воспоминание)	IV	427
«И ветер, и дождик, и мгла...» (Одиночество)	II	294
«И вот опять уж по зарям...»	I	364
Игроки («Овальный стол, огромный. Вдоль по залу...»)	III	367
«И дни и ночи до утра...» (Мать)	I	349
«...И долго, долго шли мы плоскогорьем...» (Атлант)	II	337
Иерихон («Скользят, текут огни зеленых мух...»)	II	376
Из анатолийских песней. Девичья («Свежий ветер дует в сумерках...»)	II	361
Из анатолийских песней. Рыбачья («Летом в море легкая вода...»)	II	362
«Изнемогла, в качалке задремала...» (Последние слезы)	II	374
Из окна («Ветви кедра — вышивки зеленым...»)	II	315
«Из тесной пропасти ущелья...»	I	400
Имру-уль-Кайс («Ушли с рассветом. Опустели...»)	II	379
Индийский океан («Над чернотой твоих пучин...»)	III	355
Иней («Леса в жемчужном инее. Морозно...»)	II	293
«И скрип и визг над бухтой, наводненной...»	II	359
Искушение («В час полуденный, зыбко сливаясь по Древу...»)	III	348
«И сладостно и грустно видеть ночью...» (Огонь на мачте)	II	314
«...И снилось мне, что осенней порой...»	I	348
«...И снилось мне, что мы, как в сказке...» (Сказка)	II	317
«И снова вечер, сухо позлативший...» (Сторож)	II	391
Истара («Луна, бог Син, ее зарей встречает...»)	II	366
«И умерла, и схоронил Иаков...» (Гробница Рахили)	II	378
«Ищу я в этом мире сочетанья...» (Ночь)	I	395
Кадильница («В горах Сицилии, в монастыре забытом...»)	III	347
Казнь («Туманно утро красное, туманно...»)	III	341
Каир («Английские солдаты из цитадели...»)	II	366
«Какая теплая и темная заря!...»	I	327
«Как в апреле по ночам в аллее...»	IV	431
«Как в гору, шли мы в зыбь, в спящий блеск заката...» (Мертвая зыбь)	II	380
«Как все вокруг сурово, снежно...»	I	335
«Как все спокойно и как все открыто!..»	I	411
«Как дымкой даль полей закрыв на полчаса...»	I	333
«Как дым, седая мгла мороза...» (Сумерки)	II	326
«Как печально, как скоро померкла...»	I	321
«Как розовое море — даль пустынь...» (Стон)	II	331
«Как светла, как нарядна весна!..»	I	369
«Как старым морякам, живущим на покое...» (Зов)	II	401
«Как стая птиц, в пустыне одиноко...» (Рассвет)	II	373
Калабрийский пастух («Лохмотья, нож — и цвета черной крови...»)	III	372
Каменная баба («От зноя травы сухи и мертвы...»)	II	332
Канарейка («Канарейку из-за моря...»)	IV	446
«Канарейку из-за моря...» (Канарейка)	IV	446
Капри («Проносились над островом зимние шквалы и бури...»)	III	373
Караван («Звон на верблюдах, ровный, полусонный...»)	II	376
«Катится диском золотым...» (В горах)	II	325
«К вечеру море шумней и мутней...»	IV	442
К востоку («Вот и скрылись, позабылись снежных гор чалмы...»)	II	341
Кедр («Темный кедр растет среди долины...»)	I	393

Келья («День распогодился с закатом...»)	II	320
Кипарисы («Пустынная Яйла дымится облаками...»)	I	358
«Князь Всеслав в железы был закован...» (Князь Всеслав)	III	345
Князь Всеслав («Князь Всеслав в железы был закован...»)	III	345
Косерь («Здесь царство снов. На сотни верст безлюдны...»)	II	343
«Ковчег под предводительством осла...» (Джордано Бруно)	II	367
Ковыль («Что шумит-звонит перед зарею?»)	I	350
«Когда в волне мелькнул он мертвым ликом...» (Гальциона)	II	375
«Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена...»	I	409
«Когда деревья в светлый майский день...»	I	380
«Когда ковчег был кончен и наполнен...» (Потоп)	II	335
«Когда-то, над тяжелой баркой...»	III	348
«Колеса мелкий снег взрывали и скрипели...» (На Невском)	III	371
Колибри («Трава пестрит — как разглядеть змею?»)	II	381
Колизей («Дул теплый ветер. Точно сея...»)	III	356
«Колоколов средневековой...» (Венеция)	IV	432
Кольцо («В белом песке золотое блеснуло кольцо...»)	II	306
Кондор («Громады гор, зазубренные скалы...»)	I	414
Конь Афины-Паллады («Запели жрецы, распахнулись врата — восхищенный...»)	III	369
Конь Святогора («В чистом поле, у камня Алтыря...»)	III	328
Косогор («Косогор над разлужьем и пашни кругом...»)	II	310
«Косогор над разлужьем и пашни кругом...» (Кссогор)	II	310
«Костел-маяк, примета мореходу...» (Стрижи)	II	360
Костер («Ворох листьев сухих все сильнее, веселей разго- рается...»)	I	353
«Костер трещит. В фелюке свет и жар...» (С острогой)	II	330
«Кошка в крапиве за домом жила...»	II	354
«К побережью моря длинная аллея...»	I	385
«Край без истории... Все лес да лес, болота...»	III	365
«Крест в долине при дороге...»	I	410
Крещенская ночь («Темный ельник снегами, как мехом...»)	I	322
Криница («Торчит журавль над шахтой под горой...»)	II	394
Кружево («Весь день метель. За дверью у соседа...»)	II	390
«Крупный дождь в лесу зеленом...»	I	347
«— Кто там стучит? Не встану. Не открою...» (Рыбачка)	II	375
Купальщица («Смугла, ланиты побледнели...»)	II	388
«Курган разрыт. В тяжелом саркофаге...» (Без имени)	II	386
Кустарник («Жесткой, черной листвой шелестит и трепещет кустарник...»)	I	405
«Лазурным пламенем сияют небеса...» (Зимний день в Обер- ланде)	I	413
Ландыш («В голых рощах веял холод...»)	IV	445
«Легко и бледно небо голубое...» (Пахарь)	II	310
«Лебяжья ночь, мистраль...» (Ночь)	IV	451
«Леса в жемчужном тинее. Морозно...» (Иней)	II	293
«Леса, скалистые теснины...» (Вершина)	II	304
«Лес,— и ясно лазурное небо глядится...»	I	340
Лесная дорога («В березовом лесу, где распевают птицы...»)	I	407
«Лес, точно терем расписной...» (Листопад)	I	371
«Лес шумит невнятным, ровным шумом...»	I	380
Летняя ночь («—Дай мне звезду,—твердит ребенок сонный...»)	III	322
«Летом в море легкая вода...» (Из анатолийских песней. Ры- бачка)	II	362
«Лик прекрасный и бескровный...»	IV	441
«Лиман песком от моря отделен...»	III	352

Лимонное зерно («В сырой избушке шорника Лукьяна...»)	II	393
Листопад («Лес, точно терем расписной...»)	II	393
«Листья падают в саду...»	I	364
«Лицом к туманной зыби хороните...» (Пращуры)	III	320
«Лохмотья, нож — и цвета черной крови...» (Калабрийский па- стух)	III	372
«Луна, бог Син, ее зарей встречает...» (Истара)	II	366
«Луна еще прозрачна и бледна...»	II	298
«Луна над шумною Курюю...»	IV	438
«Льет без конца. В лесу туман...»	IV	434
«Любил он ночи темные в шатре...»	I	401
«Люблю сухой, горячий блеск червонца...» (На рейде)	II	360
«Люблю цветные стекла окон...»	II	348
«Люблю я наш обрыв, где дикою гряною...» (На острове)	I	406
Людмила («На западе весною под вечер тучи сини...»)	III	355
Магомет в изгнании («Духи над пустыней пролетали...»)	II	365
Малайская песня («Чернеет зыбкий горизонт...»)	III	343
Матрос («Ночью в море крепко спать хотелось...»)	III	328
Мать («И дни и ночи до утра...»)	I	349
Мачеха («У меня, сироты, была мачеха злая...»)	III	329
«Меж островов Архипелага...» (Эллада)	IV	448
«Мекам — восторг, священное раденье...» (Мекам)	II	365
Мекам («Мекам — восторг, священное раденье»)	II	365
«Меркнет свет в небесах...» (Горе)	II	323
Мертвая зыбь («Как в гору, шли мы в зыбь, в слепящий блеск заката...»)	II	380
«Месяц задумчивый, полночь глубокая...»	I	321
Метель («Ночью в полях, под напевы метели...»)	I	327
«Мечтай, мечтай. Все уже и тусклеей...» (Собака)	II	371
«Мечты любви моей весенней...»	IV	432
«Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!..»	I	389
«Мимо острова в полночь фрегат проходил...»	II	382
Миньона («В горах, от снега побелевших...»)	III	354
Мира («Тебя зовут божественно, Мира...»)	II	296
«Мир вам, в земле почившие! — За салом...» (Пустошь)	II	384
Мистику («В холодный зал, луною освещенный...»)	II	332
Мистраль качает ставни. Целый день...» (Зимняя вилла)	II	397
Михаил («Архангел в сияющих латах...»)	IV	446
«Мне вечер, молодой, скучен терем был...»	III	346
Могила в скале («То было в полдень, в Нубии, на Ниле...»)	II	371
Могила поэта («Мрамор гробницы его — в скорбной толпе ки- парисов»)	II	304
Могильная плита («Могильная плита, железная доска...»)	III	335
«Могильная плита, железная доска...» (Могильная плита)	III	335
«Могилы, ветряки, дороги и курганы...»	I	351
Молодой король («То не красный голубь метнулся...»)	III	358
Молодость («В сухом лесу стреляет длинный кнут...»)	III	356
«Молчат гробницы, мумии и кости...» (Слово)	III	336
«Монастыри в предгорьях глухих...» (В Сицилии)	III	322
«Море с голой степью говорило...» (Укоры)	IV	425
«Море, степь и южный август, ослепительный и жаркий...»	III	375
«Морозное дыхание метели...»	I	405
«Морского ветра свежее дыханье...» (Морской ветер)	II	375
Морской ветер («Морского ветра свежее дыханье...»)	II	375
Мороз («Так ярко звезд горит узор...»)	II	299
«Моя печаль тепер спокойна...»	I	402

«Мрамор гробницы его — в скорбной толпе кипарисов...» (Могилы поэта)	II	304
Мудрым («Герой — как вихрь, срывающий палатки...»)	II	344
Мужичок («Ельничком, березничком — где душа захочет...»)	II	394
Мулы («Под сводом хмурых туч, спокойствием объятых...»)	III	353
Мушкет («Видел сон Мушкет...»)	III	330
«Мы встретились случайно, на углу...»	II	313
«Мы рядом шли, но на меня...»	IV	428
«Мягую красную феску мастер водой окропил...» (Феска)	III	363
«На Альпы к сумеркам нисходят облака...»	III	350
«Набегают впотьмах...»	II	289
«На белых песках («На белых песках от прилива...»)	II	331
«На белых песках от прилива...» (На белых песках)	II	331
«Навес кумирни, жертвенник в жасмине...» (Богиня)	III	362
«На винограднике («На винограднике нельзя дышать. Лоза...»)	II	328
«На винограднике нельзя дышать. Лоза...» (На винограднике)	II	328
«На высоте, на снеговой вершине...»	I	387
«Нагая степь пустыней веет...»	I	352
«На гривастых коня на косматых...» (Святогор и Илья)	III	344
«На дальнем севере («Так небо низко и уныло...»)	I	363
«На даче тихо, ночь темна...»	IV	431
«На диких скалах, среди развалин...» (Печаль)	II	303
«На Днепре («За мирным Днепром, за горами...»)	I	357
«Над озером, над заводью лесной...» (Северная береза)	II	300
«Надпись на чаше («Древнюю чашу нашел он у шумного синего моря...»)	II	302
«Над синим понтом — серые руины...» (Развалины)	II	305
«Над стремью скал — чернеющий орел...» (Дикарь)	II	357
«Над чернотой твоих пучин...» (Индийский океан)	III	355
«На задворках, за ригами...» (Пугало)	II	350
«На западе весною под вечер тучи сини...» (Людмила)	III	355
«На лиловом небе...» (Вечерний жук)	III	363
«На льдах Эльбруса солнце всходит...» (Эльбрус)	II	336
«На маяке («В пустой маяк, в лазурь оконных впадин...»)	II	322
«На мертвый якорь кинули бакан...»	I	385
«На монастырском кладбище («Ударил колокол — и дрогнул сон гробниц...»)	I	393
«На Невском («Колеса мелкий снег взрывали и скрипели...»)	III	371
«На обвале («Печальный берег! Сизые твердыни...»)	II	339
«На озере («На озере, среди лесов зеленых...»)	I	408
«На озере, среди лесов зеленых...» (На озере)	I	408
«На окне, серебряном от инея...»	II	290
«На острове («Люблю я наш обрыв, где дикою грядою...»)	I	406
«На перевале дальнем, на краю...» (Березка)	II	400
«На песок у моря синего...» (Алисафия)	III	323
«На пирах веселых...» (Песня)	II	395
«На плоском взморье — мертвый зной и штиль» (Штиль)	II	329
«На Плющихе («Пол навошен, блестит паркетом...»)	II	353
«На поднебесном утесе, где бури...»	I	336
«На позабытом тракте к Оренбургу...» (Бродяги)	I	411
«На поморни далеком...»	III	351
«На проселке («Веет утро прохладой степною...»)	I	354
«На пруде («Ясным утром на тихом пруде...»)	I	324
«Напутствие («За погостом Скутари, за черным...»)	II	362
«На распутье в диком древнем поле...» (На распутье)	I	375
«На распутье («На распутье в диком древнем поле...»)	I	375

На рейде («Люблю сухой, горячий блеск червонца...»	II	360
«На севере есть розовые мхи...» (Безнадежность)	II	356
Наследство («В угольной — солнце, запах кипариса...»)	II	351
«Настала ночь, остыл от звезд песок...» (Среди звезд)	III	375
«Настанет день — исчезну я...»	III	369
«Насторожись, стань крепче в стремяна...» (Дагестан)	II	338
«На темном рейде струнный лад...» (После Мессинского зем- летрясения)	II	381
«На треножник богиня садится...» (Цирцея)	III	349
На хуторе («Свечи нагорели, долог зимний вечер...»)	I	361
«— На Яйле зазеленели буки...» (Вино)	II	381
Небо («В деревне капали капли...»)	II	327
Невеста («Я косы девичьи плела...»)	III	337
«Не видно птиц. Покорно чохнет...»	I	337
Невольник («Песок, серебристый и горячий...»)	II	296
«Не мало царств, не мало стран на свете...» (Потомки пророка)	III	325
«Не прохладой, не покоем...» (Последняя гроза)	I	377
«Не пугай меня грозюю...»	I	329
«Не слышать еще тяжкого грома за лесом...»	I	400
«Нет, мертвые не умерли для нас!» (Призраки)	II	304
«Нет, не о том я сожалею...»	I	339
«Нет ничего грустней ночного...» (Огонь)	II	324
«Нет солнца, но светлы пруды...»	I	370
«Не угас еще вдали закат...»	I	380
«Неуловимый свет разлился над землею...»	I	352
«Не устану воспевать вас, звезды!..»	I	406
«Ни алтарей, ни истуканов...» (Ормузд)	II	334
Новоселье («Весна! Темнеет над аулом...»)	II	338
Новый год («Ночь прошла за шумной встречей года...»)	II	312
«Норд-остом жгут пылающие зори...»	II	290
Ночлег («В вечерний час тепло во мраке леса...»)	II	400
Ночная змея («Глаза козули, медленно ползущей...»)	III	321
Ночная прогулка («Смотрит луна на поляны лесные...»)	IV	450
«Ночник горит в холодном и угрюмом...» (Дворецкий)	II	394
Ночной путь («Стой со сжатыми скулами...»)	IV	442
Ночные цикады («Прибрежный хрящ и голые обрывы...»)	II	369
«Ночь зимняя мутна и холодна...»	III	320
«Ночь и алые зарницы...»	IV	438
«Ночь и даль седая...»	I	357
«Ночь идет — и темнеет...»	I	348
«Ночь идет,— молись, слуга пророка...» (Хая-Баш)	II	339
Ночь («Ищу я в этом мире сочетанья...»)	I	395
Ночь («Ледяная ночь, мистраль...»)	IV	451
«Ночь наступила, день угас...»	I	354
«Ночь печальна, как мечты мои...»	I	382
«Ночь побледнела, и месяц садится...» (Октябрьский рассвет)	I	325
«Ночь прошла за шумной встречей года...» (Новый год)	II	312
«— Ночь, сынок, непроглядная...» (Два голоса)	III	319
«Ночью в море крепко спать хотелось...» (Матрос)	III	328
«Ночью в полях, под напевы метели...» (Метель)	I	327
«Ночью лампа на окне стояла...» (В первый раз)	II	399
Ноябрьская ночь («Туман прозрачный по полям...»)	III	326
«Ноябрь, сырая полночь. Городок...» (Полночь)	II	372
«Нынче ночью кто-то долго пел...»	I	369
Няня («В старой, темной девичьей...»)	II	383
Nel mezzo del camin di nostra vita («Дни близ Неаполя в апреле...»)	IV	450

Обвал («В степи, с обрыва на сто миль...»)	II	358
«Облака, как призраки развалин...»	I	392
«Облезлые худые кобели...» (Стамбул)	II	364
«Обрыв Яйлы. Как руки фурии...»	II	298
«Овальный стол, огромный. Вдоль по залу...» (Игроки)	III	367
Огни небес («Огни небес, тот серебристый свет...»)	II	303
«Огни небес, тот серебристый свет...» (Огни небес)	II	303
«Огонь, качаемый волной...»	IV	445
Огонь на мачте («И сладостно и грустно видеть ночью...»)	II	314
Огонь («Нет ничего грустней ночного...»)	II	324
«Один встречаю я дни радостной недели...»	I	333
Один («Он на запад глядит — солнце к морю спускается...»)	II	356
Одиночество («И ветер, и дождик, и мгла...»)	II	294
Одиночество («Худая компаньонка, иностранка...»)	III	338
«Одно лишь небо, светлое, ночное...»	IV	436
«Озарен был сумрак мрачный...» (Эпиталама)	I	404
Океаниды («В полдневный зной, когда на щебень...»)	II	330
«Окно по ночам голубое...» (При дороге)	II	399
«Окраина земли...» (Цейлон)	III	360
Октябрьский рассвет («Ночь пообеднела, и месяц садится...»)	I	325
«Он видел смоль ее волос...»	III	365
«Он драгоценной яшмой был когда-то...» (Черный камень Каабы)	II	343
«Он на запад глядит — солнце к морю спускается...» (Один)	II	356
«Они глумятся над тобою...» (Родине)	I	339
«Он сел в глуши, в шатре столетней ели...» (Пугач)	II	353
О Петре-разбойнике («В воскресенье, раньше литургии...»)	II	396
Ормузд («Ни алтарей, ни истуканов...»)	II	334
«Осенний день в лиловой крупной зыби...» (В Архипелаге)	II	370
«Осенний день. Степь, балка и корыто...»	IV	429
«Осень листья темной краской метит...» (Сквозь ветви)	II	320
«Осень. Чащи леса...»	II	323
«О счастье мы всегда лишь вспоминаем...» (Вечер)	II	378
«Осыпаются астры в садах...»	I	328
«От зноя травы сухи и мертвы...» (Каменная баба)	II	332
«От кипарисовых гробниц...» (Война)	III	339
«Открыты жнивья золотые...»	I	386
«Открыты окна. В белой мастерской...»	II	383
Отлив («В кипящей пене валуны...»)	III	362
«Отошли закаты на далекий север...»	I	391
«От пихт и елей в горнице темней...» (Детская)	II	309
«От праздности и лжи, от суетных забав...» (Подражание Пушкину)	I	339
Отрава («Свекровь-госпожа в терему до полдён заспалась...»)	III	330
Отрывок («В окно я вижу груды облаков...»)	I	403
Отрывок («Старик с сергой, морщинистый и бритый...»)	IV	439
«Отчего ты печально, вечернее небо?..»	I	360
Памяти друга («Вечерних туч над морем шла гряда...»)	III	370
Памяти («Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель...»)	II	398
Пантера («Черна, как копь, где солнце, где алмаз...»)	IV	433
«Паром, скрипя, ушел. В разлив, по тусклой зыби...» (Разлив)	II	316
Пахарь («Легко и бледно небо голубое...»)	II	310
Первый соловей («Таёт, сияет луна в облаках...»)	III	374
«Первый утренник, серебряный мороз!..»	II	324
Перед бурей («Тьма затопляет лунный блеск...»)	II	328

«Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью...» (Веснянка)	I	397
«Перед закатом набежало...»	I	409
Перекресток («Я долго в сумеречном свете...»)	II	298
Песня («Зацвела на веле...»)	II	396
Песня («На пирах веселых...»)	II	395
Песня («Я — простая девка на баштане...»)	II	307
«Песок, серебристый и горячий...» (Невольник)	II	296
Петров день («Девочки-русалочки...»)	II	348
Печаль («На диких скалах, среди развалин...»)	II	303
«Печальный берег! Сизые твердыни...» (На обвале)	II	339
Пилигрим («Стал на ковер, у якорных цепей...»)	II	377
«Плакала ночью вдова...»	III	336
Плеяды («Стемнело. Вдоль аллей, над сонными прудами...»)	I	363
Плоты («С востока дует холодом, чернеет зыбь реки...»)	III	365
«Поблекший дол под старыми платанами...» (Прощание)	II	383
По вечерней заре («Засинели, темнеют равнины...»)	I	382
«Погост, часовенка над склепом...» (Портрет)	II	295
Под вечер («Угрюмо шмель гудит, толкаясь по стеклу...»)	II	318
«Под небом мертвенно-свинцовым...» (Родина)	I	356
Подражание Пушкину («От праздности и лжи, от суетных забав...»)	I	339
«Под сводом хмурых туч, спокойствием объятых...» (Мулы)	III	353
«Поздний час. Корабль и тих и темен...»	I	355
«...Поздним летом...»	I	338
«Поздно, склонилась луна...»	I	367
«Пой, соловей! Они томятся...» (Розы Шираза)	II	363
«Пока я шел, я был так мал...»	I	399
«Покрывало море свитками...»	III	373
«Покуда март гудит в лесу по голым...» (Змея)	II	327
Полдень («Горит хрусталь, горит рубин в вине...»)	II	373
Полевые цветы («В блеске огней, за зеркальными стеклами...»)	I	323
«Пол навощен, блестит паркетом...» (На Плющихе)	II	353
«Полночный звон степной пустыни...»	III	366
Полночь («Ноябрь, сырая полночь. Городок...»)	II	372
«Полями пахнет,— свежих трав...»	I	399
Полярная звезда («Свой дикий чум среди снегов и льда...»)	II	289
«Помню — долгий зимний вечер...»	I	326
Поморье («Белый полдень, жар несносный...»)	II	317
Помпея («Помпея! Сколько раз я проходил...»)	III	372
«Помпея! Сколько раз я проходил...» (Помпея)	III	372
Портрет («Погост, часовенка над склепом...»)	II	295
После битвы («Воткнув копье, он сбросил шлем и лег...»)	II	295
Последние слезы («Изнемогла, в качалке задремала...»)	II	374
Последний шмель («Черный бархатный шмель, золотое оплечье...»)	III	369
Последняя гроза («Не прохладой, не покоем...»)	I	377
После Мессинского землетрясения («На темном рейде струнный лад...»)	II	381
После обеда («Сквозь редкий сад шумит в тумане море...»)	III	335
После половодья («Прошли дожди, апрель теплеет...»)	I	379
Послушник («Брат, как пасмурно в келье...»)	II	338
«По снежной поляне...» (Сон)	III	349
Потомки пророка («Не мало царств, не мало стран на свете...»)	III	325
Потоп («Когда ковчег был кончен и наполнен...»)	II	335
«Похолодели лепестки...» (Вальс)	II	382

«Поэзия темна, в словах не вырази́ма...» (В горах)	III	354
Поэтесса («Большая муфта, бледная щека...»)	IV	447
«Поэт печальный и суровый...» (Поэт)	I	319
Поэт («Поэт печальный и суровый...»)	I	319
Поэту («В глубоких колодцах вода холодна...»)	III	337
Пращур («Лицом к туманной зыби хороните...»)	III	320
«Прибрежный хрящ и голые обрывы...» (Ночные цикады)	II	369
При дороге («Окно по ночам голубое...»)	II	399
Призраки («Нет, мертвые не умерли для нас!..»)	II	304
«При свете звезд померкших глаз сиянье...»	I	368
«Присела на могильнике Савуре...»	II	357
Проводы («Забил буграми жемчуг, заклубился...»)	II	347
Прометей в пещере («Вокруг пещеры гул. Над нами мрак. Во мраке...»)	II	369
«Проносились над островом зимние шквалы и бури...» (Капри)	III	373
«Проснулся я внезапно, без причины...»	II	314
«Проснусь, проснусь — за окнами, в саду...»	II	355
«Прсыпаюсь в полумраке...»	III	336
«Прошли дожди, апрель теплеет...» (После половодья)	I	379
Прощание («Поблекший дол под старыми платанами...»)	II	383
Псковский бор («Вдали темно и чащи строги...»)	III	319
Пугало («На задворках, за ригами...»)	II	350
Пугач («Он сел в глуши, в шатре столетней ели...»)	II	353
Пустошь («Мир вам, в земле почившие! — За садом...»)	II	384
«Пустынная Яйла дымится облаками...» (Кипарисы)	I	358
«Пустыня в тусклом, жарком свете...»	III	342
«Пустыня, грусть в степных просторах...»	I	331
Путеводные знаки («Бог для ночных паломников в Мо-гребе...»)	II	341
«Пыль, по которой Гавриил...» (Священный прах)	II	344
Рабья («Странно создан человек!..»)	IV	449
Развалины («Над синим понтом — серые ручьи...»)	II	305
Разлив («Паром, скрипя, ушел. В разлив, по тусклой зыби...»)	II	316
Разлука («Бледна приморская страна...»)	IV	439
«Ранний, чуть видный рассвет...»	IV	428
«Ра-Озирис, владыка дня и света...»	II	367
«Раскрылось небо голубое...»	I	389
«Раскрыт балкон, сожжен цветник морозом...» (Голуби)	II	322
«Распали костер, сумей...» (У шалаша)	II	321
Рассвет («Высоко поднялся и белеет...»)	I	383
Рассвет («Как стая птиц, в пустыне одиноко...»)	II	373
«Рассыпался чертог из янтаря...» (Забывтый фонтан)	I	412
«Растет, растет могильная трава...»	II	346
Речка («Светло, легко и своенравно...»)	II	310
Ритм («Часы, шипя, двенадцать раз пробили...»)	III	326
Родина («Под небом мертвенно-свинцовым...»)	I	356
Родине («Они глумятся над тобою...»)	I	339
Родник («В глуши лесной, в глуши зеленой...»)	I	383
Розы («Блистая, облака лепились...»)	II	319
Розы Шираз («Пой, соловей! Они томятся...»)	II	363
«Роняя снег, проходят тучи...»	IV	426
«Роса, при бледно-розовом огне...»	III	338
Руслан («Гранитный крест меж сосен, на песчаном...»)	III	364
Русская весна («Скучно в лощинах березам...»)	II	293

Ручей («Ручей среди сухих песков...»)	I	387
«Ручей среди сухих песков...» (Ручей)	I	387
Рыбалка («Вода за холодные серые дни в октябре...»)	II	352
Рыбачка («— Кто там стучит? Не встану. Не открою...»)	II	375
«Рыжими иголками...»	III	364
Саваоф («Я помню сумрак каменных аркад...»)	II	372
Самсон («Был ослеплен Самсон, был господом обижен...»)	II	333
Сапсан («В полях, далеко от усадьбы...»)	II	291
«Свежее, слаще воздух горный...» (Учан-Су)	I	383
«Свежеют с каждым днем и молодеют сосны...»	I	341
«Свежий ветер дует в сумерках...» (Из азиатских песней. Девичья)	II	361
«Свекровь-госпожа в терему до полдн заспалась...» (Отрава)	III	330
«Светильники горели, непонятный...» (Айя-София)	II	340
«Светит в горы небо голубое...» (Утро)	I	397
«Светит, сети ткет паук...» (Уездное)	III	357
«Светло, как днем, и тень за нами бродит...»	I	403
«Светло, легко и своенравно...» (Речка)	II	310
Свет незакатный («Там, в полях, на погосте...»)	IV	427
«Свечи нагорели, долог зимний вечер...» (На хуторе)	I	361
«Свой дикий чум среди снегов и льда...» (Полярная звезда)	II	289
«С востока дует холодом, чернеет зыбь реки...» (Плоты)	III	365
Святотор и Илья («На гривастых конях на косматых...»)	III	344
Священный прах («Пыль, по которой Гавриил...»)	II	344
Северная береза (Над озером, над заводью лесной...)	II	300
Северное море («Холодный ветер, резкий и упорный...»)	I	360
«Седое небо надо мной...»	I	337
Сенокос («Среди двора, в батистовой рубашке...»)	II	392
«Серп луны под тучкой длинной...»	I	324
«С застывшими в блеске зрачками...» (В цирке)	IV	443
«Сивером на холоде...» (Зазимок)	III	342
«Синеет снеговой простор...» (В крымских степях)	II	340
«Синие обои полиняли...»	III	351
«Синий ворон от падали...» (Степь)	III	327
Сириус («Где ты, звезда моя заветная...»)	IV	432
Сказка («...И снилось мне, что мы, как в сказке...»)	II	317
Сказка о козе («Это волчья глаза или звезды — в стволах на краю перелеска?»)	III	342
«Скачет пристяжная, снегом обдает...»	I	361
Сквозь ветви («Осень листья темной краской метит...»)	II	320
«Сквозь редкий сад шумит в тумане море...» (После обеда)	III	335
«Склон гор, сады и минарет...» (Склон гор)	II	345
Склон гор («Склон гор, сады и минарет...»)	II	345
«Скользят, текут огни зеленых мух...» (Иерихон)	II	376
С корабля («Для жизни жизни! Вон пенные буруны...»)	II	357
«Скучно в лощинах березам...» (Русская весна)	II	293
Слепой («Вот он идет проселочной дорогой...»)	II	351
Слово («Молчат гробницы, мумии и кости...»)	III	336
«Смотрит луна на поляны лесные...» (Ночная прогулка)	IV	450
«Смотрит месяц ненастный, как сыплются желтые листья...»	I	403
«Смугла, ланиты побледнели...» (Купальщица)	II	388
«Снова сон пленительный и сладкий...»	I	362
Собака («Мечтай, мечтай. Все уже и тусклей...»)	II	371
С обезьяной («Ай, тяжела гурецкая шарманка!...»)	II	363
Соловьи («То разрастаясь, то слабея...»)	I	343

«Сомкнулась степь, синееющим кольцом...» (Степь)	IV	440
Сон («По снежной поляне...»)	III	349
Сон («Царь! вот твой сон: блистал перед тобою...»)	II	335
«Сорвался вихрь, промчал из края в край...»	IV	429
С острой («Костер трещит В фелюке свет и жар...»)	II	330
«Спокойный взор, подобный взору лани...»	I	396
Сполохи («Взвевая легкие гардины...»)	II	398
Спор («— Счастливы мы, фессалийцы! Черное, с розовой пеной...»)	II	380
Спутница («Шелковой юбкой шурша...»)	IV	444
«Среди двора, в батистовой рубашке...» (Сенокос)	II	392
Среди звезд («Настала ночь, остыл от звезд песок...»)	III	375
«Среди кривых стволов, среди ветвей корявых...» (Холодная весна)	III	327
«Стали дымом, стали выше...»	IV	428
«Стал на ковер, у якорных цепей...» (Пилигрим)	II	377
Стамбул («Облезлые худые кобели...»)	II	364
Старая яблоня («Вся в снегу, кудрявом, благовонном...»)	IV	449
«Старик сидел, покорно и уныло...»	II	325
«Старик с серьгой, морщинистый и бритый...» (Отрывок)	IV	439
«Старик у хаты веял, подкидывал лопату...»	II	386
«Старый сад всю ночь гудел угрюмо...» (Три ночи)	I	332
«Стемнело. Вдоль аллеи, над сонными прудами...» (Плеяды)	I	363
«С темной башни колокол уныло...» (В старом городе)	I	391
«Стена горы — до небосвода...»	III	355
Степь («Синий ворон от падали...»)	III	327
Степь («Сомкнулась степь синееющим кольцом...»)	IV	440
«Стоит, трепещет Стрекоза...» (Бред)	IV	442
«Стой со сжатыми скулами...» (Ночной путь)	IV	442
Стон («Как розовое море — дало пустынь...»)	II	331
Сторож («И снова вечер, сухо позлативший...»)	II	391
«Стояли ночи северного мая...» (Элегия)	I	392
«Странно создан человек!...» (Рабыня)	IV	449
Стрижи («Костел-маяк, примета мореходу...»)	II	360
Судра («Жизнь впереди, до старости далеко...»)	II	321
Сумерки («Все — точно в полусне. Над серою водой...»)	I	384
Сумерки («Как дым, седая мгла мороза...»)	II	326
«Сумрак ночи к западу уходит...» (В отъезде поле)	I	378
«Сумрачно, скучно светит заря...» (Туман)	II	390
«— Счастливы мы, фессалийцы! Черное, с розовой пеной...» (Спор)	II	380
«Счастлив я, когда ты голубые...»	I	362
«Таёт, сияет луна в облаках...» (Первый соловей)	III	374
«Таёт снег — и солнце ярко...» (Весеннее)	I	345
«Таинственно шумит лесная тишина...»	I	365
«Так небо низко и уныло...» (На дальнем севере)	I	363
«Так ярко звезд горит узор...» (Мороз)	II	299
«Там, в полях, на погосте...» (Свет незакатный)	IV	427
«Там иволга, как флейта, распевала...»	II	387
«Там, на припеке, спят рыбацкие ковши...»	II	297
«Там не светит солнце, не бывает ночи...»	III	351
«Тебя зовут божественно, Мира...» (Мира)	II	296
Тезей («Тезей уснул в венке из мирт и лавра...»)	II	346
«Тезей уснул в венке из мирт и лавра...» (Тезей)	II	346
«Темнеет зимний день, спокойствие и мрак...» (Зеркало)	III	353
«Темный ельник снегами, как мехом...» (Крещенская ночь)	I	322

«Темный кедр растет среди долины...» (Кедр)	I	393
Тень («Высоко в небе месяц ясный...»)	II	313
«Теплой ночью, горною тропинкой...»	III	335
Терем («Высоко стоит луна...»)	II	319
«Тихой ночью поздний месяц вышел...»	III	371
«То было в полдень, в Нубии, на Ниле...» (Могила в скале)	II	371
«То не красный голубь метнулся...» (Молодой король)	III	358
«Тонет солнце, рдяным углем тонет...»	II	341
«Торчит журавль над шахтой под горой...» (Криница)	II	394
«Трава пестрит — как разглядеть змею?...» (Колибри)	II	381
«То разрастаясь, то слабая...» (Соловьи)	I	343
Три ночи («Старый сад всю ночь гудел угрюмо...»)	I	332
«Тропами потаенными, глухими...» (Тропами потаенными)	II	306
Тропами потаенными («Тропами потаенными, глухими...»)	II	306
Трясина («Болото тихой северной страны...»)	II	356
«Ту звезду, что качалась в темной воде...»	I	340
«Туманно утро красное, туманно...» (Казнь)	III	341
«Туманный серп, неясный полумрак...» (Апрель)	II	315
«Туман прозрачный по полям...» (Ноябрьская ночь)	III	326
Туман («Сумрачно, скучно светает заря...»)	II	390
«Тут покоится хан, покоровший несметные страны...»	II	389
«Туча растаяла. Влажным теплом...»	I	329
«Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель...» (Памяти)	II	398
«Ты на плече, рукою обнаженной...» (Встреча)	IV	433
«Ты, светлая ночь, полнолуная высь!...»	III	346
«Ты чужая, но любишь...» (Чужая)	II	311
«Тьма затопляет лунный блеск...» (Перед бурей)	II	328
У берегов Малой Азии («Здесь царство Амазонок. Были дики...»)	II	334
У гробницы Виргилия («Дикий лавр, и плющ, и розы...»)	III	350
«Угрюмо шмель гудит, толкаясь по стеклу...» (Под вечер)	II	318
«Ударил колокол — и дрогнул сон гробниц...» (На монастыр- ском кладбище)	I	393
Уездное («Светит, сети ткет паук...»)	III	357
«Уж как на море, на море...»	IV	435
«Уж подсыхает хмель на тыне...»	II	320
Укоры («Море с голой степью говорило...»)	IV	425
«Уличив меня в измене» (Жена Азиса)	II	342
«У меня, сироты, была мачеха злая...» (Мачеха)	III	329
«У нубийских черных хижин...»	III	340
«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...»	IV	431
Утро («Светит в горы небо голубое...»)	I	397
Учан-Су («Свежее, слаше воздух горный...»)	I	383
У шалаша («Распали костер, сумей...»)	II	321
«Ушли с рассветом. Опустели...» (Имру-уль-Кайс)	II	379
Феска («Мятую красную феску мастер водой окропил...»)	III	363
«Хаду — слепец, он жалок. Мрак глубокий...» (Бальдер)	II	301
Хая-Баш («Ночь идет, — молись, слуга пророка...»)	II	339
Холодная весна («Среди кривых стволов, среди ветвей корявых...»)	III	327
«Холодный ветер дует с Мензалэ...» (Газелла)	IV	441
«Холодный ветер, резкий и упорный...» (Северное море)	I	360
Храм солнца («Шесть золотистых мраморных колонн...»)	II	347

«Христя угощает кукол на сговоре...» (Христя)	II	385
Христя («Христя угощает кукол на сговоре...»)	II	385
«Хрустя по серой гальке, он прошел...» (Художник)	II	389
«Худая компаньонка, иностранка...» (Одиночество)	III	338
Художник («Хрустя по серой гальке, он прошел...»)	II	389
«Шары! вот твой сон: блистал перед тобою...» (Сон)	II	335
«Цветет жасмин. Зеленой чашей...» (Жасмин)	II	291
Цейлон («В лесах кричит павлин, шумят и плещут ливни...»)	III	338
Цейлон («Окраина земли...»)	III	360
Цирцея («На треножник богиня садится...»)	III	349
Цыганка («Вперед! большак, подвода...»)	I	336
«Часы, шипя, двенадцать раз пробили...» (Ритм)	III	326
«Чашу с темным вином подала мне богиня печали...»	I	410
«Чем жарче день, тем сладостней в бору...» (Детство)	II	316
«Черна, как копь, где солнце, где алмаз...» (Пантера)	IV	433
«Чернеет зыбкий горизонт...» (Малайская песня)	III	343
«Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном...»	II	299
«Черный бархатный шмель, золотое оплечье...» (Последний шмель)	III	369
Черный камень Каабы («Он драгоценной яшмой был когда-то...»)	II	343
Чибисы («Заплакали чибисы, тонко и ярко...»)	II	388
«Что в том, что где-то, на далеком...»	I	356
«Что ты мутный, светел-месяц?...»	III	340
«Что шумит-звенит перед зарею?...» (Ковыль)	I	350
Чужая («Ты чужая, но любишь...»)	II	311
«Шелковой юбкой шурша...» (Спутница)	IV	444
«Шесть золотистых мраморных колонн...» (Храм солнца)	II	347
«Шипит и не встает верблюд...»	III	325
«Шире, грудь, распахнись для принятия...»	I	319
«Широко меж вершин дубравы...»	I	415
«Штиль в безгранично-светлом Ак-Денизе...» (Дия)	II	361
Штиль («На плоском взморье — мертвый зной я штиль...»)	II	329
«Шумели листья, облетая...»	I	402
«Щебечут пестрокрылые чекканки...»	II	379
«Щеглы, их звон, стеклянный, неживой...»	IV	430
Элегия («Стояли ночи северного мая...»)	I	392
Эллада («Меж островов Архипелага...»)	IV	448
Эльбрус («На льдах Эльбруса солнце всходит...»)	II	336
Эпиталама («Озарен был сумрак мрачный...»)	I	404
Эпитафия («Я девушкой, невестой умерла...»)	I	413
Эсхил («Я содрогаюсь, глядя на твои...»)	II	333
«Это было глухое, тяжелое время...»	I	401
«Это волчьи глаза или звезды — в стволах на краю пере- леска?...» (Сказка о козе)	III	342
«Этой краткой жизни вечным измененьем...»	IV	430
«Я девушкой, невестой умерла...» (Эпитафия)	I	413
«Я долго в сумеречном свете...» (Перекресток)	II	298
«Я к ней вошел в полночный час...»	I	368
«Я косы девичьи плела...» (Невеста)	III	337

«Я помню сумрак каменных аркад...» (Саваоф)	II	372
«Я — простая девка на баштане...» (Песня)	II	307
«Ясным утром на тихом пруде...» (На пруде)	I	324
«Я содрогаюсь, глядя на твои...» (Эсхил)	II	333
«Я черных коз пасла с меньшей сестрой...» (Бог полдня)	II	374

ПЕРЕВОДЫ

Астры. <i>А. Асник</i> («Все поблекло... Только астры...»)	V	257
«В безмолвье сумерек, мечтая у огня...» (Смерть птиц. <i>Ф. Коппе</i>)	V	260
«Во зеленой, темной роще...» <i>Из Шевченко</i>	V	261
«Время, Пространство, Число...» (В темную почь. в штиль, под экватором. < <i>Л. де Лиль</i> >)	V	259
«Все поблекло... Только астры...» (Астры. <i>А. Асник</i>)	V	257
В темную ночь, в штиль, под экватором. < <i>Л. де Лиль</i> > («Время, Пространство, Число...»)	V	259
«Выходим на простор степного океана...» («Крымские сонеты». Аккерманские степи. <i>А. Мицкевич</i>)	V	261
Годива. <i>Поэма А. Теннисона</i>	V	143
Завещание. <i>Из Шевченко</i> («Как умру, похороните...»)	V	261
Золотой диск. <i>Л. де Лиль</i> («Солнца диск золотой, уходя из лазурной пустыни...»)	V	258
«Золотые кудри в косы...» (<i>Лилии. А. Асник</i>)	V	256
Каин. <i>Мистерия Байрона</i>	V	146
«Как умру, похороните...» (Завещание. <i>Из Шевченко</i>)	V	261
«...Когда из школьных стен домой мы возвращались...» (Отрывок. <i>Из Мюссе</i>)	V	255
«Крымские сонеты». Аккерманские степи. <i>А. Мицкевич</i> («Выходим на простор степного океана...»)	V	261
«Крымские сонеты». Алушта ночью. <i>А. Мицкевич</i> («Повеял ветерок, прохладой лаская...»)	V	262
«Крымские сонеты». Чатырдаг. <i>А. Мицкевич</i> («Склоняюсь с трепетом к столам твоей твердыни...»)	V	252
<i>Лилии. А. Асник</i> («Золотые кудри в косы...»)	V	256
Манфред. <i>Драматическая поэма Байрона</i>	V	197
Небо и Земля. <i>Мистерия Байрона</i>	V	232
«Не тверди в строфах унылых...» (Псалом жизни. <i>Г. Лонгфелло</i>)	V	259
Отрывок. <i>Из Мюссе</i> («...Когда из школьных стез домой мы возвращались...»)	V	255
Песнь о Гайавате. <i>Г. Лонгфелло</i>	V	5
«Повеял ветерок, прохладой лаская...» («Крымские сонеты». Алушта ночью. <i>А. Мицкевич</i>)	V	262
Псалом жизни. <i>Г. Лонгфелло</i> («Не тверди в строфах унылых...»)	V	259
«Склоняюсь с трепетом к столам твоей твердыни...» («Крымские сонеты». Чатырдаг. <i>А. Мицкевич</i>)	V	262
Смерть птиц. <i>Ф. Коппе</i> («В безмолвье сумерек, мечтая у огня...»)	V	260
«Солнца диск золотой, уходя из лазурной пустыни...» (Золотой диск. <i>Л. де Лиль</i>)	V	258
«Ты, чей блуждавший взор в последние мгновенья...» (Усопшему поэту. <i>Из Л. де Лилия</i>)	V	258
Усопшему поэту. <i>Из Л. де Лилия</i> («Ты, чей блуждавший взор в последние мгновенья...»)	V	258

ПОПРАВКИ

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Надо читать</i>
		Том 1	
443	22 снизу	Архив имени А. М. Горького	Архив А. М. Горького
		Том 2	
158	8 сверху	коврика	молитвенного коврика
158	9 снизу	яда	алкогольного яда
165	6 сверху	А все	Все
201	19 »	поблагодарила ее	ее поблагодарила
217	14 »	за ней	за ей
		Том 3	
42	7 сверху	ветер	вечер
45	20 снизу	ты, дитина моя	ти, дитина моя
47	17 »	ій	її
241	11 сверху	парохода	пароходов
		Том 4	
17	14 снизу	пересаливают	пересаливают
81	2 »	gisquat	gisquat
88	7 »	непрерывно роман	роман
157	16 сверху	осквернився	осквернився
247	16 »	слушал	слушая
398	16 »	лежала	лежа
410	10 »	груди	грудь
454	3 снизу	по книге	в книге
458	20 сверху	испытал	испытывал
		Том 5	
197	3 сверху	neaven	heaven

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕВОДЫ

Песнь о Гайавате. <i>Г. Лонгфелло</i>	5
Годива. <i>Поэма А. Теннисона</i>	143
Каин. <i>Мистерия Байрона</i>	146
Манфред. <i>Драматическая поэма Байрона</i>	197
Небо и Земля. <i>Мистерия Байрона</i>	232
Отрывок. <i>Из Мюссе</i>	255
Лилии. <i>А. Асник</i>	256
Астры. <i>А. Асник</i>	257
Золотой диск. <i>Л. де Лиль</i>	258
Усопшему поэту. <i>Из Л. де Лиля</i>	258
В темную ночь, в штиль, под экватором. <i><Л. де Лиль></i>	259
Псалом жизни. <i>Г. Лонгфелло</i>	259
Смерть птиц. <i>Ф. Коппе</i>	260
Завешание. <i>Из Шевченко</i>	261
«Во зеленой, темной роще...» <i>Из Шевченко</i>	261
«Крымские сонеты» (Аккерманские степи. Чатырдаг. Алушта ночью) <i>А. Мицкевич</i>	261

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Чехов	265
Толстой	282
Примечания	290
Алфавитный указатель к I—V томам собрания сочинений И. А. Бунина	305

И. А. БУНИН.

Собрание сочинений
в пяти томах. Том 5.

Оформление художника
П. П. Зубченкова.

Технический редактор А. Ефимова.

А 12765. Подп. к печ. 20/XII 1956 г. Тираж 250 000 экз. Изд. № 1221.
Заказ 2796. Формат бум. 60×92³/₁₆. Бум. л. 10,25. Печ. л. 20,5 + 1 вкл.
(0,125 п. л.). Уч.-изд. л. 20,43.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.

